Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (418)

2009

СОДЕРЖАНИЕ

В СВОЕМ ФОРМАТЕ
Сергей Боровиков. В русском жанре – 39 3

ПОЭЗИЯ
Лев Оборин. «Солнце ползет по низинам,
по замерзшим трясинам...» *и др. стихи* 11
Геннадий Каневский. «если долго сидеть на берегу реки...» *и др. стихи* 64
Анжелина Полонская. «По пути в Финикию» *и др. стихи* 98
Станислав Бельский. «Глаза, в которых движет древность...» *и др. стихи* 100
Евгений Заугаров. Зимняя серия 121
Александр Петрушкин. «гулит метро гулит до миллиметра...» *и др. стихи* 123

ПРОЗА
Алексей Слаповский. 100 лет спустя. Письма нерожденному сыну. 15
Нина Рубанова. Лето в городе. *Рассказ.* Ухо. Разговорчики в строю *[вне жанра]* ... 69
Евгений Москвин. Созерцание фильма. *Цикл рассказов* 85
Евгений Стрелков. воздушная арктика 92
Елена Крюкова. Яства детства. *Рассказ* 103
Владимир Глейзер. Легкая жизнь. *Рассказ* 118

ИЗ ИСТОРИИ
В. Н. Семенов, Н. Н. Семенов. Лошади в старом Саратове 126
Иван Соловьев. Большевики ушли? Стратегия интеллигенции. 1918-1919 годы 137

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Валентин Ярыгин. <Поэма>. *Предисловие О. Рогова. Публикация А. Голицына* 148

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Юлия Щербинина. «Просто найдись...» 172
Алексей Александров. Топос, хронос и другие 181
Анна Голубкова. Последние известия литературного департамента 183
Олег Рогов. Разноцветные фуги 186
Сергей Боровиков. Бывали хуже времена... 187
Сергей Трунев. Для тех, кто опоздал на поминки 188
Роман Арбитман. Баллада о Королевском Бутерброде 190
Рустам Кац. Засилье или бессилье? 192

ВСПОМИНАЯ «ВОЛГУ»
Николай Якушев. Волшебная калитка 194

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. О мышах и людях 195

© «Волга», 2009

Сергей БОРОВИКОВ

В русском жанре – 39

Больничное

Под утро где-то внизу захлебнулась канализация, и из палатной раковины поплыла жуткая вонь. Шестеро больных накрылись одеялами с головой.

Вошла нянька тетя Паша:

– Фу! – кто это из вас постарался?! – спросила она.

Я тогда впервые попал в больницу, если не считать пребывания со скарлатиной в областной детской больнице на Соколовой улице (сейчас 5-ая детская инфекционная). В советское время официально предпочитали не вспоминать, что построена она на средства купчихи Д. Поздеевой, но народная память не желала забывать добра: больницу горожане упорно именовали «Поздеевской». По проекту архитектора В. Владыкина за Глебучевым оврагом у подножья горы Соколовой возник в старорусском теремном стиле корпус, который исследователь саратовской архитектуры С.Терехин точно уподобил изысканной шкатулке. Редкий саратовец в детстве миновал эту больницу, я не исключение: в 1956 году отлежал положенное со скарлатиной. Порядки были строгие – во весь сорокадневный срок никаких посещений! Сельские ребята, привезенные со всей области в Поздеевскую, оставались там месяцами, так как за ними не скоро приезжали (дело было зимой), и, не успев выздороветь от одной инфекции, заражались другой. Старшие устанавливали свои, далекие от благоприличных, нравы, знакомя остальных с таким, к примеру, устным творчеством: «Широка кровать моя родная, /Много в ней подушек, простыней./ Приходи ко мне, моя родная, /Будем делать маленьких детей!» Помню, две девочки постарше (мне было 8) подробно ознакомили меня, задрав казенные рубашонки, с основами женской анатомии, они же учили младших говорить по складам слово «мандарин».

Теперь же, в 1970-м, меня уложили по поводу резких желудочных болей. Забавно, что тогда в 20 с небольшим лет, едва женившись, я одновременно с появлением болей начал резко лысеть, вычесывая волосы целыми прядями. Я не буду, разумеется, описывать лечение, скажу лишь, что спустя некоторое время, полубессознательно поняв причины как предъязвенного состояния желудка, так и внезапного облысения, я резко изменил отношение к действительности. Прежде всего к жене и начальству, внутренне поняв, что их стоит только игнорировать и более ничего. С тех пор я прибрел множество разных других заболеваний, но меня ни разу, тьфу-тьфу, уже не беспокоил желудок и ни один волос вот уже на седьмом десятке лет не упадает с моей головы.

В палате лежали: курносый русский человек – вылитый Михаил Пуговкин – с суставами, симулянт по фамилии Дзюба, работник райздрава, черный, как уголь, шофер с заболеванием печени и обострением тяжелого геморроя, молодой худющий парень с подозрением на язву, и, наконец, инфарктник, молчавший целые дни. Почему-то более всего меня пугал именно он – от слова инфаркт так и несло близкой могилой. Сейчас, когда я уже трижды инфарктник, прежний страх вспоминаю с недоумением.

Пуговкин – я уж так и буду его называть – очень обижался, что ему меньше других дают лекарств и делают уколов. Пока доктор был в палате, он сладко ему улыбался, а как тот выходил, начинал ругать и его и всю медицину в целом. Неизменно заключая: «При Сталине, небось, все сполна давали, а эти налево пущают». Он почему-то особенно ненавидел Хрущева: «с деревни Калиновки Курской губернии... тьфу!» Был он недурной рассказчик, точнее, единственный в палате,

потому что инфарктник всегда молчал, чернявый шофер жаловался после похода в уборную, что опять все кальсоны кровью обмарал, а когда вступал в разговор Дзюба, всех начинало тошнить.

Случаются в жизни такие встречи и такие люди, что кажутся преувеличенными, этакие Лужины или Урии Гипы. А они живут себе, и, как правило, благоденствуют. Было Дзюбе лет 50, бритая до блеска лысая голова в сочетании с густыми бровями, что почему-то типично. Диагноз его не знаю, скорее всего просто отлеживался. Чин у него в райздраве был невысок, иначе не положили в шестиместную палату, но место работы все-таки сказывалось на отношении к нему персонала. Так, он добился положения лежачего, жрать ему приносили, как и инфарктнику, в палату, но главное, чтобы клизмы из-за постоянных, как он говорил, «завалов в кишечнике», ставили ему тоже в палате. Возможно, этот цирк был затеян им с целью получения инвалидности или еще чего-нибудь полезного, но мне казалось, что главной целью было то, что каждый приходила то одна, то другая молоденькая сестра с судном и резиновым мешком клизмы. И Дзюба, томно растянувшись на спине (на бок, как положено, у него якобы не было сил перевернуться), наслаждался тем, как в виду всей палаты девушка задирала его большое морщинистое хозяйство и засовывала под него кончик клизмы. Мало этого, он еще при этом и приговаривал, что понимает – сестре должно быть неприятно, но это ее долг, а он и сам медик. Понаблюдав эту отвратительную картину раз или два, я стал выходить из палаты при появлении сестры с клизмой. И в конце перед выпиской, разгорячась (поводом послужила информация, что лысый по профессии санпросвет и на фронте не был), сказал-таки Дзюбе, что он симулянт и извращенец. Самое удивительное, что Дзюба не ответил.

Пуговкин давал прозвища докторам, помню профессора В-к, которую он смертельно боялся, старую грузную усатую еврейку, он вмиг окрестил её Букелой – тогда популярен был на советском ТВ пропагандистский фильм о том, как прибегают к оккультным наукам и прочей чертовщине министры и прочие сильные мира сего по ту сторону железного занавеса, главной героиней фильма была западногерманская гадалка Букела (про «наших» Вангу и Джуну, разумеется, помалкивали), и впрямь похожая на В-к.

Помню его рассказ о любовном приключении в войну. Примерно так.

– Прибываю в Пензу ночью, на улице темнота от затемнения, народу в вокзале полно, в темноте не видно, но гляжу и вижу – сидят девушки. Носы в подолы уткнули. Одна такая... что задок, что передок, здесь полна пазуха. Соображение у меня тогда было холостое, военное. Говорю между прочим: «Что скучаете, девушки?» – «Дак не уехать же!» А у меня тогда *книжечка* была. Предлагаю *той* помощь.

При этом Иван Васильевич сморщил короткий нос и погладил себя по выпуклой груди. Короткие ноги в пижамных штанах, которые он свесил с кровати, свело от удовольствия.

– Ну, обрадовалась, глазки вытаращила. Предупреждаю: «Расплата натурой». Поняла, конечно, – тут он, рассказчик, конфузно поджал рот – согласна, говорит. Говорю: «Ожидай здеся».

Иван Васильевич приосанился, глаза посуровели.

– В кассе народ – разреши, посторонись! – уже небрежно продолжал он, – у меня портупея вот здеся, кобура, *книжечку* (он сунул руку под пижаму) достаю. Одно место до Кузнецка. Возвращаюсь. «Куда ж – спрашивает, и сама тут же: – а в парк!»

Рассказ Ивана Васильевича занимает лишь меня, да парня-язвенника, опершегося на худой локоть в широком рукаве больничной рубахи. Жуков, полуоткрыв стальной рот, думает о своем: ему кто-то сообщил, будто слышал, как в ординаторской говорили, что у него цирроз, а это значит скорый пиздец.

– Поцеловалися, всё, стали совершать акт, всё путем, только чувствую после песок за воротом, что такое? «Да это я с лаптей натрясла. Угодить тебе хотела. Давай отрясу».

И раскрыв рот от вновь переживаемых чувств, он по-гусиному поводит шеей.

– Ноги-то, ноги, она как свечечки подняла.

На его застенчивых голубых глазах выступают слезы удовольствия. Неуверенно улыбается парень, инфарктник все смотрит в окно, Дзюба дрыхнет, выставив свою лысую тыкву из-под оде-

яла, я размышляю – неужто в войну в пензенском селе еще были в ходу лапти, а инфарктник по-прежнему смотрит в окно, за которым видны желтые верхушки тополей и низкое сырое октябрьское небо.

– С лаптей, говорит! – восторженно повторяет Иван Васильевич и крутит головой. – Ох, беда, смеху с этими бабами!

* * *

Второй раз я попал в ту же больницу спустя много лет, с третьим инфарктом. И хотя инфаркт был вовремя остановлен – меня все же положили в реанимацию. Две высокие койки рядом, куча аппаратуры, проводов, запрет вставать. Я был спокоен. Во-первых, сердце сообщало, что его не тряхнуло так, как 5 лет назад, когда обширный трансмуральный инфаркт поставил меня на самый краешек, так что детей пригласили, чтобы попрощаться. Во-вторых, опыт. В-третьих, после того, тяжелого, инфаркта, я вообще стал к грядущему относиться трезвее.

Но уже больница была не прежней, и инфарктник уже никак не мог лежать в одной палате с язвенником. Появились институты. Я, естественно, попал в институт кардиологии.

Особых впечатлений не поведаю, разве что два, ну, три.

На вторую мою ночь в реанимации на соседнюю, а их всего две, не койку, а высокую кровать, для сна крайне неприятную, привезли соседа, тяжелого. Он тяжело дышал, не приходя в сознание, давление падало, вокруг него суетились врач и сестры. Было это слева от меня, меньше, чем на расстоянии руки. Была ночь, и я очень хотел спать после приступов, «скорой», уколов и проч., но постоянно пробуждался. Вот соседу подключают какой-то еще аппарат, вот вводят катетер, так как из-за рухнувшего давления у него не отходит моча. Я довольно тупо наблюдал за происходящим, пока наконец не догадался спросить у сестры побольше ваты и запихал себе в уши два огромных клока. Осторожно (мешали провода от приборов и трубка капельницы) повернулся на правый бок и мгновенно заснул.

Когда я утром проснулся, койка слева уже пустовала. Это была первая смерть рядышком в то лежание, была и вторая, но я не буду про нее рассказывать.

Из реанимации меня перевели в постреанимационную палату, на двоих. Там лежал славный человек, отставной подполковник, ожидавший т. н. стентирования. Т. е. ему через сосуд в бедре должны ввести какую-то гибкую проволоку, на конец которой прикреплено нечто вроде маленького зонтика, который, дойдя до нужного места, раскроется и раскроет суженный – стеноз! – сосуд, питающий сердце. Забегая вперед, скажу, что я еще застал результат операции, и мой сосед, до этого с лиловыми губами, задыхавшийся при каждом шаге, выглядел мóлодцем.

Но последние два дня перед операцией ему отравил положенный вместо меня тип (или, как любил говаривать Иван Васильевич из первой истории, – «прототип»; он вполне по законам русского языка воспринимал приставку «про» как усилительную – и в его рассказах звучало «эх и тип был, не тип, а прототип!»).

То, что типа положили в двухместную палату не из реанимации, с неподтвержденным диагнозом инфаркта, говорило о его среднем уровне блата. Так-то в четырех-шестиместные клали. Привезли его пьяного – раз. Он тут же принялся курить в палате – два, дежурного врача обругал матом, и его за это не выписали – три. Вот что поведал мне оживевший подполковник.

А я тем временем перехожу к третьему воспоминанию, тоже связанному с нецензурной лексикой, но чрезвычайно приятному.

Из двухместной палаты меня, по звонку моего тогдашнего шефа, человека весьма влиятельного, перевели в отдельную, с ванной, телевизором и т.д.

Располагались «люксы» в сторонке, в отдельном глухом коридорчике, войдя в который, я услышал из приоткрытой двери соседней палаты примерно (или буквально) следующее:

– Сука, блядь ебучая, ебаный рот, уволю на хуй завтра же! Где Петр? Уволю пидараса в пизду! Платеж провела? Какого хуя ты там сидишь, пизда недоебаная?! Всех на хуй завтра же уволю!

И т. д. Любопытствуя, я чуть заглянул и увидел в комнате маленького пожилого полулысого толстяка, типично американо-гангстерской, итальянской или еврейской наружности – в Голливуде такой знаменитый актер-толстяк есть – вылитый мой матершинник. Он разговаривал по телефону, положив короткие ножки – опять-таки вполне по-американски – на журнальный столик.

Я слышал сквозь стену и назавтра ту же речь, и как ни странно, она успокаивала и бодрила, но никак ни раздражала.

В дальнейшем мне удалось выяснить, что знаток русской речи – главврач одной из саратовских больниц, с четкой еврейской фамилией и репутацией большого добряка, которого в коллективе обожают. Никого он не увольняет. Просто у него стиль работы такой.

* * *

Вообще жизнь моя сложилась так, что почти всегда я находился среди медиков, все приятели и даже жены, первая и вторая – врачи. И я невольно был как бы во врачебном лагере.

А то, что врачей давно и прочно у нас не любят – факт известный. Дочь одного моего знакомого, придя из поликлиники после удаления зуба, обратилась к отцу: «Пап, иди набей этому козлу морду».

Кроме устойчивой, чуть не с холерных бунтов, народной нелюбви, на этот счет постаралась и русская литература. «Я ускользнул от Эскулапа, /Худой, обритый – но живой», – это ведь Александр Сергеевич. Конечно, лермонтовский Вернер или тургеневский Базаров, или чеховский Дымов – герои. Но ведь есть и унизительные сцены «лечения» Кити в «Анне Карениной», и убийственная фраза, если не ошибаюсь, того же Толстого: «Несмотря на все усилия докторов, он все-таки выздоровел».

Но и у Чехова – врача с огромной практикой, сколько насмешек рассыпано, жутких фраз вроде «Доктор – предисловие гробокопателя». И герои его не только Дымов, но и Ионыч, пьяный фельдшер, алчный стоматолог и т.д.

Марк Цывкин – «Ничего кроме правды – о медицине, здравоохранении, врачах и пр.» – ссылается на поразительную книгу: Robert S. Mendelsohn, M.D., «Confession of a medical Heretic» («Признание еретика от медицины»), на обложке которой – в продолжение названия – сказано: «расскажет вам, как оберечь себя от опасного воздействия на вашу жизнь докторов, лекарств и госпиталей». И далее: «Предостережение: медицина, практикуемая в Америке сегодня, может быть опасной для вашего здоровья». Он усматривает вредные последствия от применения не только лекарств, рентгеновской и прочей сложной аппаратуры, но даже таких безобидных инструментов, как фонендоскоп и термометр.

Однако Цывкин продолжает: «Но при «ближайшем рассмотрении» оказывается, что критические стрелы «еретика» направлены не на это, да и не на упомянутые инструменты как таковые, вообще, а на то, как они и получаемые с их помощью сведения используются нередко врачами. Но так же, как некоторые расчеты могут быть сделаны с помощью таблицы умножения, а другие – с помощью простейших весов или измерений шагами, также и в диагностике простейшие методы иногда могут оказаться в какой-то мере полезными, если применять их и оценивать получаемые результаты адекватно, хотя бы для составления рационального плана дальнейшего исследования больного».

Он же говорит как о типичном для России юмористическом взгляде на врачей и медицину. «В каком неприглядном виде изображены последние в этих едких образцах народного творчества, можно судить по такому довольно типичному примеру: «– Эта собака спасла мне жизнь! – Как это случилось? – Когда я болел, из районной поликлиники пришел врач, и она не пустила его в дом». У меня сохранилось и личное воспоминание, касающееся этого предмета: при обсуждении проекта нового госпиталя инженер-строитель настойчиво, считая это, видимо, чрезвычайно остроумным, называл в разговоре с врачами помещение будущего морга «складом готовой продук-

ции» и, видимо, расценивал отсутствие ожидаемой им восторженной реакции на свою «шутку» со стороны слушателей-врачей признаком отсутствия у них чувства юмора.

Тема не слишком-то разработана в нашем литературоведении. Давно и много писалось о писателях-врачах, но мало о самом феномене медицины как предмете изображения и анализа. Впрочем, признаюсь, старых книг я не помню, точнее, не знаю, а сейчас ограничился Интернетом. А наверняка что-нибудь да было.

Наследовала традицию и советская проза. Более других Михаил Зощенко. Все, конечно, помнят больничный плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х», бойко умирающую в ванне старуху и другие события и детали «Истории болезни» (1936). А то, что герой, лежа в больнице, успел подцепить разные заболевания вплоть до детского коклюша, напоминает описанную выше саратовскую детскую инфекционную.

А вот «Плохой обычай» (1924) – про обычай «материальной благодарности» медикам. Сунул рассказчик фельдшеру, и тот, в надежде на дальнейшие подношения, едва не уморил своим сверхвниманием.

Я выше вспоминал о просьбе школьницы отцу побить врача. Это было в 70-е годы. Сейчас участились нападения на скорую помощь, да и в приемном покое доктор может стать жертвой нападения пациента. Мы ужасаемся и говорим, что «раньше такого не было». Заглянем в рассказ Зощенко «На посту» (1926).

«Очень худая профессия у врачей. Главное – пациент нынче пошел довольно грубоватый. Не стесняется. Чуть что не понял – драться лезет, или вообще убивает врача каким-нибудь предметом. А врач, может, человек интеллигентный, не любит, может, чтобы его убивали. От этого, может, он нервничает. А только у нас в приемном покое привычки такой нет, чтобы врачей убивать. У нас, может, с начала революции бессменно на посту один врач стоит. Ни разу его не убили.

Фельдшера, действительно, раз отвозили по морде, а врача пальцем не тронули. Он за ширмой был спрятавшись».

Есть у Зощенко и краткая поэтапная формула советского здравоохранения: «У нас на этот счет довольно быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище» («Иностранцы», 1928). Всего же им написаны многие десятки фельетонов и рассказов о больных и болезнях, врачах и больницах. Именно Зощенко, а одновременно с ним и Булгаков, да и не только они, писали о том, точнее изображали то, как недоверие и неуважение к докторам и медицине загадочным образом сочетаются в русском народе с патологической страстью к лечению, обнаружению у себя разных болезней, к приему лекарств. В советские времена, с появлением соцстраха сюда прибавилась массовая симуляция с целью во что бы ни стало добыть бюллетень. Вот рассказ Булгакова «Паршивый тип» (1925).

«Пузырев укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею, как клещ.

Затем слесарь накрылся шапкой, губу зализал и направился в больницу на прием к доктору Порошкову.<...> Ут... ром... седни... кровью рвать стало... – Да круглая язва желудка у вас. Но это ничего, можно поправиться, – во-первых, будете лежать в постели, во-вторых, я вам порошки дам». На круглой язве желудка Пузырев заработал 18 р. 79 к., освобождение от занятий и порошки. Порошки Пузырев выбросил в клозет, а 18 р. 79 к. использовал таким образом: 79 копеек дал Марье на хозяйство, а 18 рублей пропил... <...>

– Денег нету опять, дорогая Марья, – говорил Пузырев, – накапай-ка ты мне зубровки в глаза.

В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров вели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил:

– Прощай, прощай, белый свет! Пропали мои глазыньки от занятий у станка...

– Черт вас знает! – говорил доктор Каплин. – Я такого злого воспаления в жизнь свою не видал.

На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе. Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом: 2 рубля дал

Марье, потом полтора рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером, и эти полтора и остальные двадцать пропил. <...>

Неизвестно где гениальный Пузырев спер пять порошков кофеину и все эти пять порошков слопал сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию к докторше Микстуриной, и докторша ахнула.

– У вас такой порок сердца, – говорила Микстурина, только что кончившая университет, – что вас бы в Москву в клинику следовало свезти».

Сколько с тех далеких лет всевозможные Пузыревы навыдумывали способов добычи бюллетеня – не счесть. Я полюбопытствовал: в Словотолкователе иностранных слов 1866 года слова такого – симулянт – вовсе нет. Как, разумеется, у Даля, как и в русской классике. Впрочем, нет в медицинском смысле, а так, скажем, Розанов писал о литературных симулянтах.

Но процесс шел в обе стороны. Смышленых лекарей все чаще не приходилось обманывать, куда проще было «сунуть». Взаиморазвращение особенно бурно развилось в годы ласкового брежневского застоя. Зато в литературе все более процветал самоотверженный доктор с «делом, которому он служит». Едва ли не единственным относительным исключением стали повести Юрия Крелина.

Еще примерно тогда же, нет, пораньше, развернулся среди населения обычай писать на врача жалобы. Так врач превращался в «писателя», для которого главным стало не вылечить, а оформить больничную карту и проч. документы так, чтобы комар носу не подточил.

Со стороны же эскулапов возникали новые и новые способы приварка к скудной зарплате.

Скажем, со времен андроповской борьбы с диссидентами грехи психиатрии связывались исключительно с принудительным помещением в психушку инакомыслящих.

Но то было гадкое, палаческое, но все же выполнение приказа, так сказать, «госзаказ». А вот в наши времена широко распространено явление, когда не слишком сердобольные родственники сдают престарелого дедушку или бабку, или папу, или маму туда, где палаты с решетками, условившись с врачом, точнее с зав. отделением, что дедушка-бабушка, папа или мама проведут остаток дней в этих палатах, а пенсию, бывает и повышенную, дедушки-бабушки, папы или мамы будет получать по доверенности врач, то есть зав. отделением, который, разумеется, не обидит и главврача.

Находчив русский человек! В том числе и в белом халате.

* * *

А еще среди врачей, которые пьют и в целом, самые пьющие – это наркологи.

Что с одной стороны на пользу делу – пьющий врач понимает проблемы больного изнутри. До тех пор, пока его самого не начинают лечить. Вот вам и повторение булгаковского «Морфия» в новые времена. Вообще зависимость доктора от заболевания того, кого он лечит, содержится в опасности заразиться не только инфекцией, но и – помните в «Кавказской пленнице» главврача психбольницы, куда Саахов упек Шурика, как тот чертиков с плеча сощёлкивал? А задолго до Гайдая русский писатель так охарактеризовал главврача в доме умалишенных: «главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его...» (Искандер (А. Герцен) «Доктор Крупов», 1847).

Пьянство медиков зачастую зависит от места действия и работы. То, что пьют в захолустных больничках, легко объяснимо. Но пьют и в крупных городских клиниках, хотя не все и не во всех. Тут многое зависит от главврача точно по пословице: каков поп... Но даже и в пьющих больницах по алкогольной части особенно отличаются хирурги, передавая, как скрижаль, из поколения в поколения слова то ли Спаскукоцкого, то ли Разумовского: «Русская хирургия будет жива, пока хирурги будут спать с операционными сестрами, мочиться в раковины в ординаторских и пить казенный спирт».

Мне многократно приходилось пить с хирургами до и после, и даже во время операции. От хирургов не отстают анестезиологи и операционные сестры. Причем, некоторые просто не могут оперировать, не приняв на грудь необходимой дозы. Другие же нечаянно напивались перед операцией, и их приходилось экстренно отрезвлять, а то и – был свидетелем, – по причине полной недееспособности, прятать с глаз долой от начальства куда-то в кастелянскую под груду белья и заменять товарищем по оружию.

Я сейчас припомню некоторые свои впечатления от присутствия на операциях, но прежде заявлю главное – для меня – в этом тексте.

В сложнейших до причудливости отношениях врач-больной, больница-пациент бесполезно искать разумные или логические причины, делать сколько-нибудь вразумительные выводы, а тем более прогнозы, и уж никого нельзя винить. Тема обширна, как сама жизнь и смерть, и поэтому я смею лишь ограничиться тем, что поделюсь собственным убеждением. В самоотверженности врачей и их равнодушии, в бескультурье или агрессивности пациентов, в диких перепадах от научных достижений медицинской науки до забытого (не обязательно пьяным) хирургом в брюшной полости инструмента, во всем, во всем – я говорю о России (хотя, видите, какие книги выходят на Западе!) – следует лишь сознавать загадку, ту метафизическую тайну, которая одновременно губит и охраняет нашу страну с незапамятных лет.*

* * *

Я, конечно, побаивался идти в операционную. И мы с хирургом и анестезиологом, конечно, выпили, точнее, добавили. Я вынужден сообщить, что именно мы выпили. Тогда, ночью, был какой неудачный, с точки зрения добывания у старшей сестры спирта, момент, и мой приятель-анестезиолог решил использовать спирт – я хотел было сказать чистый, но вернее сказать, неразбавленный, ибо чистым его нельзя назвать из-за места нахождения – банки, где отмывались кровавые нитки кетгута – шелковой нити, которой зашивают разрез. Больше того, по окаянному стечению обстоятельств, была отключена холодная вода, и этот желтоватый, сильно отзывающий йодом спирт мы разбавили жидким полуостывшим больничным чайком, отчего напиток пожелтел еще более и стал теплым.

Да, это было.

Из двух операций, на которых я присутствовал, почему-то спокойным меня оставила полостная, на кишечнике, хотя трясущиеся ярко-жёлтые комочки жира, которые во множестве стряхнулись из-под кожи оперируемой (пожилой женщины), запомнились. Но во всяком случае, мне не стало дурно, и я простоял возле стола всю операцию.

Зато вторая – это было в другой раз – заставила меня вскоре покинуть операционную, при ее почти абсолютной бескровности. Оперировали женщину лет сорока, она лежала практическая одетая – т. е. в рубашке до колен. У нее было варикозное воспаление вен на ногах. И вот хирург взял фломастер, кажется, зеленый, и стал обозначать на коже эти вены. Изрисовав ноги, хирург сделал разрезы на концах зеленых линий, подцепил вену каким-то крючком и далее стал наматывать ее на стальную (или стеклянную?) палочку, точь в точь как червяка. И здесь-то я почувствовал приближение легкой дурноты и аккуратно покинул помещение.

* * *

Описывать еще собственные больничные впечатления и воспоминания?

Ведь есть, что вспомнить...

«Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой – с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий – ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке.» (М.Зощенко. «Медик», 1924)

Например, как в результате какой-то чудовищной передозировки – ошибки анестезиолога (мне пилили челюсть под общим наркозом), я не мог придти в сознание не то, как надо, минут через 15, но почти сутки и очень хорошо помню, что с отключенным сознанием видел, правда, не описываемый обычно выжившими светящийся коридор, но угольно-черное небо, в котором я летел с необыкновенной скоростью и легкостью, лишь немного тяготясь ощущаемым внизу собственным телом, к яркой несущейся звезде – комете Галлея (то был год, когда она приблизилась к Земле, и об этом много писали). Наркоз мне дали утром, но лишь к ночи я очнулся. Но не мог пошевелить пальцем, с операционного стола меня перегрузили на каталку. И я постепенно стал шевелить пальцами, конечностями и, шатаясь, встал. Не так давно я встретил хирурга-стоматолога, анестезиолог которого едва не отправил меня на тот свет. Оказалось, что доктор прекрасно помнил и меня и всю, примерно тридцатилетней давности, историю, и, здороваясь со мною, первым делом воскликнул радостно: «А! комета Галлея!»

Но нет, не буду больше про себя. Некогда один саратовский писатель принес в журнал «Волга», который я редактировал, документальную повесть листов в 15 о том, как в Новосибирске какой-то модный тогда чудо-лекарь вылечил его от астмы. Он подробно описывал все процедуры. Я дал на просмотр рукопись жене, напоминаю, доктору. Прочитав, она спросила: «А если бы его лечили от геморроя, он тоже повесть об этом написал бы?»

Итак, я завершаю свои больничные заметки, надеюсь, что время не прибавит мне новых впечатлений.

Лев ОБОРИН

* * *

Солнце ползет по низинам, по замерзшим трясинам,
По горным вершинам, по стариковским морщинам.
Идет и заглядывает в ледяное озеро,
Высвечивает лягушек в анабиозе.
Ответ без вопроса. Ни для кого примета.
Нет ничего медленней скорости света.

* * *

море кипит и дыбится
в нем варят уху моряки
заплывает колыбельная белорыбица
дивная
в устье реки

ставит крик на рипит
«море, море мое кипит!
море, море мое кипит!»

и деревня спит
и каждый ребенок спит

* * *

Энтропия выходит замуж за время, у них не рождаются дети.
Время везде рассылает своих термитов.
Даже сама эта мысль с наивностью превращается в горстку
вопросов разнокалиберного тщеславья:
первый ли я на земле, произнесший это?
Нет, успокойся. Вряд ли.
Человек не живет без железа в крови, но оно ржавеет,
как табличка с названием итальянского полустанка.

Странно, но никогда до этой самой минуты
я не говорил ничего, что так бы
шло вразрез с ощущением. Потому что я счастлив.

Лев ОБОРИН родился в 1987 году, студент 5 курса историко-филологического факультета РГГУ. Публикации в журналах: «Знамя», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Живая старина», «International Poetry Review» (США) и др.; в интернет-изданиях «Органон», «Сетевая словесность»; подборки стихотворений в сборниках «Знаки отличия» (М.: Дебют, 2005), «День открытых окон» (М.: РГГУ, 2007). Шорт-лист Независимой литературной премии «Дебют» (2004, 2008). Участник поэтических фестивалей в Москве, Таганроге, Нижнем Новгороде.

Карамель

It won't do to dream of caramel.
Suzanne Vega

На стене сбербанка изгибом искусственные лианы
Старухи спрашивают, который час, у охраны
Каждая рано встала с узкой постели
где она мечтала о карамели

Что же
в вечной глуши пластмассовых традесканций
обитатели городов живут чаянием новых станций
метро, обитатели деревень живут чаяньем хмеля
но еще мечтают о карамели

Что же я
У меня есть жена, мама, папа
бабушка, друзья
заграничный паспорт
У меня есть то, чего многие не имели
но еще я мечтаю о карамели

Невыразимого цвета, тягучая и живая
как таковая, из каравай-каравая
сегодня не завезли, зайдите на той неделе
не мечтайте о карамели

* * *

Выползут из квартир, из лабиринтов универмагов
снимут с тебя одежду, разделаются с бельем
заполнят собой вызываю бактериофагов
прием, прием

Нету берушей, нет никаких подушек
в которые бы зарыться, уйти с головой
слушай сиплых шансонных лжецов и их поблядушек
неугомонный вой

Вот уже продавщиц начинают звать тетя Нюра
(голова, прижимайся теснее к плечам)
что же это такое возвращается литература

но еще возвращается пууууу реактивного по ночам
возвращается трррр холодильника по ночам

* * *

И вот пролегает дорога
Сквозь поле беззвучья и мглы
И вот пролегает дорога
Сквозь прутья поганой метлы
Пески ее мнут и корежат
Отщипывают завитки
Она истончится, но все же
Тебя доведет до реки

* * *

пауза пауза пауза
пауза между паузой и паузой

мысли в моей голове
только в зачеркнутом виде
то есть думается на какой-то одной дорожке
на запретной такой ненавистной дорожке
как думаешь о ком-то кто всех дороже
и при этом приходят мысли отвратительные до дрожи

пауза пауза пауза
пауза между паузой и паузой

следопыты юннаты скворечникоделы святые
хочется к вам и под мышку книгу бианки
я ради вас расставлю в вас запятые
следопыты, юннаты, скворечникоделы
обладающие укрытием от кошмара
гниения которое я не застал но помню
помню прапамятью пусть она коротка

пауза пауза пауза
пауза между паузой и паузой

бабушки выписывающие иностранную литературу
кроим и шьем работницу и крестьянку
дети которым про в третий раз он закинул невод
а они что такое невод
впрочем это осталось бы и теперь но где вот
те кто будут читать про закинул невод

пауза пауза пауза
пауза между паузой и паузой

и между тем фантастические ракеты
пояс койпера галактика андромеды
пульт управления легче чем в магнитоле
запись воспроизведение стоп
и конечно

пауза пауза пауза

* * *

я ноги промочил.
я что-то промычал.
мне в спину луч светил
и что-то означал

пустую похвалу
и полую хулу
и то, что я стою
в ветровке на углу.

* * *

Вот раздвигается кулиса;
блудливые глаза пуриста,
любовь и гордость окулиста,
высматривают недочет,
разыскивают экстремиста;
но тут со сцены все стремится,
со сце стремится и течет,
как по реке, на плавнике
и хлоп магнитом по щеке!

* * *

Ане Логвиновой

Все уже сказано.
Полно представлен весь мир
Золотом, ладаном, смирной.
Летчики пьют в военной столовой кефир
И улетают в Мирный.

Член партии «Ох» и член партии «Ах»,
Юрист и электромеханик
По очереди в поезде держали в руках
Один подстаканник.

Одна студентка списывает про идиолект,
Другая про надпространственные кривые.
Но обе они под партой читают конспект
Впервые.

Алексей СЛАПОВСКИЙ

100 лет спустя

Письма нерожденному сыну

(Журнальный вариант)

Настоящему, чтобы обернуться будущим, требуется вчера.

Иосиф Бродский

Меня любили.

Даниэль Дефо, «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс...»

Письмо первое

Дорогой мой нерожденный сын! Я долго негативилась, что ты не родился. Особенно прискучивалось мне по тебе в золотые пятидесятые, когда могла заказать любого ребенка любого возраста – даже старше себя, как нравилось некоторым. Но я хотела по старинщине. То есть conceive* в себе от семени твоего отца, выносить и родить. Именно родить, пусть ученые и доказали полноценность потомства, полученного из любой части отца и матери. Общего ребенка также могли иметь и два мужчины или две женщины. Или один человек сам от себя. Или группа человек. Дошло до того, что каждый при желании мог иметь потомство от себя и произвольного биологического существа, хоть любимой собаки, хоть дорогого сердцу кактуса.

А потом я перестала из-за этого страдать, то есть из-за нерождения и отсутствия тебя, даже радовалась, что ты не увидел того ужаса, который нас догнал, нет, тут другое слово, не помню, вспомню потом.

Я хочу рассказать тебе о жизни твоей мамы, а именно – меня. И объяснить, почему ты не появился на свет и почему лучше, что ты не появился, хотя иногда все равно жаль.

У меня всё провалами и всё попуталось. В моей голове похоже на то, будто мерцает электричество, полная темнота сменяется тут же яркостью, но так быстро переход, что от света я слепну больше, чем от темноты. Только начинаю видеть – опять темнота. И я не успеваю. Электричество я вспомнила не контактно с действительностью, электричества давно нет. Я пишу днем где-нибудь без людей, чтобы не отняли бумагу. А иногда ночью при свете chip**, но редко, chip достать не очень легко.

---

* conceive, *англ.* – зачать.

** chip, *англ.* – щепка, лучина.

Алексей СЛАПОВСКИЙ родился в 1957 году в с. Чкаловское Саратовской области. С 1968 по 2000 год жил в Саратове. По образованию филолог, работал учителем, теле- и радиожурналистом, редактором журнала «Волга». Автор около 40 пьес («Вишневый садик», «Пьеса № 27», «Не такой, как и все» и др.), многих романов («Я – не я», «Первое второе пришествие», «День денег», «Они», «Пересуд» и др.). Четырежды финалист премии «Букера», лауреат (1-я премия) Первого европейского конкурса пьес. Широко известен как теле- и киносценарист («Остановка по требованию», «Участок», «Ирония судьбы. Продолжение» и др.). Живет в Москве.

Я отвыкла чертать буквы. Это легко понять: почти всю жизнь я это делала клавишами компьютера и кнопками коммуникативных устройств. Потом голосом. Потом мысленными импульсами. Потом много лет вообще ничем: исчезла необходимость. И вот опять составляю письменные слова, это так же трудно, как долго лежавший учится ходить. Учти еще мой возраст – сто двадцать четыре года. Нет, это не так уж и много, но отсутствие реплантантов делает мои перспективы бесперспективными. Учти и то, что я не перфектно знаю родной русский язык, потому что приходилось в слабость жизненных обстоятельств говорить на многих других – и на арабском, и на китайском, и на английском, который стал вторым, а иногда и первым языком для меня. Ну, и еще с десятками полторами языков я имела знакомство: такова была моя деятельность.

Но главное не трудности держания в руке пишущей палочки, содержащей красящую жидкость, не выведение ею букв, не путаность в языках, главное – отсутствие под руками систем поиска. Это многих людей так выбило из... как это... след, оставляемый движущимся колесным средством... в общем, выбило из привычек, они растерялись и без помощи этого поиска не могут не только ничего сказать, но даже подумать. Как было раньше? К примеру, я забыла слово «молоток», потому что этот предмет исчез из моего обихода, как и у многих других людей. Я иду немедленно в электронную поисковую систему, то есть иду не ногами, это такое выражение, я иду образно. И ищу это слово по его значению, по описанию. Например, я описываю для искания: «То, чем забивают гвозди». Но сложность в том, что для того, чтобы составить это описание, нужно знать слово «гвозди». Поэтому сначала ищем «то, что забивают». Но при этом можешь наткнуться на выражения вроде «забить гол», «забить на всё», «забить стрелку», «забить косяк», «забить барана», значения которых я абсолютно не понимаю, хоть сейчас вот и вспомнила неожиданно. Но ясно, что тут о забитии гвоздя нет и речи. И это еще хорошо, но, бывало, человек не знал даже слово «забивать». Как поступить в этом случае? Объяснить знаками? Да, такая система была в позжее время: человек сидел перед монитором и камерой и показывал, что он хочет найти. Если он показывал предмет, фотографию или что-то другое, результат появлялся тут же. Если он показывал жестами, предлагались варианты. Но как ты можешь показать, как забивают молотком гвоздь, если не помнишь ни что такое молоток, ни что такое гвоздь, ни что такое забивают, а самое главное – зачем забивать гвоздь молотком и зачем ты вообще это искал?

Сейчас у меня нет Интернета, как и ни у кого, пример о молотке и гвозде я помню случайно, подобно многих других случайных вещей, засевших в моей голове вместо необходимых. Поэтому я буду, как уже начала, некоторые слова заменять иностранными, если помню, или описательными оборотами и тюремить* их в...

Вот, оказывается, я и это забыла! Вот это – ( ). Как это называется? Это такие загнутые знаки, которыми с двух сторон обставляли слова и предложения, которые почему-то выбивались из текста.

Господи, как же их... Их открывали и закрывали. Дверцы? Калитки? О, какое древнее я вспомнила слово, «калитка»! Отвори потихоньку. Кажется, это пословица: «Отвори калитку потихоньку». «Не спешишь – людей не смешишь». «Тише будешь – дальше уедешь». А вот как называются знаки ( ) – не помню! Откуда-то вдруг выскочило: «степень ответственности андеррайтера в новой эмиссии». Что это такое? Я не понимаю собственных мыслей!**

Итак, я буду вставлять в них описания, а потом вернусь и, может быть, вспомню слова.

Я плохо помню, что было вчера, еще хуже, что было позавчера и совсем иногда не помню, что было неделю назад, зато отлично помню ту эпоху столетней давности. Что ж, известный любому старому человеку парадокс.

Какое это было время, когда ты не родился, но мог родиться и даже собирался?

---

* Героиня явно имела в виду слово «заключать». *Прим. изд-ва.*

** Повествовательница напрасно огорчается, «степень ответственности андеррайтера в новой эмиссии» - описание термина bracket, а bracket означает также «скобка», т.е. слово, которое она пытается вспомнить. *Прим. изд-ва.*

О, это было чудесное время! Конечно, не сравнить с пятидесятыми в смысле цивилизационного развития, но была зато спокойная патриархальность, мирная гладь перед Первой энергетической революцией, освободившей человечество от проклятия органических энергоносителей. Правда, как потом выяснилось, благоденствие пришло не навсегда, ибо большие возможности порождают гигантские проблемы.

Жизнь была в общем и целом приятной. Люди передвигались очень неторопливо, имели изобилие натуральной пищи, уделяли большое внимание культуре, науке, искусству. Ты не поверишь, Никита, несмотря на то, что они жили втрое и вчетверо меньше возможного, им не жаль было времени на усвоение и потребление музыки или книг в формате 1x1. То есть, чтобы ты понял: если симфония длится 1 ч. 30 мин., то и слушали ее 1 ч. 30 мин. В результате человек получал примерно около 5% информации по сравнению с той, что он мог освоить за то же время в развитые годы. Хотя в таком on-line environment была своя прелесть.

В мировом масштабе главные союзники, США и Россия, прочно сдерживали напор основных экономических и военных соперников: мусульман Европы, арабо-израильский союз и китайский дальневосточно-сибирский оплот, придвинувшийся к предгорьям Урала. Если выделить год твоего возможного рождения, 2009-й, то он был особенно счастливым и стабильным. В США избрали первого и последнего черного президента, доказали свою толерантность и на этом надолго успокоились. У нас это был период зашествия на должность премьер-министра России любимца народа Владимира Путина, а на второстепенную, но важную должность президента назначили Дмитрия Медведева.

Триумвират Путин-Медведев-Прокушев вывел страну из затяжного кризиса, а нацию из состояния морального разложения, коррупции, безвластия, произвола, безграничного политического и бизнес-цинизма, которому попустительствовали их предшественники сначала в девяностых, а потом в 2000 – 2008 годах. Фактически прекратились политические и экономические убийства, которые совсем недавно не давали стране покоя. Население с радостью поддержало инициативы правительства, его знаменитый лозунг, который я помню наизусть: «Государству – власть, народу – закон, жуликам – тюрьма» (в сокращенном варианте: «Власть – закон – тюрьма)»*.

Видишь, сыночек, как складно я все объяснила: потому что была близка в тот год к правительственным кругам, но об этом позже.

Сегодня я устала так, что

Кто-то идет...

Письмо второе

Дорогой мой Никита!

Я тороплюсь рассказать тебе о себе, чтобы ты меня знал. Я хочу также рассказать людям о том, каким ты мог быть – а для меня был реально, так часто я думала о тебе. Если никто не думает о человеке, его словно и нет, ведь так? А если кто-то думает постоянно и живо, то он живой, правда?

Еще я должна записывать, потому что боюсь потерять память. Если я потеряю память, я фактически умру. А если умру я, умрешь и ты. И никто не узнает, что ты был.

Итак, сыночек, агу, агу, как почему-то говорили в старину мамы и бабушки, меня зовут Дина Василий Лаврова. Судя по отчеству (среднему имени), моего отца, твоего деда, звали Василий. Василий Андрей Лавров. А мою маму, твою бабушку, звали Алевтина Георгий. Мама мыла раму. Не обращай внимания. У меня некоторые слова идут самовыговором, я их не понимаю, но оставляю: может, они что-то значат?

---

* Данные исторической реставрации, проводимой с начала Третьей эры, т. е. с 2257 года, не совпадают с этим рассказом: многие описываемые события происходили в другое время, а некоторых и вовсе не было. Есть и явные ошибки: Прокушев, как известно, на политической арене появился только в 2016-м году. *Прим. изд-ва.*

Мой отец работал в системе трубопроводного обеспечения водой жилых помещений. Мама тоже работала – на пищепроизводительной фабрике, что-то связанное с молочными продуктами. Еще была бабушка Нина, мама отца. Она умерла в моем детстве. Были у меня также старшая сестра Лариса, Лара, и младший брат Денис. Лариса работала в магазине, продавала то, что женщины надевали под верхнюю одежду, когда еще существовало различие между верхней и нижней одеждой. Забыла слово. Может быть, черньё: эта одежда часто была черной. Но была и зеленой, и разноцветной, и кружевной, и белой... Как же? Зеленье? Разноцветье? Кружевьё? Белье? Не помню.

Денис учился в младшем классе школы, а я уже заканчивала школу и была счастлива, несмотря на контрапункт моей красоты и окружающей меня в родном очаге бедности. Чем я была счастлива? Ничем, сынок, просто своей молодостью и своим существованием. Ты спросишь: как сопрягается мой рассказ о благополучии времени с очагом бедности? Очень просто – всем хорошо не бывает. Если бы кому-то предложили отправиться на машине времени, которую, предвижу твой любознательный мальчишеский вопрос, так и не изобрели, куда-нибудь в античные времена, которые многие считают первым расцветом цивилизации, каждый представил бы себя перед отправлением полководцем или патрицием, или ученым, или скульптором. Но он мог бы ведь оказаться и рабом, и даже с большей вероятностью – рабов было больше. А жизнь их была страшной, бессмысленной, скотской. Где память об этой жизни, кроме скудных сведений о каких-то там восстаниях? История не забывает ужасов, но все же приятное вспоминает чаще. Человек в этом смысле ничем не отличается.

Город Саратов, где я родилась и жила, находился, насколько я помню (а проверить не могу из-за недоступности книг, отсутствия систем поиска и невозможности у кого-то спросить – остальные вообще всё забыли), на южном побережье какого-то озера, образованного втекающей рекой. Он был весь покрыт зеленью деревьев, спускался к озеру, прибрежная зона вытянулась на несколько вогнутых внутрь километров, усыпанная золотистым песком и телами отдыхающих, приезжавших со всех концов страны и из-за границы. Вдоль пляжа выстроены были гостиницы, бунгало, увеселительные заведения. Туристический бизнес давал саратовскому бюджету животную *(тут какое-то конкретное животное из кошачьей, кажется, породы, но хищное, забыла)* долю доходов, промышленность была неразвита, зато из-за этого хорошей была экология. Губернаторы, выбиравшиеся волей народа, оставили о себе благую память: они понимали, что без хороших дорог не будет никакого развития, и все силы бросили на их прокладку. Затем уничтожили убыточные и вредные промышленные объекты у воды и устроили там зоны рекреации, о которых я уже сказала. Оставили в городе только те предприятия, которые доказали свою жизнеспособность на конкурсной основе.*

Но, как в Древнем процветавшем Риме были рабы, так в России были хоть и свободные, но бедные люди, составлявшие простой народ. Некоторые из них обитали в невообразимых лачугах деревень и окраин городов. В подобной лачуге жила и я со своими родителями. Отец был умеренно пьющим, мама работящей, но все-таки больная бабушка, трое детей. Семья задыхалась от материального недохвата.

Я даже не знаю, как тебе это описать, ты не поверишь.

Вот пример: ко мне пришел в гости одноклассник, который испытывал ко мне сексуально-психологическое влечение. Сам он жил в большом многожилищном доме. Он побыл у меня в гостях, а потом выразил желание пойти в туалет. Мне пришлось показать ему строение во дворе, составленное из досок. Да, Никита, в начале двадцать первого века в России еще существовали подобные удобства. Вернее, неудобства. Конечно, у меньшинства, но разве приятно чувствовать себя меньшинством? Тогда еще не знали, что через сотню лет все вернется, что отправлять свои естественные нужды будут вне жилья, но не в специальных строениях, а где придется, часто среди голого пространства, не стесняясь присутствием посторонних – этому научились еще в конце прошлого века.

* Данные исторических разысканий о городе Саратове не совпадают с рассказом Д.В. Лавровой. *Прим. изд-ва.*

В общем, мы жили скудно, бедно, но я все рано была чаще счастной, чем наоборот, и любила свою семью, своих родителей, добрых, хороших, хоть и не пассионарных людей. Иногда, правда, чувствовала себя достойной лучшей участи – возможно, еще и от моей врожденной тяги к прекрасному. Одно посещение того же туалета тяжело действовало на мою эмоциональную сферу, особенно вечером, когда *(насекомые, не помню названия, кровососущие и жужжащие, они давно вымерли: почти некого сосать и некому досаждать жужжанием, о котором сейчас старожилы вспоминают, как о райской музыке)* жалят в открытые участки кожи и портят гладкость эпителия, которым я всегда втайне гордилась. Зимой еще хуже, потому что холодно, образуется наледь и рискуешь упасть в дыру.

Но летом иногда у нас было хорошо: расцветали цветы, покрывались листьями деревья, воздух казался чистым и спахучим, если ветер не со стороны туалета. Однако выяснилось, что с этим надо будет расстаться. На месте нашего и других маленьких домов наметили построить большой дом. Это хорошо, но нам предлагали в виде 補償 * только плохие, крохотные жилые ячейки, это не устраивало отца и мать. Других жителей тоже, хотя все-таки кто-то согласился и съехал, говоря, что могут и ничего не дать. Я не понимала, как это возможно. И вдруг однажды ночью в нашем поселке произошел огонь. Мы спаслись с минимальным количеством вещей. И вынуждены были поселиться в предложенном нам двухкомнатном помещении, где мы с сестрой и младшим братом притеснились вместе.

Мама была всегда озабочена, а отец не унывал. Он сердился на окружающее, но сердился весело, каждый вечер нейтрализуя ситуацию алкоголем. Мама говорила ему, что вместо этого он мог бы найти вторую работу, папа отвечал, что вторая работа это так же глупо, как вторая жизнь: надо одну прожить достойно.

– И ты считаешь, что живешь ее достойно? – спрашивала мама.

– Более чем, – отвечал папа.

Мы любили его за то, что он нас любил, а мной восхищался за мою редкостную красоту, хотя старался не выделять меня, чтобы не было обидно Денису и Ларисе, которая тоже была вполне красивой девушкой.

Мне нравилось учиться в школе, хотя мешал с детства агрессивный интерес ко мне мальчиков. Но я овниманивалась учебой и старалась не замечать. Подруги с наступлением половой зрелости начинали отвечать мальчикам, то есть уже подросткам и юношам, взаимностью в той или иной мере, но мне это казалось смешно. Они мазали себе глаза черным, губы красным, старались одеждой и другими способами подчеркнуть свою привлекательность, я понимала, что это естественно, что это вытекает из законов природы, но все равно мне это казалось каким-то глупым – постоянно хвалиться собой и чувствовать себя на бесконечной *(место, где много и напоказ торгуют)*. Я не стремилась слишком красиво одеться и показать свои части тела, Лара порицала меня и говорила, что я не умею себя подать. Я отвечала, что я не какое-то блюдо, чтобы себя подавать. Она смеялась и говорила, что жизнь женщины это выставка-продажа, что бы там ни говорили феминистки, это вечный бой за лучшего мужчину и лучшее место под солнцем.

– В таком случае я не хочу быть женщиной, – сказала я, рассердившись. И объяснила: – То есть не хочу вот этого всего, как у наших девочек в школе. Глазки, ужимки, хи-хи, сю-сю – будто в самом деле каждая себя хоть немного, но предлагает.

– А ты себя не хочешь предлагать?

– Нет.

– На красоту свою надеешься?

– Ни на что не надеюсь. Просто об этом не думаю.

– А если тебе кто-то понравится? – допытывалась сестра. – Ведь ты будешь что-то делать? Чтобы ему тоже понравиться, чтобы у других отбить?

---

* 補償, *кит.* - компенсация.

– Нет, – сказала я. – Просто подойду и скажу, что он мне нравится. И если совпало, то да, а если нет, то нет.

– Ну-ну, – не поверила сестра.

А я так бы и сделала, но, к счастью, мне никто тогда не нравился и я могла спокойно учёбиться и жить.

А в семье было все труднее: отец вместо нашествия второй работы потерял первую, у мамы тоже были какие-то трудности. Она даже плакала иногда. Все было хмуро.

И тут я прочитала в местной газете, что объявлены отборочные мероприятия на конкурс «Краса Саратова». По условиям победительница получала большой денежный приз и хорошие контракты на рекламную работу. Мне это было не нужно, но у меня возникла мысль помочь таким образом семье. Я не знала, как отнесутся мама и папа, поэтому готовилась к конкурсу тайно. Пришлось преодолеть много трудностей, включая мою застенчивость, но я справилась. Отборочный конкурс миновала успешно, потом еще один, полуконечный – и таким образом попала в финал, в состав двенадцати самых красивых девушек Саратова. Он был должен состояться в театре оперы и балета – лучшем здании города.

Пришлось сказать об этом родителям.

Мама отреагировала очень конфликтно.

– Я не позволю, – заявила она, – чтобы на мою дочь смотрели полуголую!

– Вот именно, – согласился с нею отец.

Я сказала, что буду не полуголая, а в купальнике, и только один раз, а остальные показы в одежде. Что в этом плохого?

– Вот именно, – согласился со мной отец.

– Знаю я эти конкурсы! – угрожала мама. – Этих девушек потом покупают богатые скоты и делают из них личных проституток!

– Вот именно, – согласился с ней отец.

Я отвечала, что это неправда, а если даже и правда, я хочу не этого, а получить денежный приз и временную работу в модельном агентстве.

– Вот именно, – поддержал меня отец.

– Уйди отсюда, – сказала ему мама, и он послушно ушел в кухню. А мама продолжила, говоря: – Ты не хитри. Скажи прямо: я хочу стать проституткой!

– Моделью, – возражала я. – Чтобы заработать на образование, потому что в университете на факультете иностранных языков почти нет бесплатных вакансий. А я хочу туда поступить после школы. Мне самой не очень нравится, но, если нет других вариантов, почему не поработать моделью?

– Проституткой! – стояла на своем мама.

Я не хотела ее сердить и в шутку улыбнулась. И спросила:

– По-твоему, если девушка работает, например, натурщицей, она тоже проститутка?

– Что такое натурщица? – спросила моя мама, не очень разбиравшаяся во многих аспектах жизни, которые выходили за круг ее обязанностей и интересов.

Я объяснила: это девушка или женщина, которая позирует для художников. В том числе и обнаженная. В том числе перед художниками-мужчинами.

– А кто же она, если не проститутка? – удивилась мать.

Я не хотела с ней спорить. Какой смысл, если человек не понимает элементарных вещей? Но мама, которая работала небольшой начальницей на своем производстве, не привыкла отступать, пока не докажет свою правоту.

– Нет, постой, – сказала она. – Проституция – что такое?

– Продавать свое тело за деньги, – ответила я.

– Вот! А натурщица разве не за деньги раздевается перед художниками? Не продает свое тело им?

– Хорошо, я скажу точнее: проституция – не просто продавать тело, а вступать в сексуальный контакт.

– Вот и получается у этих натурщиц полная проституция!

– Да почему?

– Как почему? Они сидят голые, на них мужики смотрят, слюни до пола текут, это не сексуальный контакт?

– Имеется в виду – физический!

– А что физический? Мне вон Абросимов, начальник цеха, каждый день руку пожимает, вот тебе и физический, а секса никакого! А Борченко, директор, он меня не касается, зато так смотрит на всех женщин вообще, что хоть в суд на него подавай за домогательство.

Я рассмеялась.

Мама поставила вопрос на ребро:

– Значит, ты могла бы голышом позировать перед художниками?

Я обиделась и сказала, что, если отстаиваю что-то теоретически, не надо делать практические выводы. Я не стала бы позировать обнаженной – уже потому, что мне это не нравится. Я не хочу, чтобы на мою наготу смотрели посторонние мужчины.

Этот мой твердый ответ немного успокоил маму, хотя она все-таки была недовольна.

А папа украдкой шепнул, что будет болеть за меня.

Я продолжала готовиться к финалу.

Наряды шились на нас индивидуально. И вот однажды, перед генеральной репетицией, я пришла и увидела свои наряды изрезанными. Еще две или три девушки пострадали. Самые красивые. Но им было легче: богатые отцы или друзья быстро оплатили все новое, а у меня не было такой возможности. Я пришла домой и рыдала. Мама сказала:

– Вот видишь, в какой мир ты хочешь!

Но после этого она поехала за моей одеждой, взяла ее в костюмерном цехе и всю ночь ее чинила и зашивала: у нее были искусные руки. Она не могла только починить купальник, чтобы этого не было заметно, поэтому купила мне новый на последние свои деньги.

И вот день выступления.

Письмо третье

Меня чуть не застали за моим занятием. Но все обошлось. Ведь бумагу никому не выдают из нефункционального населения, поэтому я взяла ее сама в одном месте. Там еще есть, но я пока не говорю, где это, и в своем письме тоже, прости, Никита, не пишу, потому что мои листы могут ведь найти и все раскроется.

И вот день выступления.

Перед этим я полночи не спала, а потом заснула и увидела ужасный сон. Будто бы в зале сидит огромное количество глазействующих людей, а на сцену выносят сначала ноги, потом руки, потом другие части тела. Жюри оценивает их по отдельности. Обмеряют сантиметрами, взвешивают. Выбирают, что хуже, а что лучше. Потом выносят головы. Потом из всего этого начинают собирать девушек, включая меня. И вот, когда меня собрали, я увидела, что у меня чужие руки, ноги, но самое страшное, у меня чужое лицо. Я проснулась вся в поту.

Хотя у меня был великолепный цвет лица, но сцена и ее освещение имеют свои законы, поэтому приходилось применять макияж. Перед решительным финальным показом я стала наносить тональную пудру и почувствовала – что-то не так, какая-то необычная эта пудра. И запах какой-то странный – чего-то тухлого или горелого. Но было уже поздно. Я начала чихать, у меня тут же покраснел нос, я выглядела так, будто была сильно простужена. Разгадка выяснилась позже: кто-то подсыпал в пудру сухой толченый клей. Стоит его хоть немного вдохнуть, и насморк на несколько часов обеспечен. Не исключено, что подсыпала соседка по столу, которая сама накануне пострадала из-за одежды. Я подозревала ее, но, не имея доказательств, не хотела ее обвинять и промолчала.

Я все-таки вышла на сцену. Но так чихала, что пыль вздымалась со складок старого бархатного занавеса театра. Я старалась удержаться, от этого чихала громче и чаще. Публика смеялась. В результате один из организаторов подошел ко мне, взял за руку и увел.

Это было крушение всех надежд – даже не для меня, потому что я уже тогда имела стойкий характер, а для моей семьи, которая не могла теперь получить от меня поддержку.

На отца подействовало так, что он заболел очень сильно, я не хочу вдаваться в подробности, это больно вспоминать. Надо было много денег на лекарства, мама взяла их в банке под квартиру, но отец все равно умер. Перед смертью он говорил только о том, что не дал мне, Ларе и Денису будущего. Это отравляло ему последние дни.

А с мамы потребовали больше процентов по кредиту, чем было записано. Кончилось тем, что наше имущество описали, квартиру пришлось продать и поселиться к брату мамы Иннокентию, он был младше ее и не родной. Сын сестры ее матери. Не помню, как это называлось. Что-то вроде своекровный. Иннокентий жил один в старом помещении старого дома, там было несколько комнат, но была неприятная аура: он выпивал сам и к нему ходили выпивающие друзья, включая его бывшего одношкольника, мэйджора милиции. Этот мэйджор однажды подошел ко мне, схватил за руку и сказал, что если я захочу, он может завтра же сделать меня богатой с помощью одного, как он выразился, клиента. Я ничего не поняла, я взяла нож и сказала, что, если он ко мне еще раз прикоснется, я воткну нож ему в тело. Он поверил моему убежденному тону. Но не успокоился. Однажды он позвал мою сестру Ларису, якобы интересуясь теоретически ее работой и нижним женским бельем (вот, само вспомнилось! – и как же не вспомнить, если я этим занималась много лет!), а кончилось тем, что он произвел ее rape*, а Иннокентий в это время вышел и сделал вид, что ничего не знает. Сестра получила стресс. Сначала она хотела посадить мэйджора в тюрьму и подала заявление, но его не приняли. Вернее, приняли, но обманули Лару, взяли заявление без расписки, а потом сказали, что потеряли. Она попыталась подать вторично, на этот раз проследив, чтобы сделали отметку в росписной тетради. Ее сделали, но заявление опять пропало. Заодно каким-то образом пропала и росписная тетрадь. Лара попыталась отомстить с помощью своих друзей, но кончилось тем, что одного ее друга самого чуть ни посадили в тюрьму за покушение на представителя органов правоохраны.

Вот так мы жили, пусть нетипично, но мне от этого не было легче. Я понимала, что мы очень незащищены. Незащищен оказался наш дом, незащищенным умер наш отец, которого не смогли вылечить, беззащитна была моя сестра. Я поняла, что и моя мама, и мой брат, и я сама ничем не защищены. Да и Иннокентий тоже, и мои предчувствия оправдались: скоро его нашли мертвым в двух шагах от дома с разбитой головой. Это было печально, зато перестали приходить гости, включая мэйджора.

А я, Никита, много думала о будущей жизни. Я знала, что хочу нормальную семью, мужа и много детей. Или пусть даже одного тебя. Но не имела права появить тебя на свет, пока заранее не обеспечу твою защиту. Вот в чем была моя цель.

Я рассчитывала на свой ум и на свою внешность, которые были неординарными. IQ у меня был больше 120, рост 178, физические параметры идеальные: 90х60х90. Это, Никита, означает окружность груди, талии и бедер. Красота на самом деле генезирует из природной целесообразности: уже тогда было доказано, что такие параметры идеальны для деторождения.

Я видела на страницах журналов и на экране телевизора знаменитых красавиц, понимала, что не хуже их, но это меня не депрессировало, я была почему-то уверена, что добьюсь большого успеха. Я развивалась во всех направлениях: отлично училась в обычной школе и музыкальной (фортепиано), ходила на занятия по телесной гармонизации.

В это время у Лары появился жених. Это был бизнесмен Борис, который приехал из Москвы и зашел в магазин, где работала Лара, чтобы купить там нижней одежды для своей жены. Он познакомился с Ларой, умолчав о жене. Они пригласил ее вечером в едальню с высокими ценами,

* rape, *англ.* - изнасилование.

это как-то одним словом... вертится на языке... в ресторан! Твоя мама еще не так плоха памятью! Он пригласил ее в ресторан и зашел за ней к нам домой. И тут увидел меня. Мне показалось, что ему плохо, он стал бледный, как известковая поверхность. Лара одевалась, а Борис подошел ко мне и сказал:

– Только скажи, я отдам тебе все, что у меня есть, убью жену и детей, уедем куда хочешь.

Я приняла это как юмор и сделала правильно, потому что потом узнала, что у него был только один ребенок, сын, следовательно, про детей он выразился метафорически, как и про все остальное.

Тем не менее, он поступил решительно: развелся с женой и стал ездить к нам каждый месяц – к Ларе, а не ко мне. Со мной у него была безнадежность, но Лара все-таки была похожа на меня, это ему нравилось. И он даже однажды сказал, что это хорошо, что я посмеялась над ним и не пошла навстречу. Потому что он сошел бы с ума, если бы жил со мной все время. И вообще не завидует тому, у кого я буду.

Мне это было недоуменно.

Лара и Борис все больше развивали отношения: кроме приездов он постоянно звонил и писал. Я видела, что он не очень нравится Ларе, она не отрицала, но сказала, что видит в нем надежного мужчину.

Что ж, это понятно: Лара, как и я, думала о безопасности себя и потомства. Была такая поговорка, что с милым рай и в *(небольшой хижине, построенной из веток и листьев)*, но хотелось бы как минимум, чтобы милый устроил хотя бы это обиталище, если же он будет просто лежать на песке, то никакая лагуна не покажется прекрасной. Нет, я заранее знала, что выйду только по любви, а не из-за денег, но все-таки не за кого попало, а за того, кто сумеет создать достойную жизнь мне и моим детям.

Я решила не сдаваться. Ведь мне было только шестнадцать лет, я могла на следующий год еще раз попробовать взять эту высоту. Ты спросишь, почему не сразу конкурс «Краса России», «Мисс Европа», «Мисс Вселенная» наконец? Но в том и дело, что на каждый конкурс более высокого ранга приглашались только победительницы предыдущего.

Я закончила школу и готовилась. Но меня... как это сказать... что-то связанное с сильным ветром, вихрем.... Овихревали? Наверное, так. Меня овихревали страхи, я гнулась под ветром сомнений. Я пошла к отцу одной своей знакомой, который был пластический хирург, чтобы посоветоваться, что со мной можно сделать – я ведь начала вообще считать себя уродицей, несмотря на восторг Бориса, да и многих других мужчин. Если человек начинает в чем-то сомневаться, его не остановишь. Должна тебе сказать, что уже тогда были в эмбриональной стадии программы Ай-Си, Ideal Cover*, которые получили такое распространение в тридцатые годы, а в пятидесятые стали обычным делом. Проблема была в том, чтобы сделать всех людей красивыми, но не уничтожить их индивидуальность. Программа Ideal Cover позволяла в считанные минуты, сканировав тело и лицо человека, найти такие пропорции, при которых этот человек выглядел для самого себя оптимально. Когда развились технологии воздействия на организм без хирургического вмешательства, любой человек получил доступ к недорогим средствам изменения внешности. Сначала все-таки получилось слишком много похожих людей, но потом наладилось. Человечество в золотые пятидесятые стало умопомрачительно красивым. Это вызвало взрыв очередной сексуальной революции, когда мужчины и женщины, видя вокруг столько заманчивых лиц и тел, находились в состоянии непрерывного желания, удовлетворить которые стало очень просто, потому что появились на каждом углу уличные Sex Stalls**, в которые заходил любой желающий мужчина, а с другой стороны заходила любая желающая женщина. При этом никакого разочарования: они знали, что они красавец и красавица и что понравятся друг другу. Но всякое достижение человечества, дорогой Никита, превращается в проблему. Сначала женщины, а потом и мужчины, стали

* Ideal Cover, *англ.* – идеальная оболочка.

** Sex Stalls, *англ.* – здесь: секс-кабина.

слишком часто менять свои Ideal Cover на другие, тоже идеальные, но отличные по параметрам. Потом наступила эпоха апатии, когда никто никому не стал интересен. Видимо, природу не обманешь. Природа делает красивых людей редко, чтобы остальные, довольствуясь собой и друг другом, завидовали красивым и это держало бы их в постоянном тонусе неудовлетворенности. Только она, неудовлетворенность, есть двигатель прогресса. В шестидесятые годы появилась модная программа Anti-Ideal Cover, то есть некоторые начали сознательно портить себя. Они имели на первых порах бешеный успех. А потом все пришло к прежним балансам красоты и некрасоты, зависящим от генетических особенностей.

Пластический хирург, к которому я пришла для совета, перенес в компьютер мое лицо и фигуру, потом стал показывать, что с этим можно сделать. Но мне все не нравилось. Он менял, менял и менял, в результате получилось полное чудовище, на которое я смотрела с отвращением.

– Хорошо, – сказал он. – Давайте превращать это чудовище в то, что вам хочется, говорите сами, а я буду молчать.

Я говорила, он следовал моим указаниям, все на глазах делалось лучше и лучше, пока я не сказала: «Стоп! Это то, что нужно!»

Он рассмеялся и поставил рядом зеркало.

И я увидела сама себя.

И опять поверила в свою внешность.

Но мне мешало неблагоприятно приобретенное свойство: после случая с клеем у меня началась аллергия. При этом клей, наверное, был не синтетический, а органического, то есть животного происхождения. Его, Никита, как я потом узнала, делали из костей и кожи убитых животных. Поэтому аллергия у меня была не только на клей, но и на все, что напоминало его запах – то есть в первую очередь на людей, ибо я в них с ужасом учуяла запах этого клея.

Я лечилась, мне выписывали лекарства, но все равно это был очень тяжелый период. Я ведь поступила тогда все-таки в университет и училась бесплатно, помогли школьная золотая медаль и мои блестящие знания, сам декан называл меня лучшей студенткой, которую он видел за последние десять лет, но приходилось ходить на занятия, а там вокруг множество людей и соответственно облака аллергических запахов. Мне приходилось затыкать нос кусочками ваты и дышать только ртом, что не полезно. Я ни с кем не дружила, не входила в тесное общение, меня считали странной. И одевалась я в это время темно, глухо, закрыто, будто была какой-то монастырной девушкой.

В это время ко мне обратился один из фотографов, снимавших конкурс «Краса Саратова», Денис, Дэн, тезка моего младшего брата, который знал о моей истории и считал, что со мной обошлись жестоко, что я была лучшей. Он предложил мне позировать с целью использования фотографий в рекламе и других акциях, обещая дать денег, когда пристроит фотографии. Я согласилась.

Он начал снимать меня в различных костюмах и в купальниках и очень просил изобразить стиль ню, то есть без одежды. Но я не могла на это пойти. Не потому, что тогда было строгое время, хотя, конечно, если сравнить с будущим, то это была эпоха жестокого лицемерия, табуированной сексуальности и пуританской морали. Вот занятно: я помню это слово: «пуританский», но что это такое, не помню. Что-то религиозное. Россия, кстати, тогда была очень религиозной страной, все заседания Верховного Совета, Думского Правительства и Кремлевского Синклита начинались с молитвы (мусульмане и иудеи молились в сторонке отдельно), постоянно строились божественные дома, авторитет церкви был велик*. Я тогда еще не верила в Бога, то есть не чувствовала в себе этого, но была религиозной. Я знала, что вера – хорошо, полезно, что она правильно воспитывает детей, поэтому можно сказать, я все-таки верила – превентивно.

Так вот, я отказывалась по другой причине. Я думала о тебе, Никита. Я думала: вот ты вырастешь и увидишь мои когдатошние фотографии наряду с фотографиями порнозвезд и непристой-

* Рассказчицу в очередной раз подвела память. – *Прим. изд-ва*.

ных моделей, и тебе станет неприятно. Дети не должны видеть голыми своих родителей – так я думала тогда, дитя своего века, а ты, конечно, только посмеешься над моей ископаемостью.

Дэн снимал меня несколько дней подряд. И однажды не выдержал, набросился на меня. Сказал, что фотографии только повод, что он в меня влюбился, что хочет со мной секса. Я ударила его штативом. Он упал и стал спрашивать, почему я так себя веду? Я ответила, что мне противен не только он, но на данный момент все люди, включая отчасти и себя. Разве ты не заметил, спросила я, как много я употребляю духов? Это потому, что у меня аллергия на запахи, напоминающие запах органического клея. Особенно я ненавижу сыр. (Кстати, Никита, мама, жалея меня, не покупала в это время сыра, а суп, основанный на костях, варила в мое отсутствие, и Лара с Денисом быстро съедали суп, зная, как меня мутит от запаха бульона). Короче говоря, я объяснила Дэну, что у меня аллергия на все, в чем есть хотя бы небольшой элемент тления, гниения, брожения и прокисания, в том числе человеческое тело, поэтому у него нет никаких шансов. Узнав, что причина не конкретно в нем, Дэн успокоился. Он даже стал рассказывать о моей особенности всем своим знакомым и друзьям, что было совсем уже лишнее.

Фотографии Дэн носил по разным журналам и рекламным агентствам, и ему повезло, вернее, нам: я стала сначала лицом местного туристического агентства, а потом фабрики женской одежды. Они шили очень плохие вещи, но для меня покупали что-нибудь дорогое от мировых популярных домов моды, спарывали лейблы и нашивали свои, и в таком виде фотографировали. Мы с Дэном стали зарабатывать небольшие деньги.

В это время открывалось много гладких и блестящих журналов, они назывались проще, но не помню, и вот такой новый журнал появился в Саратове, и они поместили на обложку мою фотографию, а также заголовок: «КТО ОТРАВИЛ ДИНУ?» Это был центральный материал номера – рассказ о моей неприятности на конкурсе с предположениями о виновниках, но обочными, чтобы не разозлить действительных злодеев. Были, кроме обложки, и другие фотографии на несколько страниц. Состоялась презентация журнала. Я пригласила маму и Лару. Мама, конечно, отказалась, а Лара пошла: жених был в Москве, а она не любила отказывать себе в развлечениях.

Презентация прошла перфектно, я была в центре внимания.

Ближе к концу вечера ко мне подошел один человек, я не помню его фамилии, что-то простое, предположительно Петров, и сказал, что прочитал о моей удивительной аллергии и интересуется, неужели это правда?

– Да, – сказала я, – это правда.

– Как вы тогда с мужчинами это самое? – спросил он с disgusting* усмешкой, и оборот «это самое» прозвучал в его рту грубее, чем если бы он выругался. Права была моя мама, когда говорила, что у некоторых людей даже слово «хлеб» звучит непристойно.

– Никак, – ответила я.

– Этого не может быть! – поразился он.

Я молча отвернулась и отошла.

Но предположительный Петров не отстал так просто. Он был из правительства губернии, лет сорока, по тогдашним понятиям еще молодой, но уже зрелый мужчина. Он мне был противен не только запахом, а телосложением: пухловатый и свиновидный, будто ему под кожу везде равномерно закачали розоватый жир.

Улучив меня в углу, он сказал:

– Есть запах, который отбивает любые запахи и напрочь уничтожает аллергию.

Я поневоле заинтересовалась:

– Какой?

Он достал из бумажника толстую пачку юаней** и потряс ею:

– Деньги! На них ни у кого не бывает аллергии!

---

* disgusting, *англ.* - омерзительной.

** Грубая историческая ошибка. – *Прим. изд-ва.*

Как же он ошибался! Он не знал, что именно на деньги я реагирую особенно отвращенно. Они проходят через многие руки, пропитываются людским потом, с их отвратительным запахом сравним только запах дохлятины. Дэн всегда давал мне деньги новыми купюрами или в толстом конверте, а покупки я просила делать младшего брата, которому это очень нравилось.

Поэтому, когда этот наглый чиновник взмахнул своими деньгами, мне показалось, что от них полетели брызги заразных флюидов, мне стало так плохо, что я чуть не потеряла сознание, а потом ушла в туалет, где из моего организма выплеснулись рвотные массы.

Тогда предположительный Петров решил зайти с другой стороны – со стороны моей сестры. Он стал выпытывать у нее сведения про меня, задавая странные вопросы вроде: «Чем ее можно взять?» Лара сказала, что ничем. Он сказал, что так не бывает. Он сказала, что бывает. Предположительный Петров неожиданно свернул и спросил, чем можно взять ее. Надо знать Лару: она хоть всегда имела широкие границы понятий о морали, но все-таки любила сама эти границы устанавливать. И она гордо сказала:

– Если вот так с налета, то ничем.

Но он задал хамский вопрос:

– Сколько? – имея в виду цену Лары, как женщины.

Лара попросила его перестать.

Тогда он предложил подвезти ее на своей служебной машине. Сам он не мог вести машину, потому что был пьян. Лара ответила, что у нее у самой есть машина. Она имела тогда недорогую машину, на которую частично заработала, а частично ей подарил ее московский жених.

– Тогда подвези ты меня, – воскликнул предположительный Петров. – Как типа такси!

– Дорого будет стоить, – в шутку ответила Лара.

– Плачу тысячу! – сказал он.

Лара вышла на улицу, села в машину, предположительный Петров тоже загромоздился туда. Она сказала ему, что не хочет его везти, но он упрямо совал ей деньги. Хорошо, сказала Лара, но денег не взяла, а попросила его положить их в бордельчик?... шалманчик?... Не помню, как-то очень смешно называлось эта небольшая ячейка для маленьких предметов на приборной панели кара.

Он положил туда деньги, они поехали, а сзади тронулся огромный кар-ваген с водителем предположительного Петрова и двумя девушками неизвестного назначения. То есть известного, но Лара на них не обращала внимания.

По пути предположительный Петров продолжал интересоваться ценой Лары. Она отшучивалась. Наконец приехали. Девушки известного назначения проявили неожиданную женскую солидарность и стали уговаривать предположительного Петрова пойти с ними домой, оставить Лару в покое. Но он цинично обругал их, дал им денег и отпустил вместе с шофером. А из машины Лары уходить не хотел. Ей становилось уже страшно. Она сказала, что не может иметь сексуальный контакт по физиологическим причинам. Тогда он потребовал оральный секс за две тысячи. Лара отклонила. Предположительный Петров, видимо, привык добиваться если не всего, то хотя бы чего-нибудь. Поэтому он предложил Ларе снять с себя нижнее белье (самое нижнее) и отдать ему. За тысячу. Лара и это отказалась сделать. Тогда он просто накинулся на нее руками, ей пришлось выскочить из машины и побежать. Он погнался, но упал и стал бессмысленно ворочаться на земле. Лара вернулась в машину и уехала.

Этим не кончилось: утром предположительный Петров позвонил Ларе (она, отговариваясь от его предложений, вынуждена была дать ему свой телефон) и задал вопрос:

– В чем все-таки дело?

Лара ответила, что она не привыкла вот так, после десяти минут знакомства, идти на сексуальный контакт. Если ему нравится скорость, у него есть девушки, которые за деньги.

– Я не хочу за деньги, я хочу по любви, – высказался предположительный Петров.

– Тогда надо поухаживать за девушкой, – объяснила Лара.

– Сколько?

– Хотя бы месяц.

– Нет, – сказал предположительный Петров. – Я много работаю и у меня нет столько времени.

– На нет и юридической оценки нет, – ответила Лара странной поговоркой того времени.

Она рассказала нам с мамой о поведении наглого чиновника, смеясь и возмущаясь: с какой стати он решил, что она способна на такие поступки? Мама ахала и радовалась, что Лара осталась жива, а я сказала ей, что она сама виновата.

– Чем это? – изумилась Лара.

– Не надо было вступать в разговор.

– Но я же просто! Я никаких намеков не делала!

– Хорошо. Но уж тысячу брать за проезд точно не надо было.

– Да у него этих тысяч! Захотел – дал! Не за что-нибудь, а за проезд. Я его за язык не тянула!

– Как ты не поймешь, – сказала я. – Неважно, за что ты взяла деньги, ты их взяла. Эти люди, если что-то дают – деньги, подарок, даже просто хорошо к тебе относятся, это для них аванс будущих отношений. Ты откликнулась, ты взяла, ты сказала «а», после этого он убежден, что ты обязана сказать и «б», и «в» – далее везде до конца алфавита. Понимаешь?

Лара задумалась и вдруг сказала:

– Вот ты и выросла, сестренка. Я-то думала, что ты дурочка совсем. А ты, оказывается, разбираешься в жизни. Пожалуй, надо вернуть ему деньги.

И она действительно их вернула, а потом рассказывала, что он встретил ее радостный, думая, что она изменила решение. Но, когда она положила перед ним деньги, он весь затрясся, начал кричать и позвал охрану. И охрана прибежала, он приказал схватить Лару, охрана схватила, но предположительный Петров впопыхах не успел придумать, что сделать с Ларой, поэтому просто велел ее выкинуть из здания губернской администрации.

Лара рассказывала это, а я опять в который уже раз думала о том, как мы не защищены...

Но все же не надо думать, Никита, что таких людей было много. Нет, скорее, они были в меньшинстве. Но не также надо полагать, что большинство – хорошие люди. Нет, хороших тоже было меньшинство. Многочисленный жизненный опыт и знания, взятые из разных источников, давно уже объяснили мне: человечество состоит из двух меньшинств: преимущественно злого и преимущественно доброго, которые и борются друг с другом относительно открыто и напрямую. А между ними огромная прослойка никакого человечества, ни злого, ни доброго, начинка между двумя тонкими корками, это люди, которые могут быть любыми в зависимости от обстоятельств.

А больше всего в людях, с которыми я встречалась, меня привлекало то, что я имела сама – энергия, векторность, креатив, самомышление. Другими словами говоря, 希望提前 *, strength of mind** и – رابتعالا حوضو***

Письмо четвертое

Я зашла вперед, Никита. На этой презентации случилось более разительное для меня событие. Я там встретила мужчину, который тоже мог стать твоим отцом, но не стал. В каком-то смысле он твой первый не-отец.

Это было так. Я ходила на презентации с бокалом вина, никого не подпуская слишком близко. И заметила мужчину лет тридцати, высокого, с вьющимися светло-русскими волосами, который тоже, как и я, всех сторонился. Ему было здесь явно неприятно, он избегал общения. Взяв в руки бокал, он долго его осматривал, но не решился пить, поставил на место. Точно так же он отнесся и к фуршетным закускам.

---

* 希望提前, *кит.* – стремление вперед.

** strength of mind, *англ.* – сила духа.

*** аму ьтсонся – *бара*, رابتعالا حوضو

Поневоле думаю: меня бы сейчас туда! Боже мой, какими простыми, обыкновенными вещами казались лоснящиеся ало-красные и бело-желтоватые ломтики рыбы, кусочки, приготовленные из животных: коров, баранов, кур, гусей... а эти замечательные шарики, красные или черные, зародыши рыб: берешь ломтик черного хлеба, намазываешь желтым густым продуктом из преобразованного молока, а сверху немного этих зародышей... икра, вот как это называлось! Икра!.. Но это деликатесы, многие мои сейчасные современники никогда не пробовали не только этого, они не пробовали таких элементарных блюд, как ломтики картофеля, жареные в немногом масле, зеленые огурцы с волнующим запахом весны, красные помидоры с ароматом здоровья и не убитой крови. Возможно, им, привыкшим к концентратам протеина, был бы ужасен мой рассказ. Мы сами многие (я в том числе) прошли через акции reorientation*, когда плотоядное человечество осознало необходимость отказа от животной пищи. Людей в массовом порядке приводили, например, на скотобойню и в их присутствии убивали корову или резали свинью, а потом предлагали еду из убитых трупов. Никто не мог ее есть, а многие потом вообще никогда не могли есть мяса, но некоторые все-таки оставались и могли. А потом уже не надо было этих мер, животная пища исчезла совсем вместе с самими животными...

Не хочу о грустном.

Неожиданно я заметила, что волнистоволосый мужчина стоит неподалеку и рассматривает меня. Каким-то образом я поняла по его взгляду, что его интересует не моя красота, а что-то другое.

Он сделал пару шагов в моем направлении и спросил:

– Диета? Ничего не пьете и не едите?

– Нет. Просто...

И мне вдруг захотелось сказать все честно. Такое бывало редко – не потому, что я скрытная, а потому, что всегда считала, что необязательно надоедать другим людям без необходимости своими словами и мыслями.

Я сказала:

– Просто мне противно.

– Мне тоже, – сказал он.

Мы отошли в сторону, в холл, где были растения в больших горшках, сели в... да что это со мной! Я совсем уже простых вещей не помню. Такие... На них удобно сидеть. Не стулья, а более мягкие, с подручниками... Что такое память, Никита? В ней почему-то сохраняется слово синхрофазотрон, абсолютно мне никчемушное, а слова простые, жизненные, куда-то проваливаются... В страшную дыру небытия, куда провалюсь и я, и ты вместе со мной, поэтому ты единственная причина, по которой я живу. Пока я живу, жив ты. Или я это уже говорила? Надо бы перечитать уже написанное, но я почему-то боюсь...

Мы сидели и общались.

Его звали Максим, Макс.

Он с удивительной откровенностью рассказал свою почти фантастическую историю: влюбился в знаменитую и красивую киноактрису (от которой теперь ни имени, ни кадра, ни следа – вот тебе и знаменитость...), поехал к ней, неделю искал возможность встретиться и нашел, затесавшись в обслуживающий персонал одной пресс-конференции, которая должна была состояться с утра. Он попал к ней в гримерку и увидел ее, только что приехавшую и, похоже, не выспанную. Она вся растрепанная, но самое ужасное, что поразило Макса, когда он приблизился к этой идеальной красавице – запах изо рта, в котором похмельные явления смешались с парами, исходящими из больного, как было можно предположить, желудка. Макса как ударило, с тех пор у него аллергия на женщин – то есть почти такая же болезнь, как у меня.

– На всех женщин? – спросила я.

– Да. Но особенно на красивых.

---

* reorientation, *англ.* - переориентация.

– Мне хуже, у меня аллергия на всех людей вообще.

– То есть я тебе тоже противен? – лукаво спросил Макс.

– Да, в какой-то степени, – рассмеялась я.

– Я тебя тоже еле терплю, – сознался он с улыбкой.

На самом деле быстро выяснилось, что у нас друг на друга не такая уж сильная аллергия. А после нескольких встреч она стала совсем почти незаметной. Обычно он заезжал за мной на своем каре, в салоне которого всегда витали запаховые приятные отдушки, мы выезжали за город и гуляли среди природы, которая тогда была намного чище человеческой среды.

Однажды Макс, взяв меня за плечи, сказал, что он очень хочет поцеловать меня, но боится непредсказуемой реакции. Я честно ответила, что тоже этого хочу и тоже опасаюсь аналогичного казуса.

Но мы все же решили попробовать. Макс осторожно прикоснулся своими губами к моим и тут же отпрянул.

– Тебе не понравилось? – огорчилась я.

– Нет, просто побоялся тебя испугать.

Я предложила попробовать еще.

На этот раз он был смелее и, искусно раздвинув в процессе поцелуя мои губы, всунул свой язык в мой рот и начал им шевелить там направо и налево, облизывая мои зубы и мой язык. Это было слишком неожиданно, я оттолкнулась от Макса руками и села на траву. Он молча стоял надо мной.

Я вспоминала о своих ощущениях. С одной стороны – да, странно, когда в тебя проникает часть чужого тела, с другой, было в этом что-то приятное. Мне хотелось повторить это. И я сказала об этом Максу. Он обрадовался.

Повторение оказалось лучше первого опыта.

И я поняла, что все неизбежно должно прийти к сексуальному контакту, к тому, чего я очень боялась – особенно после появления аллергии. В этом плане я была, Никита, страшно отсталой от большинства современных мне девушек, но и они были отсталыми, если сравнить их со следующими поколениями.

Кстати, книги, посвященные межполовым отношениям, написанные до двадцать первого века, перестали читать уже в тридцатые годы. Или рассматривали как исторические источники. Особенно удивляли отношения в семье, построенные на нелепом и фальшивом праве собственности одного на другого. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» понимался людьми двадцать первого века как юмористическое произведение. Посуди сам. Жена страдает из-за сексуального разового контакта мужа с другой женщиной. Какое это имеет к ней, то есть к жене, отношение? Он же не ее заставляет с кем-то иметь контакт? Другой мужчина, военный, скакун на лошади, не помню, как звали, не может сразу сказать Анне Карениной о своих чувствах, а она ему. Каренин, муж Анны, мучается вместо того, чтобы радоваться, что жена имеет секс с другим, её это делает позитивной, а самого Каренина избавляет от половых обязанностей, уже обременительных в его возрасте. Знаешь, Никита, как это было бы в современном романе, то есть романе золотого века (сейчас никаких романов нет)? К примеру, встречаются Вронский, Анна и Каренин. Анна понимает, что Вронский нравится ей, а Вронский понимает, что Анна нравится ему. По принципу общения without reserve*, утвердившемуся еще в тридцатые годы, они не оглядывают друг друга, как шпионы, не прячут взглядами и словами своих мыслей и чувств, а говорят примерно так:

– Здравствуй, Анна, – говорит Вронский. – Мне нравится форма твоей груди, цвет кожи, твоя шея и глаза, было бы здорово иметь с тобой реальный контакт.

– Здравствуй, Вронский, – говорит Анна. – Ты молодой, в отличие от моего мужа, высокий, стройный, хотя слишком самодовольный и не очень умен. Но в целом ты мне нравишься и идея контакта мне не противна.

---

* without reserve, *англ.* – здесь: ничего не скрывая.

Вронский и Каренин раскланиваются друг с другом.

– Как ты стар и ужасен, Каренин, – говорит Вронский. – Что делать, возраст. Я говорю тебе не для обиды, а потому, что не умею врать и не вижу в этом смысла. А еще ты мне противен, уж извини, как муж женщины, которую я хочу.

– Ты мне противен еще больше, – говорит Каренин. – Но надо быть объективным: ты моложе и красивее. Я посижу, а вы с моей женой идите в Sex Stall, и очень надеюсь, что вам будет хорошо.

И все, и никаких бросаний под поезд.

Я нервничала: в отличие от почти всех моих сверстниц у меня еще не было секса. Хотя и для них это было не так просто. Ты не представляешь, Никита, какое значение имел первый секс для людей вплоть до тридцатых годов, какое это было мучительное и часто ошибочное событие! Крайне редко это происходило в обстановке спокойной взаимной симпатии, в комфортной тишине, обычно все было нервно, наскоро, торопливо, смущенно и глупо. Отсюда и психические травмы и нежелательные беременности, не говоря уж о заболеваниях. При этом почти обязательно – чувство жуткого волнения и смущения у юноши, чувство непреодолимого *(опять забыла простейшее слово, означает – дискомфорт, ощущение неправильности сделанного поступка или того, который собираешься сделать; вспомню потом)**.

Начиная с тридцатых (в развитых странах и раньше), проблема решалась элементарно: появились социально-психологические службы, предлагающие юному населению несколько вариантов. Как известно, все основано на атавизмах. У юноши – атавистичный страх перед женским телом и одновременно боязнь оказаться несостоятельным. У девушек – не менее атавистичное ощущение «таинства», связанного с потерей девственности, и глубоко укоренившееся переживание за моральные последствия: социум тысячелетиями воспитывал негативное отношение к несанкционированной браком потере девственности, девушка считалась опозоренной. Уже в начале двадцать первого века это было, к счастью, не везде и не всегда, но все же оставалось в значительных количествах. Но главное, что напрягало – личностные отношения. Юноша видит конкретную девушку, он ее боится, он с ужасом думает, что она может рассказать о его позоре, если он приключится. А девушка имеет дело с конкретным юношей и тоже представляет, что он может рассказать о ней после случившегося. И даже если не расскажет: само общение до первого секса и после первого секса наполнено неловкостями, неестественными движениями и словами. Цивилизация породила эти комплексы, но она же с ними и справилась. Психологи поняли, что именно это, личностное общение следует исключить. Конечно, осталось некоторое количество любителей экспериментов и самодеятельности, но очень мало. Юноша приходит в центр СИ (Сексуальной Инициации) анонимно, попадает в комнату, где его ждет женщина-волонтер, юноша заранее надевает маску, он уверен, что о случившемся никто никогда не узнает, если он этого сам не захочет, и в течение буквально пяти минут становится спокойным, раскрепощенным, и все совершается комфортно, оставляя у юноши только позитивные ощущения. Для закрепления он может прийти еще несколько раз. Точно так же девушка приходит в СИ, где мужчина-волонтер, гигиенически стерильный и анонимный, производит с нею соответствующую операцию. Все это приравнивалось к медицинской деятельности, что совершенно справедливо. Если же юноша и девушка чувствовали влечение друг к другу, но при этом понимали неизбежность психологической травмы, они приходили в СИ вместе. Волонтеры-наставники, мужчина или женщина, иногда вдвоем, объясняли молодой паре, что сейчас должно произойти, они десакрализовали происходящее, переводили даже в план юмора, небольшого карнавала, ибо нет большего врага для нормального секса, чем угрюмая серьезность. Когда я вспоминаю сцены из старых фильмов, где любовники сближаются с хмурыми – это называлось страстью – лицами убийц, я хохочу. И пара уходила довольная, счастливая, не испытывая никакой нравственной абстиненции.

* Рискнем предположить, что Дина имеет в виду слово «стыд». – *Прим. изд-ва*.

Всяческие же симуляторы с компьютерными программами, модные в десятые и двадцатые годы, недолго были популярными: самый совершенный симулятор, имеющий 100% аналогии тактильных ощущений, не сравнится с живым человеком.

Но все это было потом, а я-то жила в свое время.

Я доверяла Максу, рассказала ему о всех своих страхах и опасениях. Он сказал, что понимает и даже разделяет их, потому что после неудачной встречи с дурно пахнущей знаменитостью у него никого не было. Мы решили, что единственный способ избежать стресса и неловкостей – оказаться в нейтральном пространстве: что дома всегда кажется, что за тобой подсматривают твои вещи.

Это были зимние каникулы после моей первой сессии, которую я сдала блестяще.

Я сказала маме, что поеду на неделю в города Золотого Кольца посмотреть старину, она одобрила.

И мы поехали с Максом – на его машине, чтобы не портить себе настроение в набитом людьми пространстве поезда или самолета.

Ехали долго, но без скуки: разговаривали, слушали музыку.

В одном из городов, название которого выплеснулось из моей памяти, мы остановились в лучшей гостинице. Правда, Макс, войдя в номер, тут же вышел, позвал горничную, вручил ей денег и попросил убраться заново и принести абсолютно новое белье, которое мы постелем сами. Она удивилась, но выполнила просьбу.

Письмо пятое

Два дня мы никуда не выходили. Читали, смотрели телевизор, фильмы, говорили, лежали рядом – привыкали друг к другу.

– Ты мне все больше нравишься, – сказал однажды вечером Макс. – И уже почти совсем не чувствую приступов тошноты, хотя ты красивая. Только я не советую тебе часто смеяться. У тебя смех похож на кашель.

– А ты все время чешешь шею, – сказала я, не желая скрывать правды.

Он встревожился:

– Прямо-таки все время?

– Да. Наверное, просто привычный жест. Я, когда думаю, верчу себе левое ухо.

– Я заметил. Это не очень красиво. Когда я чешу шею, это тоже некрасиво? Скажи честно. Я могу быть только с девушкой, которую ничто во мне не раздражает.

– Меня не раздражает. Даже прикольно.

Прикольно, Никита, это сленг, это разговорное выражение того времени, означает: смешно и интересно.

– А красных следов от чесания нет? – продолжал беспокоиться Макс.

– Нет.

Видимо, страх разглядеть друг в друге еще что-то неприятное нас поторопил. И этой ночью, в кромешной темноте все произошло. Без особых, честно скажу, эмоций, но, может, это и лучше, зато не было стресса.

Мы провели там еще несколько замечательных дней.

Вернулись, я продолжила учебу.

Макс работал дизайнером, фотографом, художником-оформителем, они пересекались с Дэном, который продолжал оставаться моим основным фотографом. Узнав, что у меня и Макса отношения, он долго смеялся и сказал:

– Макс молодец, хорошо использовал информацию.

– Какую? – спросила я, предчувствуя что-то разочаровательное.

И Дэн сообщил, что он некоторое время назад рассказал Максу, как и некоторым другим, о моей аллергии. Макс отреагировал странной фразой:

– Ага, вот на эту аллергию ее и надо ловить!

То есть, как объяснил Дэн, Макс специально притворился, что у него аллергия на девушек, особенно красивых, чтобы на этой почве приморочить мне голову и добиться того, чего он захотел сразу же, как только увидел мои фотографии.

Конечно, я сначала очень расстроилась.

Я потребовала у Макса, чтобы он признался, так это или не так.

Он признался: да, так. Но сказал, что сделал это из-за любви.

И я подумала: в конце концов, обман из-за любви можно простить. И довольно быстро отношения у нас с ним возобновились.

Но вскоре я встретила его на улице с девушкой. Он вел ее к своей машине, обнимая за плечи. Она была красива, но никаких следов аллергии и тошноты у Макса не было заметно.

На этом моя первая любовная в жизни история кончилась.

И кончилось мое письмо, у меня нет сегодня бумаги. Но я достану, обязательно достану.

Я теперь засыпаю с таким чувством, что меня ждет большая радость. Вот подтверждение главной идеи золотых пятидесятых: все, что тебе нужно, есть в тебе самом! Во мне – эти письма, и написанные, и ненаписанные. Они стали смыслом моей жизни. Я даже уверена, что, пока я не расскажу тебе все, что хочу, не умру, не дам себе умереть.

У меня кончилась бумага.

Что ж, 事情結束，人們不 *

Письмо шестое

Дорогой сыночек мой Володя!

Я боюсь того, что происходит с моим умом, с моей памятью.

Я добыла бумагу и хотела начать продолжить мои письма к тебе, но вдруг поняла, что совершенно забыла, что я писала раньше. И вот, чтобы не ошибиться и не повторяться, решила перечитать. Не надо было этого делать, но сделать это было необходимо. Я сразу же наткнулась на имя Никита. Пожалуйста, не обижайся, что я называла тебя так. Я объясню. Существует такой психологический феномен: sudden change** решения в последний момент. Это как раньше, когда при нажатии на избирательную клавишу требовалось из многих кандидатур выбрать одну. С самого начала ты уверена, что выберешь кандидата А., который тебе нравится и всем тебя устраивает. А., только А., никто, кроме А. И вот момент голосования. И ту вдруг нажимаешь на кнопку кандидата В., да так уверенно, будто других вариантов не было.

Или – ближе к теме – случай с моей сестрой и ее мужем-бизнесменом, Борисом, за которого она все-таки вышла, хотя это плохо кончилось. Все те месяцы, пока она вынашивала сына от Бориса, она называла его Васенькой. Будущий отец тоже его так называл. Василий, только Василий, в честь нашего с Ларой отца, без вариантов. Но, как только ребенок появился на свет, как только мы бросились Лару поздравлять с сыном Василием, она удивленно и раздраженно сказала: *«Какой Василий? Бенджи, Бенджамин!» (Тогда как раз входили в моду интернациональные имена.)*

Для меня ты всегда был Володя, Владимир, Володечка – до тех пор, пока тебя не было. Но как только пришло время сделать тебя живым, то есть написать о тебе, я вдруг переменила решение. Не знаю, почему. Могу догадываться. Наверное, считаю имя Владимир не совсем счастливым. Это глупо. Нет несчастливых и счастливых имен. Или потому, что расхотела называть тебя именем твоего отца, а именно так сначала предполагалось...

Неважно.

Я восстанавливаю справедливость. Отныне только Володя – навсегда.

Но не это главное, Володечка!

---

* 事情結束，人們不, *кит.* – вещи кончаются, человек нет.

** sudden change, *англ.* – резкая перемена.

Главное: дорвавшись писать тебе письма, я упустила из виду, что ты ведь ничего не знаешь о той жизни, про которую я тебе рассказываю. И ты не знаешь, и те, кто наткнутся, быть может, на эти письма потом, в будущем, тоже ничего не знают.

Придется исправить ошибку. Я объясню кое-что из того, что уже написала, а потом буду давать комментарии по ходу действия, стараясь описывать все как можно проще.

Даже не знаю, с чего начать... В первых же строках я уместила столько слов и понятий... А ты ведь не знаешь самого простого. Даже, например, что такое отец. Неизвестно, как объяснили бы мне словари, придется давать определения самой: отец – это мужчина, у которого есть или были дети. По крайней мере, это определение верно для начала двадцать первого века и предыдущих тысячелетий, потом началась путаница.

Если у мужчины нет и не было детей, он не отец. Твой отец не стал твоим отцом, но он стал отцом других детей. Это я объясню тебе отдельно. Соответственно к этому примыкает понятие «мать», то есть я, хотя я не стала ею, но чувствую себя матерью. Мать – это женщина, произведшая на свет ребенка. Родившая. Хотя потом уже и не рожали. Понятие отцовства и материнства заменилось более верным и универсальным – authorship* или 著作权，专利权**.

Итак, отец и мать. Мужчина и женщина, у которых есть дети.

Но ты спросишь, кто такой мужчина.

На этот раз у меня есть готовое определение, я его запомнила, потому что оно показалось мне смешным. «Лицо, противоположное женщине по полу», так оно звучит. Но для того, чтобы его понять, надо, во-первых, знать, что такое женщина, а во-вторых, что такое пол!

Я объясню тебе просто: весь биологический мир, вычитая некоторые исключения, делится на мужские и женские особи. Они спариваются, чтобы произвести потомство. Все, кроме людей. Люди спариваются не только для произведения потомства, но и для удовольствия. А чтобы не произвелось лишнее потомство, применяются предохранители. Если бы не было удовольствия (оно есть и у животных), особи разных полов не стремились бы спариться, потому что не чувствовали бы к этому тяги, а на потомство им было бы все равно. Больше того, все не рефлекторные действия человека связаны с удовольствием: половой акт, прием пищи, выделение отходов, игры, тренирующие тело и ум. Если бы не было стимула удовольствия, люди забыли бы про секс, еду и defecation. И не играли бы. Как следствие – атрофия мышц и мозга.

Впрочем, об этом было написано в миллионах книг. Книги, Володенька, это такие листы бумаги одинакового формата с напечатанным текстом, собранные под одну обложку.

Теперь ты знаешь, кто такие мужчина и женщина и для чего они общаются. То есть не только для этого, но без этого не было бы ничего другого. Собственно, теперь этого и нет, поскольку мужчины и женщины практически перестали общаться.

Я подумала сейчас: но ты вправе спросить, что такое человек.

Я отвечу: разумное животное. Млекопитающее.

Ты спросишь: что такое животное и что такое млекопитающее.

Придется объяснять.

А потом про биологические существа.

Про органическую материю, про белковую молекулу.

Так дойдем до происхождения жизни на Земле и откуда вообще Земля, откуда всё.

Это какой-то тупик. Я же не могу заменить собой все учебники и словари. Остается надеяться, что ты, а также потомки, если они будут, почерпнут все из еще каких-то источников. А если не будет потомков, то нет и проблемы.

И это слишком отвлечет меня от того, чтобы рассказать о себе, Володечка, и о тебе. Поэтому я лучше отдельно составлю словарик, без которого понимание будет совсем трудным, и приложу его к письмам. Наткнешься на неизвестное слово, посмотришь – и узнаешь его значение. А может, и сам догадаешься.

---

* authorship, *англ.* – авторство.

** 著作权，专利权, *кит.* – авторство, патент.

Ты спросишь: почему я говорю с тобой, как с действительно живущим?

Но для меня это так и есть.

Ты, как и я, прожил большую жизнь, хоть и не родился. Ты не родился фактически, но в моем воображении рождался настолько неоднократно, что более реален многих реальных людей.

...

Это пятно, Володя, след от того, что я заплакала. Плакать – это лить слезы из глаз. Слезы – реакция организма на горе и печаль. Хотя, бывают слезы счастья. Тогда так: слезы – реакция организма на потрясение, стресс.

Ты родился у меня в декабре, зимний крепкий ребенок. 13 декабря. По гороскопу, была такая шутливая форма определения характера и судьбы по звездам, звезды – общее название крупных космических объектов, многие из которых не были звездами, по гороскопу ты был Стрелец и рожден под знаком планеты удачи, Юпитера. Стрельцы – идеалисты, и это было в тебе, ты всегда верил в то, что может быть лучшее, чем то, что есть. У Стрельцов жадность к жизни, это тоже было в тебе. Стрельцы непосредственны, смелы, честны, все это в тебе было.

Например, однажды ты играл с детьми в детском саду и на твоих глазах более взрослый мальчик обидел девочку, обсыпав ее песком. Ты бросился на него, оттолкнул. Он сразу заплакал и начал кричать, жаловаться воспитательнице. А воспитательница в свою очередь пожаловалась на тебя. Когда за тобой заехала няня...

Или я?

Давай решим. После того, как ты родился, я много работала, я стала обеспеченной самостоятельно. Я могла позволить себе няню. Да, была няня. Но иногда заезжала я сама. В этот раз я заехала. Я заехала на каре, на автомобиле. Нам всегда там было хорошо вдвоем, мы могли ехать и разговаривать часами – что, впрочем, часто и бывало из-за бесконечных московских ... о неужели я и это забыла?! То, чем затыкают. Затыки, затычки? Короче – traffic jam*.

Так вот, я заехала за тобой. Воспитательница рассказала, как все было, и я подумала, что мой сын растет драчун. Мне этого не хотелось, я со злостью, нет, скорее с досадой и разочарованием шлепнула тебя. Не сильно. Но ты поднял на меня свои глаза, и я сразу поняла, что ты не виноват. Мне стало очень неуютно. Удивительно, что ты не рассказал сразу о своем поступке, а только потом. В этом выразилось твое нежелание оправдываться, если ты не был виноват.

Я решила возместить тебе моральный ущерб и на обратном пути хотела купить мороженое. Мороженое – это такое холодное лакомство. Как сладкий загустевший снег. Снег – это кристаллы замерзлой воды. Но ты сказал:

– Ты мне обычно не разрешаешь мороженого, почему сегодня?

Я сказала:

– Просто хочу. Я тоже буду есть мороженое.

Но ты сказал:

– Нет, ты меня задобряешь, а меня не надо задобрять.

Тогда мне пришлось купить тебе то, что покупала часто, и это не выглядело задобрением: маленькие творожки, облитые шоколадом, в блестящих упаковках. Ты это очень любил. Творожок – ласкательное от слова творог. Творог – продукт, получаемый от молока в результате какого-то процесса. Молоко – жидкость, которая образовывалась в домашнем животном по имени корова для кормления своих детенышей, не могу вспомнить, как их называли. Кот – котенок, ворона – вороненок... Нет, не так. Не коровенок. Русский язык очень странный, как и другие языки иногда в частностях. Есть слово, а производное от него совсем другое. Вот вспомнила пример: собака – щенок. Ничего общего. Логично – собачонок, правда? Но щенок. Почему, неизвестно. Я не узнала этого. Я долго живу, я многое узнала, но еще более многого не узнала. Вот и от коровы что-то такое совершенно другое было для названия ее детей – не помню.

---

* traffic jam, *англ., разг.* – пробка (автомобильная)

Я держала в пакете перед тобой эти творожки, они были многих разных сортов, а ты совал туда руку и угадывал:

– Ванильный!

Или:

– Клубничный!

Или:

– Со сгущенкой!

Боже ты мой, Володя, какие я вспомнила слова! Какая музыка воспоминаний в этом слове – «сгущенка». В одном этом продукте, это густое засахаренное молоко, целая история страны! Страна, country, 國家, країна, הנידמ (англ., кит., укр., иврит) – это государство с единым народом в определенных границах. Я когда-то читала, что сгущенка входила в обязательный набор продуктов советских военных рейнджеров еще во время Великой Отечественной войны, о которой я расскажу тебе позже. Это было любимое лакомство советских детей после войны, рассказывали мне бабушка и мама. Когда были трудности снабжения, рассказывала мама, в магазинах не было ничего, но сгущенка была всегда, поэтому в витринах из нее выстраивали красивые пирамиды, иногда добавляя банки красной икры.

Ты доставал творожок и, если он был угаданный, ты смеялся и радовался так, что я была счастлива, глядя на тебя.

Они были прекрасны, эти творожки. Красивая обертка с тонко металлизированной поверхностью, сверкающая, ты разворачивал и там лежал волнистый от наплывшего шоколада параллелепипед, ты аккуратно оборачивал его до половины, чтобы не испачкать пальцы, откусывал, появлялся белый или бежевый, лимонный, розоватый цвет, окруженный коричневой каймой. Ты опять откусывал, понемногу выдавливая творожок из обертки, и вот не оставалось ничего, ты с удивлением заглядывал: неужели уже все, неужели кончилось? Я знаю, ты делал это, чтобы повеселить меня.

Мой дорогой сын, я подумала, что, если бы прочла сейчас это кому-то, то у людей моего поколения, которых немного, выступили бы слезы воспоминаний на их глазах, а те, кто моложе, не поняли бы меня, они не помнят, что такое творожок в шоколаде, они никогда этого не пробовали!

Впрочем, я уже писала об этом...

Ты любил после прихода из сада залезть в емкость для мытья тела, я опять забываю простейшие слова, потому что давно исчезли предметы, их обозначающие, наливал туда горячую воду с пеной, брал игрушки, которые держались на поверхности, и целый час сидел там, играл, пел (петь – это издавать мелодичные звуки), разговаривал сам с собой. После этого мы ужинали, а потом вместе сидели и коротко смотрели на телевизор. Телевизор – такое внешнее устройство для показа событий и людей, находящихся в другом месте. Они потом исчезли. Появились сначала устройства в виде маленьких фонариков, позволяющих проецировать изображение на любую поверхность, а потом внутреннее устройства в виде внутричерепных компьютеров, которые могли передавать все непосредственно в зрительные и слуховые соединения и нервы. Но все же телевизоры держались довольно долго, ибо большинству населения психологически требовалось смотреть то, что смотрят другие – иначе просто нечего было обсуждать, не возникало общих тем.

Потом мы играли в рисование или лепление из густых масс чего-то пластического, ты рисовал солнце и деревья, а лепил, бог мой, опять не помню, такие ушастые и пушистые, ты очень любил их лепить. И ведь я помню это животное, я помню, как оно выглядит, но выскочило, хоть убей, его имя. А старые люди бывают упорными – хочешь вспомнить именно сейчас, когда приспичило. Поэтому я пока прощаюсь с тобой, целую тебя на ночь в щеку два раза, как обычно – и ты недовольно хмуришься этим нежностям, недостойным взрослого мальчика, но, я знаю, не спишь и ждешь, когда я приду и поцелую...

Письмо седьмое

Дорогой Володечка, это заяц, он же кролик, rabbit, один из любимых персонажей сказок. В жизни его использовали на мясо и шкурки для пошива шапок и шуб. Я вспомнила с помощью женщины, которая живет в ржавой железной бочке. Я спросила ее, потому что у нее доброе лицо. Не всех тут спросишь о прошлой жизни, некоторые начинают злиться. Это вообще не приветствуется: мысли о прошлом приводят к депрессии, надо думать только о будущем, хотя никто не знает, будет ли оно вообще. Я показала этой женщине уши, а потом сделала руки лапками, будто они короткие и немного попрыгала. И она тут же сказала:

– Кролик! Или заяц!

И мы вспомнили не только это, но и много сказок, много книг, посидели рядом и поплакали о том времени, когда заяц казался обыкновенной вещью, забыв о том, что уже в это время их было все меньше и были миллионы уже людей, которые ни разу в жизни не видели живого зайца.

Итак, Володечка, у меня кончились отношения с твоим первым не отцом, хотя он имел шанс стать им. Мне было трудно, я несчастнела с каждым днем, но взяла себя в руки. Кажется, в это время я наткнулась в книге Вэна Щипалова на такие строки (помню их дословно): «Нет того негатива, который нельзя перевести в позитив. Больше того, жуткий, блин, негатив, может привести просто к охренительному позитиву»*.

Я потерпела крах своих первых любовных отношений, зато стала женщиной, что немаловажно. И почти избавилась от аллергии на людей, что еще важнее – иначе вообще непонятно, как бы я жилась среди них. Хотя все-таки избавилась не вполне, аллергия возникала приступами. А иногда я нарочно говорила, что она у меня есть.

Я продолжала блестяще учиться в университете.

Но работа моделью не прошла даром. Все-таки мои портреты были в журналах и висели на центральных улицах города, меня многие узнавали, это была настоящая популярность.

Лара говорила мне, что я просто обязана сделать карьеру на этом попирании**, имея в виду не какую-то профессиональную деятельность, а личную жизнь, которая для многих женщин того времени и считалась карьерой. На самом деле меня интересовали простые человеческие отношения. Но мои сокурсники и сокурсницы со мной почти не общались, как и я с ними.

Зато повышенный интерес был со стороны людей, имеющих власть и деньги. Я сначала не понимала этого, но потом проанализировала. Человек, имеющий власть и деньги, становится все наглее и увереннее там, где эта власть и эти деньги играют роль. Но тем больше у него комплексов в личных сферах, где невозможно действовать властью и деньгами – в отношениях, например, с детьми или любимыми женщинами. Подчеркиваю, любимыми, а не покупными. Ухаживая за кем-то обычным, человеческим способом, они, привыкшие к победам, страшно боятся отказа, поражения, насмешки. Именно поэтому им было легче приступать ко мне: если я не пойду навстречу, это всегда можно объяснить моей болезнью: «Она меня не полюбила, но она вообще людей не любит». То есть мой отказ для любого мужчины был психологически вполне комфортен.

А с Ларой история продолжилась. Хоть она и вернула предположительному Петрову деньги, тот не успокоился. Я ошиблась, считая, что такие люди злятся, если после «а» не говоришь «б». Они злятся и тогда, когда не произносишь ни звука. К тому же, его конфуз видели охранники, подчиненные, посетители, о нем рассказали начальству предположительного Петрова, которое, конечно, не упустило возможности подикобразничать***.

---

* Цитата из интерактивного романа-тренинга В. Щипалова «Нах». Правда, Дина ошибается: этот роман был выпущен в 2019-м году.

** Очевидно, Дина хотела написать «поприще». – *Прим. изд-ва.*

*** Поехидничать? – *Прим. изд-ва.*

И он стал преследовать мою сестру. Сначала были звонки с различными предложениями. Лара твердо отвечала нежеланием общаться. Тогда его машина начала подъезжать к нашему подъезду, он сидел там и ждал, когда Лара выйдет. Мама однажды не выдержала и забросала машину с балкона помидорами (такие красные земляные фрукты, мокрые внутри), предположительный Петров не вышел, но зато выскочил его драйвер и начал нецензурно обижаться на маму. Я была дома, вышла и громко сказала, обращаясь к предположительному Петрову, что мужчина, допускающий, что в его присутствии другой мужчина грязно оскорбляет женщину, есть не мужчина, а тряпка и слизняк (червеобразный моллюск). Только после этого предположительный Петров высунулся и приказал драйверу замолчать.

Лара несколько дней не выходила из дома. Вызывала милицию. Милиция два раза приезжала, беседовала с предположительным Петровым и уезжала. Больше она не стала появляться, сколько Лара ни звонила.

Потом все-таки терпение предположительного Петрова исчерпалось, он уехал.

Но подкараулил ее через несколько дней, грубо приставал, выдвигал откровенно негодяйские предложения.

Лара была вынуждена позвать из Москвы своего жениха Бориса, хотя сначала не хотела впутывать его в конфликт. Он приехал, Лара, вся в слезах, рассказала ему обо всем, Борис сказал:

– Да я убью его, дурака!

Лара даже испугалась, стала уговаривать Бориса, чтобы он этого не делал.

Борис пообещал держать себя в руках.

И действительно, он не только не убил этого дурака, но полдня провел в его кабинете, о чем-то переговариваясь. В результате домогания предположительного Петрова прекратились, а вскоре мы узнали, что он стал деловым партнером Бориса. Лару это слегка обидело, но я сказала ей: не так уж плохо, когда даже свиноподобной личности дают шанс сделаться человеком. Кстати говоря, не таким он уж и свиноподобным оказался, когда мы познакомились поближе. Подтвердилась моя мысль: если с вами допускают вольности, значит вы сами позволяете это делать или даете на это явный или скрытый намек.

А в моей жизни продолжали появляться мужчины, которых поразила моя красота в журнале или на рекламном плакате. К сожалению, многие были уверены, что, если девушка показывает себя людям, то она готова и на все остальное: вечная путань роли человека и его сути.

Один из них сумел поразить меня своей оригинальностью. Это было во время 離開冬天 *, любимого праздника русского народа. Снег в те времена, насколько я помню, лежал до мая, но в этот год весна была ранняя, он начал испаряться уже в феврале. А тут как раз праздник. А снега уже нет. И вдруг я просыпаюсь и вижу, что во дворе и на улице полно снега, а у дома стоят, ты не поверишь, Володя, сани, запряженные в трех лошадей черного цвета. Тогда еще сохранялись лошади в цирке и в спортивном учреждении, сейчас вспомню, как оно называлось... Гиппократ, Гиппиус, гиппопотам... Гипподром, кажется так. Потому что лошадь на каком-то древнем языке – то ли «гиппо», то ли «гиппус»... Так вот, в санях сидел уже знакомый мне министр губернского казначейства Чижинцев, который всех убеждал, что он происходит от дворян, поэтому в нем генетически заложено стремление к старинному образу жизни. В тот день я убедилась, что это правда. Я согласилась с ним прокатиться: у него была репутация человека порядочного, веселого, у него была любимая жена и две дочки, которых он обожал.

Выяснилось, что по его указанию снег привезли не только на улицу, но и на всю дорогу за город, где, окруженный рощей, находилось поместье Чижинцева. Это был резной деревянный дворец с пристройками и еще другими зданиями вокруг. Меня, помнится, эта архитектура привела в восторг, а сейчас невольно думаю о другом: сколько дерева ушло на постройку, сколько топлива, сколько людей могло бы обогреться вокруг костров из этих бревен, мне сегодня так холодно, Володенька, ужасно холодно.

---

* 離開冬天, *кит.* – проводы зимы.

Но продолжу.

Многочисленные domestics* бросились открывать ворота, провожали нас с Чижинцевым во дворец по настеленным на снег коврам. В огромном дубовом зале пылал камин, стоял стол с яствами, едой и пищей (или это одно и то же? – я путаюсь), различные напитки. Ничто не напоминало о современности. Чижинцев в каком-то смысле опередил свое время – в золотые пятидесятые очень модно стало устраивать исторические аттракционы. Человек мог попасть в любую эпоху, в любой город, в любой интерьер, стать средневековым рыцарем, султаном, русским помещиком. Естественно, роли каких-нибудь сарацин, визирей, наложниц и холопов исполняли специальные люди. Однако были и те, кто хотел окунуться в историческое прошлое наложницей или гладиатором.

Меня смутило, что мы остались одни, прислуга вся исчезла, присутствия жены и детей не было заметно.

Чижинцев, в исторически обоснованном кафтане, попросил меня тоже нарядиться в старинный *(забыла, такое глухое длинное платье)*, после этого угощал, говорил, веселясь, старинные слова, что-то вроде «Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестий о полку Игореве...» – рассказывал таким образом о своих подвигах.

Это было забависто, но я все-таки спросила, где его семья. Чижинцев ответил, что отправил ее в теплые края погреться на солнце. Потом попросил меня помолчать и просто смотрел на меня. Я довольно долго молчала, но устала и спросила:

– Что вы смотрите?

Он вместо ответа спросил:

– У тебя много претендентов?

– На что?

– На руку и сердце.

Я напомнила ему про свою аллергию.

Он сказал, что не верит в нее.

– Могу показать справку.

– Я тебе десять справок покажу, включая о том, что я имбецил. Нет, возможно, что-то у тебя в этом духе есть. Меня самого от многих людей тошнит. Речь не об этом.

– А о чем?

И он повел свою речь, которая меня привела в состояние растерянности.

За тобой идет охота, сказал он, хотя ты этого не знаешь.

На тебя делают ставки, сказал он.

Ты живешь в мире, сказал он, где все уже обожрались деньгами, золотом, автомобилями, домами, властью, славой...

– Не все, – перебила я.

– Все, о ком стоит говорить, – резко ответил Чижинцев. – Мир хочет погибнуть, но погубят его не деньги, не войны, погубит его красота. Единственное, что еще не надоело. Я к тому, что тебе не дадут жить спокойно. Тебя растерзают. Подставят. Обманут. Все это плохо кончится. Когда кто-то из мужчин смотрит на тебя и думает, что ты достанешься другому, в нем просыпается неандерталец.

– Ты споришь с классиком? – попыталась я свернуть с темы, имея в виду Достоевского и его самую известную фразу о том, что красота спасет мир.

– Да, спорю, – тут же понял меня Чижинцев. – Спорю и настаиваю: красота погубит мир! Потому что люди хотят жить все красивее и красивее, иметь красивые вещи, красивых мужей и жен, все красивое, а красивое затратно, поверь мне, как финансисту, оно истощит ресурсы человечества, и человечество сдохнет.

– Достоевский имел в виду духовную красоту, – сказала я.

---

* domestics, *англ.* – слуги.

– Тогда мы с ним оба правы. Духовная, может, и спасла бы, да материальная не даст! А они связаны! Они друг в друге! Человечество, повторяю, выдохнется в погоне за красотой. Не обязательно глобально даже говорить, ты на своем примере посмотри, что творится с людьми из-за тебя!

Увы, он был прав. Со многими теми, кто пытался иметь ко мне интерес, происходили плохие изменения. Тот же Макс, который практически легко получил ко мне доступ, уже через несколько месяцев изменился в худшую сторону. Он увидел мой взлет, мой начинающийся триумф и в нем заговорила запоздалая сожалелость. Известно ведь, что человек ориентируется не столько на свой вкус, сколько на мнение окружающих. Когда Макс понял, что у него была лучшая девушка Саратова, которую он бездарно упустил, ему стало очень некомфортно. У него даже появилась экзема на нервной почве.

Другие примеры: мейджор, влюбившийся в меня, но переключившийся на Лару, вскоре спился и был прогнан со службы, предположительный Петров потерял интерес к своему правительственному в масштабах губернии бизнесу, начал слишком грубо воровать, попал под следствие, а потом и в тюрьму. С Чижинцевым, скажу сразу, забегая вперед, произошло через несколько месяцев страшное событие: он втягивал в себя дым никотинового наркотика, бумажка, набитая этим тлеющим веществом, упала на пол, Чижинцев не заметил, заснул. А было это в одном из его теремов. И начался пожар. Заметили, стали тушить, пытались открыть. Но Чижинцев крепко заперся изнутри и не мог открыть – потерял сознание от дыма и из состояния сна перешел в состояние смерти. А тогда, представь себе, еще не было консервирующих страховочных веществ, которые позволяли умершему телу сохраняться до нескольких месяцев, после которых человека легко можно было оживить. Сейчас этих технологий тоже уже нет, ничего нет, поэтому все мы вымираем от пустяковых причин вроде остановки сердца.

Но я отвлеклась.

Чижинцев, тогда еще живой, не сгоревший, говорил мне:

– Я давно уже прикупил на подставных лиц пару отелей в Крымской республике*. Я давно хотел этим заниматься. Дело хорошее – и прокормит нас до конца жизни. Я буду работать, ты будешь растить детей.

– Мне делали подобные предложения. И у вас есть свои дети, – напомнила я.

– Кто там тебе делал предложения, меня не касается. Врали наверняка. А я серьезно. О семье не беспокойся, оставлю им дом, деньги. Ну? Жду ответа.

Я ответила, что, хотя в принципе хочу иметь семью, детей и жить где-то в тихом красивом месте, но не сейчас, у меня еще довольно много личных планов. Это первое. Второе: чтобы принять такое предложение, надо, как минимум, любить мужчину.

– Полюбишь, – сказал Чижинцев. – Не было такого, чтобы женщина меня не полюбила после первой ночи.

– Но у нас не будет первой ночи, – сказала я.

– Почему? – удивился он.

– Потому что я не хочу.

Чижинцев помолчал и сказал:

– У тебя нет выхода. Здесь такие стены, хоть во весь голос кричи – никто не услышит. А если и услышат, на помощь не придут. Я, чтобы ты знала, в тенистом кабинете губернии третий человек. А буду первым – очень скоро.

– Ты что, хочешь применить насилие? – спросила я Чижинцева.

Подумав, он сказал:

– Да, пожалуй. Для твоего же спасения.

– Объясни.

---

* Неточность: КАФР (Крымская Автономная Федеративная республика) была образована позже. – *Прим. изд-ва.*

– То есть не насилие для спасения, – исправился он. – А свою дружбу и любовь я тебе предлагаю для спасения. Ладно, никуда не уедем, останемся здесь. Я и тут гарантирую тебе покой и безопасность. Иначе будет то, о чем я говорил. Даже если ты мое предложение рассматриваешь, как насилие – хорошо, пусть будет так. Но лучше одно насилие, гарантирующее стабильность, чем много насилий каждый день – со всех сторон.

– Ты кого-то на меня натравишь?

– Нет. Они сами натравятся.

– Не беспокойся. Есть милиция, есть прокуратура. Если будут угрозы, я обращусь туда.

Чижинцев расхохотался.

– Господи ты боже мой, – говорил он сквозь слезы смеха, – то ли ты дура, то ли ангел.

– Я не дура и не ангел, – ответила я ему. – Но я, извини, уважаю себя и заставлю других тоже уважать себя!

Да, Володенька, я так ему и сказала. Твоя мама иногда была очень смелой – быть может, безрассудно смелой.

Чижинцев выпил целый стакан крепкой спиртной жидкости белого цвета... сейчас вспомню... близкое к слову «вода»... Водка. Туча – тучка, репа – репка, вода – водка. Уменьшительно-ласкательное. Да. Он выпил целый стакан водки, ударил кулаком по столу и сказал:

– Я все понял! Ты для себя кого-то другого видишь? Мелковат я для тебя? Сестра твоя, я слышал, у тебя в Москву намылилась, а ты уж тем более тут не останешься! Гадюка, как я тебя убить хочу, прямо скулы сводит! Убить и мертвую тебя... – тут он замолчал и стал глядеть на меня мутными глазами.

Было страшно.

Но он преодолел в себе какие-то ужасные мысли и вдруг сполз на пол, положил свою голову мне на колени и попросил жалобным голосом:

– Погладь меня!

Я погладила.

– Пожалуйста, – стал он просить, полюби меня, меня никто не любит. Нет, вру, любят, все любят, но я тебя хочу. То есть люблю. То есть хочу, чтобы ты меня полюбила.

И так он долго еще что-то бормотал, а потом упал на пол и заснул.

Я оделась обратно в свою одежду и пошла из дома. У ворот человек в форме хотел остановить меня. Я пошла на него.

– Нельзя уходить, – сказал он, – без разрешения.

– А что ты мне сделаешь, если уйду? – спросила я.

– Ничего. Задержу.

– Попробуй.

Он протянул ко мне руку, но замер и глядел на меня в очаровательном свете ночной луны, в котором я была наверняка ослепительно красива и видела это по его глазам. Он даже весь задрожал.

– Открой, – приказала я ему.

Он подчинился.

Это был, Володя, один из первых случаев, когда я интуитивно поняла, насколько может быть большой моя власть над людьми, если я этого захочу. Я зафиксировала это, чтобы использовать в дальнейшей жизни.

Письмо восьмое

Чижинцев был не совсем не прав, когда предположил, что мелковат для меня. Действительно, я была хоть и onesta ragazza*, но имела о себе довольно высокое мнение – и все выше, потому что это стимулировалось мнением окружающих. И без того красивая, я, наверное, в этот год прибли-

* onesta ragazza, *итал.* – порядочная девушка.

зилась к лучшей своей форме, потому что не могла нигде появиться, чтобы на меня не оглядывались буквально все, кто находился в этом месте, включая стариков и детей.

Но что мне мог дать Саратов? Я не в смысле поиска житейского партнера, а в плане вообще перспектив? Ничего. Образование в университете? Я могла получить его и в Москве. Лара переехала в столицу, они поженились с Борисом, звали меня тоже в Москву, но не к себе, а вообще. Все упиралось в то, что я не хотела оставлять маму и младшего брата. К тому же, приближался новый конкурс «Краса Саратова», на который я решительно рассчитывала.

Но тут вмешалось непредвиденное событие в лице моего сокурсника Владимира. Не подумай, Володечка, это не тоже еще пока не твой отец. Мы оба ходили с ним на дополнительные курсы французского языка, кроме английского и немецкого, которые у нас были по программе. Эти курсы вел довольно пожилой преподаватель то ли Палкин, то ли Жердев, то ли еще что-то в этом роде, что ему очень шло, потому что он был похож на палку или жердь – сухой, длинный. И редкие седые волосы на голове. Тогда еще не было способов выращивать себе на голове волосы любой густоты и цвета, Жердев-Палкин расчесывал свои остатки в разные стороны, пытаясь прикрыть лысые поляны головы. Когда я пришла к нему на занятия в первый раз, он спросил, зачем мне это нужно. Вопрос меня удивил. Я сказала:

– Хочу знать французский язык.

– Тебе, девочка, вообще никакого языка не надо, – сказал он со странной усмешкой.

Я была с детства очень необидчивая, но понимала, что это плохо, и воспитывала в себе чуткость на insult*, поэтому с видом более строгим, чем мне этого хотелось, я сказала:

– Пожалуйста, не надо говорить со мной в таком тоне.

Он смутился и сказал, что пошутил.

И вел себя в остальные занятия безупречно, даже как-то слишком официально.

В той аудитории, где у нас были занятия, стояла доска для писания кусками известняка, никак не вспомню, как это называлось, белое такое, Жердев иногда давал нам письменное задание что-то перевести, а сам уходил за доску. Доска была до пола, его не было видно. Я не интересовалась, что он там делал, а Владимир, этот самый мой сокурсник, о котором я сейчас расскажу, почему-то весь корчился от смеха и мимикой делал мне какие-то намеки, которые я не могла понять.

И вот однажды Владимир вскочил и толкнул доску. Она упала на стоявшего за ней Жердева. Жердева отбросило к стене со спущенными почему-то брюками. Он вскрикнул, вскочил, натянул брюки и убежал.

Больше он не появлялся на занятиях. Их стала вести старая женщина со скрипучим голосом, полуслепая, которой было все равно, кто перед ней, но у нее зато было отличное произношение.

Наверное, Володя, поступок твоего тезки, не ставшего твоим отцом, тебя прикоробит. А может быть, и нет. Отношение к таким вещам менялось в зависимости от времени. В десятые годы, годы молодежных движений против политкорректности, поступок Владимира считался бы нормой. Любой распоясавшийся юнец мог обидеть не только безвредного, в сущности, мастурбатора, но и человека нетрадиционной сексуальной ориентации (под традицией я имею в виду интерес мужчин к женщинам и наоборот), наркомана, алкоголика, женщину, индивида другой национальности или расы, вероисповедания и т.п. В двадцатые годы все осудили бы Владимира: терпимость в обществе приблизилась к максимальным границам, по правилам того времени Жердев имел бы право совершать то, что совершал, не за доской, а совершенно открыто, а я хоть и имела бы право не смотреть на это, но не могла бы осудить – посчитали бы, что я оскорбляю свободу выражения человеком своих эмоций, чувств и желаний. В тридцатые, в годы реакции и глобальной антиглобализации, Владимир мог бы вообще убить Жердева камнем и общество только плескало бы руками, одобряя. А в пятидесятые подобные проблемы отпали сами собой, ибо, если иметь в виду случай с Жердевым, он мог иметь точнейшую мою копию – во всех смыслах. Вопрос о сексуальных ориентациях отпал ввиду отмирания самого понятия ориентации, сравнительно с

* insult, *англ.* - оскорбление.

географией можно сказать, что север стал везде – и на западе, и на востоке, и на юге. Но то же можно было сказать и о юге, и о востоке, и о западе. Наркомания и алкоголизм отступили перед эйфоризмом, пол, расу и национальность у многих людей стало невозможно определить в силу либо не выраженности признаков, либо изменчивости их у одного и того же человека.

В то же время, о котором я тебе рассказываю, действие Владимира расценивалось как хулиганство, но при этом относительно допустимое в силу обоснованности причин. Меня удивило другое: я не думала, что Владимир может быть таким резким и эмоциональным. У меня создалось впечатление о нем, как о бесцветном, тихом, можно сказать, никаком человеке. И вдруг такой взрыв. Я поинтересовалась причиной, он сказал, что, во-первых, ему стало противно, во-вторых, что он меня любит.

Ты не поверишь, Володя, но это было фактически первое объяснение мне в любви. Я имею в виду вот так – прямое, устными словами, именно в такой формулировке: «Я тебя люблю». До этого в школе мне об этом писали письменно, сказать вслух боялись. Потом были признания Чижинцева, предположительного Петрова и мейджора-насильника, но это совсем не то. И слова другие, и взгляд другой. А тут у человека просто все горело в глазах. Мне поневоле было приятно, хоть Владимир мне и не нравился. Я сказала ему, что не могу ответить ему взаимностью, но поддерживать контакт на дружеском уровне не против, если его это устраивает. Его это не устраивало, но он согласился.

Так совпало, что у него вскоре был день рождения и он меня пригласил к себе домой. Это было на окраине Саратова, рядом с огромным заводом, кажется, подземных лодок*, на котором работало огромное количество людей, живших в окрестье завода в одинаковых пятиэтажных домах, называемых... сейчас вспомню... по имени одного из деятелей двадцатого века... Ленинки? Сталинки? Брежневки? Неважно. В общем, такие дома с крохотными квартирками, без балконов, с тонкими и внутренними и внешними стенами.

Я была рада, что могла ехать туда не общественным транспортом, а на своей машине.

Да, я же тебе не рассказала о ней, Володя! Это было самое загадочное событие в моей жизни того года. Однажды я вышла из подъезда и меня деликатно остановил человек в костюме с галстуком и сказал:

– Извините. Вам незачем идти пешком. Вот ваш кар.

И дал мне ключи.

Я растерялась, машинально взяла ключи, подошла к автомобилю. Это был довольно симпатичный автомобиль, не дешевый и не дорогой, блестковатого серого цвета, любая девушка была бы рада такому подарку. Однако от кого? С какой стати? К чему обязывает этот подарок? Разъяснений получить было не у кого: человек в костюме бесследно исчез.

Естественно, я не прикоснулась к этому кару, я пошла дальше пешком, положив ключи в сумочку и думая, как и кому мне вернуть их. Тут раздался звонок телефона и сервильный мужской голос сказал:

– Дина, не сомневайтесь, это абсолютно бескорыстный подарок. Вам нельзя ходить пешком. Это просто опасно. Вы достояние нашего города и нашей губернии.

Человек явно произносил не свой текст, но меня это странным образом успокоило. Неведомый благодетель, который так припекается о своей анонимности, внушает надежду на то, что он и впредь не позволит себе открытых акций в отношении меня. Тем не менее я сказала, что не могу принять такой подарок.

– В таком случае, – тут же откликнулся голос, – считайте это не подарком, а находкой. Вы идете по улице и находите, например, десять дайлеров**, принадлежность которых невозможно

---

* Историческая неточность: завода подземных лодок в Саратове никогда не было, был завод землеройных машин, да и то в другое время. – *Прим. изд-ва.*

** Дайлер – денежная единица, имевшая хождение в тридцатые годы 21-го века, следовательно, рассказчица ошибается. – *Прим. изд-ва.*

определить – никто же не будет подавать заявление о пропаже десятки, не та сумма, верно? Самое разумное – обрадоваться маленькой удаче, поднять и купить себе пусси-калу*. Я не прав?

– Вы не правы, – сказала я. – Машина – не десять дайлеров.

– Да, но мы предлагаем вам отнестись именно так. Как к приятной мелочи.

– Кто – мы?

– Люди, желающие вам только добра и безмерно уважающие вас.

Этот человек говорил умело – от своего ли ума, от чужого, неважно. Он произнес ключевые слова об уважении – это то, Володя, чего твоя мама требовала от людей всю свою жизнь.

В общем, я согласилась. В машине оказались документы на мое имя, оформленные по всем правилам. Были и права на вождение. Но я не желала подвергать опасности свою и чужие жизни, поэтому пошла учиться вождению.

Это тоже отдельная история. Учиться полагалось почему-то не на тех машинах, на которых собирался ездить человек, а на таких, которые были плохими и, по сути дела, непригодными для нормального вождения. Там все отвратно работало, заедало, скрипело. Быть может, это был расчет на то, что после таких экстремальных условий человек легко может ездить на чем угодно. Первым инструктором у меня был молодой человек, который, едва увидел меня, пошел почему-то на водительское, а не инструкторское место. Но исправился и сел, куда нужно, не спуская с меня глаз. Я уже была за рулем и готовилась ехать, а он все молчал и смотрел на меня.

Я спросила:

– Мне ехать?

– Да, – сказал он.

– Но я не знаю, что делать. На что нажимать, что включать.

– Вот на ту педаль нажать, – показал он. – На это самое. Как его...

Он забыл слово, как я сейчас забываю слова – и заметь, забыл слово профессиональное, которое употреблял и повторял каждый день. И это не парадокс, забываешь в первую очередь действительно самое простое.

Так и не вспомнив, он начал объяснять описательно: нажать на одну педаль, потом на другую, отпуская первую и т.п. Кое-как я поехала. Мы тренировались во дворе, где были коридоры из старых колес для безопасности.

– Налево, – командовал инструктор, показывая рукой направо. – А теперь прямо, – и показывал рукой налево. Через минуту мы въехали в забор, инструктор сказал: «Извините!» – и вылез из машины.

Что-то ему помешало со мной работать.

Через несколько минут на его место сел другой инструктор, средних лет (тогда средними считались не 60-80, как в пятидесятые и позже, а 30-40), с жестким лицом.

– Не может он, – бормотал он сердито в адрес молодого коллеги. – Что, капризов слишком много? Развелось вас – папины дочки, начальников любовницы! А мне на ваши капризы плевать, я себе всегда работу найду. Ну, что не нравится?

– У меня никаких претензий, я просто хочу учиться. А он ушел.

Жесткий инструктор хмыкнул, посмотрел на меня внимательно. И начал учить. Но получалось у него все хуже. Он смотрел не вперед, а на меня и весь покрылся потом, будто нервничал, будто это он учился, а не я. Вдруг он произнес ругательство и сказал:

– Вышла отсюда быстро, а то я за себя не ручаюсь!

– Я заплатила за обучение! – возразила я.

– Говорят же тебе! – закричал он умоляющим голосом и полез на меня, сминая меня в охапку и приближая к моему лицу свое – небритое и дурно пахнущее. Я взяла что-то железное и ударила его по голове. Он выскочил, зажимая голову.

---

* Не удалось выяснить, что имеется в виду. – *Прим. изд-ва.*

Третьим инструктором был почти старик. У него все более или менее получилось. Мы даже выехали на улицы. И все было бы хорошо, но тут я заметила на его лице влагу. Это оказалась мокрота слез.

– Дочка, – всхлипнул он. – Что ты делаешь со мной! У меня этого уже пятнадцать лет не было! – и он указал на свои... как это... bristle* по-английски, а по-русски какое-то чудовищное слово... А, вот! – топорщащиеся! Он указал на свои топорщащиеся брюки. В каждом языке свои сложности. Мне приходилось учить русскому итальянцев через английский, они старательно преодолевали фонетический барьер, пытаясь выговорить – топорчачиеса, врасчаюсчиеса, осчусчаюсчиеся (ощущающиеся), это и русскому не всякому под силу, хотя я все-таки обожаю этот словообразовательно богатый язык, который способен присвоить любое чужое слово.

Мне пришлось учиться самой – я выезжала по вечерам и ночам, когда мало было машин, и кружила по улицам для тренировки.

Я вскоре оценила подарок неведомого человека, который не проявлял признаков существования. Мне это, кстати, напоминало сказку «Маленький цветочек» на основе мифа о красавице и чудовище, где чудовище влюбляется в красавицу, но не показывается ей на глаза, а только из-за кустов творит добро. Подарок был своевременным, потому что ходить по улицам мне становилось все труднее: приставали и пешие мужчины, и автомобильные, создавая аварийные ситуации, открывая окна своих каров и на езде окликая меня – не всегда культурными словами и культурными предложениями.

Теперь я была в своем автономном пространстве, которое усугубляли затененные стекла. Из-за них меня не было видно с трех сторон, исключая переднюю, с которой меня тоже никто практически не видел, хотя и это не императивно: однажды я остановилась перед переходной полосаткой, по ней шел мужчина болезненного вида, углубясь взглядом вниз, он взглянул на меня, остановился, схватился за сердце и сел, а потом упал. Не думаю, что его, как это называли когда-то, смертельно сразила моя красота, но факт остается фактом: этот человек, у которого было больное сердце, умер перед моими колесами, такой диагноз поставили врачи из приехавшей через несколько минут моментальной медицинской помощи.

Только не думай, Володечка, что я хвастаюсь этим или, тем более, придумываю. Одна из старух, которая живет рядом со мной в палатке из двух мешковин, по имени Родерика, довольно еще молодая, сто восемь лет, постоянно подозревает меня в преувеличении. При этом сама говорит, что была женой президента то ли Венеции, то ли Венесуэлы, но, судя по ее манерам, готовить на президентской кухне могло быть ее высшим достижением.

Я забыла, о чем писала, надо перечитать.

И успокоиться.

Я слишком волнуюсь, вспоминая свою основную молодость.

Письмо девятое

Итак, Володя, я писала о том, как твой тезка Владимир, не ставший твоим отцом, пригласил меня к себе домой на день рождения. Я приехала. Выяснилось, что у него больше никого не было. Мама приготовила пищу и ушла, отца у Владимира не имелось. Мы стали принимать пищу по традициям того времени, весьма рудиментарным. В совсем древности это было понятно: добытие еды считалось праздником, а праздник, наоборот, всегда сочетался с потреблением еды. Но потом это превратилось в атавизм, которого люди не замечали: любое торжественное событие сопровождалось едой, даже если не хотелось есть.

Боже мой, как я стара, я помню времена, когда действительно кому-то могло не хотеться есть. Сейчас есть хочется всегда и всем...

---

* bristle, *англ.* – топорщиться, топорщащиеся.

Мы слушали с Владимиром музыку, я немного скучала, не понимая, что меня заставило приехать к нему. Потом, когда свечерело, мы сидели с ним на *(такая пристройка с внешней стороны здания с выходом на нее из квартиры)**, он глядел на то, как Солнце исчезает из поля зрения в результате вращения Земли, и атмосфера для человеческого взгляда становится из-за косого угла багровой. То есть довольно красиво. Владимир говорил значительные вещи, что было свойственно юноше того времени, который хотел нравиться девушке. Я не помню точно, хотя хорошо запомнила вообще этот вечер, кажется, он говорил о величине расстояний до Солнца, Луны, Марса, Юпитера и т.п., о бесконечности Вселенной и о том уникальном чуде, которое называется жизнью в пылинке этой Вселенной, называемой Земля. Меня он этим, конечно, не поразил, но мне было почему-то приятно слышать его мягкий и теплый голос. Я тоже поделилась с ними познаниями в астрономии. Потом он начал читать... Нет, не так, как читают книгу, он произносил вслух, но это называлось читать, Володенька, ужасно, я не могла это забыть, что угодно, только не это – это все равно, что забыть такие слова, как вода и хлеб... Хотя есть у нас старик, вот он-то уж точно старик, сто сорок три года, у него то, что я с ужасом предвижу себе: почти полная потеря памяти. Он уже ничего не помнит, кроме слов «я хочу». «Я хочу», – говорит он и показывает пальцем на то, чего хочет... Я сейчас вспомню, я обязательно вспомню. Ритмизированная речь, часто в столбик, часто с похожими, то есть созвучными, то есть ассонансными окончаниями. Рифмы! Они назывались рифмы! Но как называлось это, то, что писалось при помощи рифм? Я должна вспомнить, обязана вспомнить!

При этом лучше самой. Можно спросить, но лучше самой. У нас разработаны мнемонические приемы и реконструктивная методика, позволяющая вспоминать предметы и слова. Не надо запоминать всего, надо помнить только базовые вещи, а остальные восстанавливать ассоциативно. Например: курица и яйцо. Курица – домашняя птица, яйцо – то, из чего получается потомство курицы, овально-заостренной формы. Из этих двух понятий можно восстановить вообще весь мир. Ибо все ко всему имеет отношение. Итак, рифмы. Повторяются, как кудахтанье курицы. Похожи. Уже близко. Но не с той стороны. Подойдем со стороны яиц. Яйца есть результат творения, они рождались, то, что я пытаюсь, вспомнить – тоже. С древних времен. Чем отличались древние времена? Отсутствием многих приспособлений. Те, кто творил то, что я пытаюсь вспомнить, писали – перьями! Браво, курица! Они писали перьями! Писатели? Нет. Они не только писали, но и именно читали вслух, пели, они пели, пели, пели свои поэмы! Поэты! И то, что они сочиняли, называлось поэзы? Нет. Не уходим от курицы. Я уже забывала это слово и придумала мнемоническую поговорку. Сейчас, сейчас... Вот! Курица кудахчет, но она тиха, когда заслышит пение стиха! Стихи! Браво!

Стихи, стихи читал мне Владимир. Чьи-то или своего изготовления, это неважно. Я тогда еще не увлекалась психолингвистикой и не знала о действии ритмической речи. Я ощутила руку Владимира на своем плече и вдруг поняла, что мне это тоже приятно.

А дальше – почти фантастика. Каждый момент предыдущий жизни был мной прожит с полным сознанием и четким ощущением того, что именно я проживаю. У меня не сносило покрытие дома, как выражались тогда некоторые, то есть не было моментов подчинения интеллектуальной сферы эмоциональной, я всегда отдавала себе доклад в своих действиях. Даже в моменты гармоничных и приятных отношений с Максом я понимала, что именно ощущаю на тактильном и органолептическом уровнях. Здесь же все было иначе. Только что Владимир читал мне стихи и держал руку на моем плече – и вдруг я вижу, вернее чувствую, как мы с ним прижались губами друг к другу, а его руки, приподняв мою часть одежды, называемую по какому-то виду спорта, господи, как мне мешает плохая память! – хоккейка? воллейболка? тенниска? – неважно! – приподняв это, Владимир обнимал меня за голую кожу талии, и это было офигительно здоровско! Я даже сейчас хихикнула, Володечка. Впадаю в детство? Это невозможно: реки впадают в озера,

* Видимо, имеется в виду балкон, но в предыдущем письме указывалось, что Владимир жил в доме без балкона. Тут какая-то несостыковка. – *Прим. изд-ва.*

как в конечную цель своего движения, если не иметь в виду круговорот воды в природе, а детство начало, не конец... О чем я?

Да. Итак, я не заметила, как оказалась целуемой Владимиром и как он оказался с полной отдачей целуемым мной. Я понимала оставшимся умом, что это не тот человек, который мне нравится и нужен, что у нас нет ничего общего, что мне интересны совсем другие люди, что он просто-напросто некрасив, а я всегда любила красивых людей по аналогии с собой, но я не могла с собой увладать, слишком сильным был психофизический порыв. Не вменяясь, мы оказались в комнате. И я опять ничего не помню, кроме того, что это было в высокой степени перфектно.

Конечно, уже через полчаса или час я сожалела о случившемся. Я поняла, что это было что-то вроде приступа. Глядя на непропорциональное лицо Владимира и наконец ощутив, что запах его тела далеко не идеален, я с честностью, присущей мне, сказала, что у нас произошел нелепый эпизод, который не стоит, чтобы взять его в голову. Но он, инджойствуя нашей близостью, только улыбался. Я встала, оделась и повторила свои слова.

– Конечно, конечно, – сказал он странным тоном. – Такая красавица – и вдруг с неизвестно кем!

Я ответила, что он не прав. Если любовь, то меня не интересует, с кем, но в том-то и дело, что никакой любви нет и не может быть.

– У кого как, – сказал он.

Выяснилось, что у него в самом деле по отношению ко мне все было крайне любовно. Он мучил меня устно и письменно через телефон и Интернет бесконечными признаниями и настояниями о новой встрече. Мне пришлось перестать из-за него ходить на изучение французского языка. Я вообще испытывала множество неудобств, о чем неоднократно говорила ему. Но он был невменяем.

То, что называли любовью, Володечка, то есть комплекс чувств и ощущений, возникающих у одного человека по отношению к другому, часто проявлялось в болезненной форме. А главное – крайне редко это появлялось у двух людей одновременно. Но влюбившийся человек впадал в эйфорию, главной особенностью которой была уверенность, что другой или другая разделяет или обязан (обязана) разделить эту эйфорию. Нежелание же разделить встречалось обидами, необоснованными претензиями. Недаром в двадцатые годы, когда борьба с этическими и ментальными атавизмами была особенно сильна во всех сообществах, в некоторых странах человек, подвергшийся любви, имел право подать в суд на влюбленного, проявляющего излишнюю инициативу, это трактовалось как попытка эмоционального изнасилования и каралось либо кредитным штрафом, либо исправительными работами и даже тюремным запирательством.

По законам этого времени Владимир получил бы максимально возможное наказание: он не давал мне прохода, он меня просто терроризировал и шантажировал.

В частности, он угрожал самоубийством. Самоубийство, Володечка, это акт физического уничтожения самого себя. Случаи самоубийств были обычным явлением в то время, о котором я тебе рассказываю, потом было несколько всплесков в связи с историческими катаклизмами, в золотые пятидесятые самоубийств почти не было – люди практически избавились от болезней и старения, найдя, к тому же, способ передухотворения*. Правда, сейчас люди опять стали... Но мы о прошлом.

Самоубийства были обычными еще и потому, что и убийства совершались каждый день в огромных количествах, но при этом в абсолютно обыденном порядке, поэтому смерть была заурядным явлением. Человечество, считавшее себя в начале 21-го века супер-цивилизованным, в одних только дорожно-транспортных происшествиях уничтожало за год больше миллиона человек, а 50 (пятьдесят) миллионов получали ущерб здоровью или инвалидность. В России, правда, уровень смертности в те годы, о которых я пишу, заметно снизился за счет усилий правительства

* Д. Лаврова имеет в виду широко распространенную в 50-х – 70-х гг. практику перемещения мозга человека в другие тела, в том числе искусственные. – *Прим. изд-ва.*

и государственных структур.* Но как бы то ни было, представь, Володечка: больше миллиона человек в год под колесами! Чистое варварство.

Так вот, Владимир начал намекать, что ему незачем жить без моей взаимности. Он в это время, кстати, очень умело вник в нашу семью. Я сама была виновата. Мама постоянно меня спрашивала, есть ли у меня мальчик. В ее вопросах было неосознанное ею архаичное желание проверить ликвидность потомства, то есть мою, выяснить, есть ли на него, то есть на меня, спрос. Хотя при моих данных – кто бы сомневался! Хорошо еще, что она не торопила меня замуж по обычаю того времени – когда считалось, что чем раньше девушка заведет семью, тем лучше. Смешно сказать, после юных тридцати лет женщина считалась уже довольно поздней для брака; пятидесятилетние свежие стройницы середины века только расхохотались бы: для них пора семьи виделась не раньше шестидесяти.

Мама имела в виду мальчика приличного и скромного, она так и сказала. Я решила, что Владимир подходит на такую роль, и пригласила его в дом. Он всем понравился – и маме своей вежливостью, и брату Денису своим уважительным демократизмом по отношению к нему, и даже Ларе, которая тогда еще не уехала в Москву. Но она сказала:

– Будь осторожна, Диночка. Знаю я таких. Худой, долгоносый, смотреть не на что, а глазами насквозь прожигает. В таких смертельно влюбляются.

– Мне это не грозит, – успокоила я.

– И хорошо. Будущего у тебя с ним не будет. Он умный, но по-пустому умный, не конкретно. Чем занимается?

– Учимся вместе.

– Переводчиком будет? Для мужчины не профессия. Языки надо изучать дополнительно, а идти по другой дорожке. Дипломатия, бизнес, политика, мало ли.

Владимир, принятый семьей, решил, что он имеет право прийти без предварительного звонка мне и вообще без моего присутствия. В университете, спасибо хоть за это, он не демонстрировал, что мы близко знакомы, никогда не садился со мной в машину – возможно, из гордости, но дома, как тогда выражались, доставал по полной.

А я боялась быть категоричной.

Меня легко понять: к этому времени уже произошло несколько неприятных или просто смертельных случаев с людьми, влюблявшимися в меня, мне не хотелось думать, что это тенденция, что я какая-то роковая женщина. Я, Володечка, хоть и знала себе цену, но не любила думать о себе в превосходящей степени. Я стремилась к *нормальной* жизни, *нормальной* работе по интересу, *нормальной* семье, к тому, чтобы 生活的方式生活 ** – без каких-то чрезвычайных амбиций. Поэтому тот повышенный интерес, который ко мне возник, напрягал меня. Я даже чуть было не отказалась от участия в конкурсе «Краса Саратова», где моего появления, конечно, ждали, как самой интересной интриги мероприятия. Всем хотелось в реальности посмотреть на ту девушку, которую подло исчезли из конкурса прошлый раз. Это придавало всему особенный интерес и масштаб, поэтому, когда я сказала организаторам о нежелании участвовать, они позвали меня на конфиденциальный разговор и сообщили, что, независимо от результатов конкурса, готовы выплатить мне определенную сумму. Я отнеслась к этому как к гонорару за участие в театрализованном шоу и взяла деньги.

Проблемы с Владимиром в это время отодвинулись на второй план.

– Нет, в самом деле, – сказал он в очередной раз. – Зачем мне тянуть эту ерунду? Ты все равно выйдешь замуж за другого. И я все равно тогда спрыгну с десятого этажа. Лучше сейчас.

– Если ты спрыгнешь сейчас, я точно выйду за другого, – ответила я. – А так у тебя есть шанс.

– В самом деле есть?

---

* Ошибка: в нулевые годы смертность в России в два раза превышала среднемировой показатель. – *Прим. изд-ва.*

** 生活的方式生活, *кит.*, - жить так, как живут люди.

– Пожалуйста, перестань. Мне рано, я не собираюсь замуж. И как ты будешь содержать меня, наших детей, ты подумал?

– Если вопрос стоит так... – тут же загорелся Владимир.

– Нет. Вопрос так не стоит. Одна просьба: не прыгай хотя бы до конкурса.

– Если ты победишь, тогда мне точно конец, – понурился Владимир.

– Это даже подло, – попробовала я задеть его нравственную жилу. – Ты меня любишь, значит должен желать мне хорошего.

– Я и желаю. Но это как раз – не хорошее.

– Почему?

– Сама знаешь.

Я очень не любила эту его манеру уходить от ответов. «Сама знаешь!» – говорил он с таким видом, будто только ребенок не понимает, что он имеет в виду. Подозреваю, что он и сам этого не понимал.

Письмо десятое

Дорогой Володечка! Что я все о себе да о себе. С одной стороны, это понятно: я очень рано стала человеком, на которого все обращают внимание. Но мне хочется и о тебе рассказать.

Когда я осталась одна с тобой, мне было очень трудно. Выбора – или работать, или заниматься твоим воспитанием – у меня не было. Я вынуждена была и работать, и воспитывать тебя. Утром я просыпалась чуть свет, на сорок минут раньше тебя. Душ, приготовление завтрака. Потом бужу тебя. Ты просыпаешься легко и светло, улыбаешься, мы завтракаем, я даю тебе наставления, что делать после школы, они всегда одинаковые: сначала разогрей обед и съешь его, потом отдохни – погуляй во дворе или поспи, если захочется, потом сделай уроки. И не заметишь, как кончится день и приду я.

Я была спокойна до полудня, когда знала, что ты в школе, под присмотром, а потом меня начинало грызть беспокойство. Я представляла: вот ты едешь из школы (это хорошая школа, но она довольно далеко), вот входишь в пустую квартиру, один, разогреваешь обед, со скукой ешь его – одному скучно сидеть за столом. Дальше начинались фантазии: ты выходишь из дома, на тебя нападают хулиганы, ты бродишь по улицам, где стремительно несутся автомобили, маленький мальчик в огромном городе. Я не находила себе места до вечера, мчалась домой, и лучшие моменты были в жизни: увидеть тебя целым и невредимым, увидеть, что ты радуешься мне. Но я обязана быть строгой, я же мама, я спрашиваю, как и что ты ел, проверяю уроки (честно говоря – формально, наскоро), потом ты играешь в свои компьютерные игры, а я работаю, я всегда беру работу на дом. Ровно в половине одиннадцатого, не позже, я укладываю тебя спать: надо учесть, что минут десять-пятнадцать нам надо поболтать, посекретничать, понежничать.

Какой ты был послушный, умный и ласковый! Примерно до десяти лет. Не без капризов, но в целом ровный, спокойный, благожелательный. А потом начался этот ужас – нарастая. Голос грубел, ты вытягивался, ты начал говорить дерзко и даже насмешливо. Больше всего меня оскорбляло именно это: ты искал и находил авторитеты где-то там, среди своих 男孩 *, ты видел кумиров в киногероях и телеведущих, а ко мне почему-то начал относиться с иронией. Мне иногда казалось, что ты посмеиваешься над тем, что я работаю с утра до ночи, не зная покоя – вдвойне и втройне обидней это посмеивание оттого, что я делала это для тебя и ради тебя. В четырнадцать лет ты приобрел привычку подходить ко мне, ласково (как раньше) обнимать меня руками за голову (я сидела за столом и работала, как обычно) и говорить басом ни с того, ни с сего: «Ты, мамочка, у меня дурочка!»

– Это почему? – спрашивала я, стараясь казаться спокойной.

– Да я так, шучу, – уходил ты от ответа.

---

* 男孩, *кит.* – здесь: пацаны.

– Я знаю, почему, – отвечала я за тебя. – Потому, что встаю раньше тебя, а ложусь позже, забочусь о твоей учебе больше, чем ты сам, готовлю тебе, покупаю тебе все, что ты пожелаешь по первому твоему требованию. Ты прав, я дурочка. Мне пора пересмотреть наши с тобой отношения.

– Да говорю же: шучу я! – упорствовал ты.

На самом деле ты действительно не хотел меня обидеть. Ты даже не вполне понимал, что ты, собственно, хочешь сказать. Слишком многое было в этой фразе неосознаваемого самим тобой. Дурочка – что не выхожу замуж и не перекладываю часть забот на своего мужа. Дурочка – что люблю свою работу, за которую платят гораздо меньше, чем за нелюбимую, но выгодную. Дурочка – что стараюсь быть на уровне сама и тебя держать на уровне вместо того, чтобы лишний час поспать, отдохнуть. Дурочка – что годами не была в кино, в театре, да вообще почти нигде. А когда, Володечка? В будние дни у меня нет ни минуты свободной, а в выходные я сплю, отсыпаюсь – как, впрочем, и ты, поспать ты очень не прочь.

Я не просто дурочка, я дура, решаю я однажды. Это происходит после того, как я прихожу домой и вижу: у тебя гостья, то ли одноклассница, то ли девочка с улицы, в доме пахнет пивом и табачным дымом, я делаю замечание, вполне доброжелательно, а ты грубишь, басишь, говоришь гадости на тему «что хочу, то и делаю, потому что взрослый». Простая попытка найти контакт с девушкой принимается a hostile reception*, я всего лишь хотела узнать ее имя, девушка вполне приветливо улыбнулась и собиралась назвать его, но ты заорал:

– А чего ты допрашиваешь сразу? Тебе какая разница?

При этом ты ведь очень чуткий и умный человек, ты не настолько пубертатен, чтобы не иметь саморефлексии, ты орешь, а сам понимаешь, что выглядишь глупо, что твой прыщливый гонор смешон. Уличив себя в этом, ты злишься еще больше, скандал, выросший из ничего, разгорается, ты уходишь с девочкой, хлопая дверью, и на вопрос: «Когда придешь?» – отвечаешь: «Завтра утром!» – и хохочешь, голос громыхает в подъезде, девочка хихикает. Неожиданно я слышу все это как бы чужими ушами, брезгливыми ушами какого-нибудь тихого старичка, который в своей конурке на двенадцатом этаже, как эхолот, с утра до вечера прощупывает окружающее пространство, злорадно выискивая в нем то, что раздражает и в который раз убеждает его в глупости, пошлости, примитивности окружающей жизни, не стоящей присутствия в ней, поэтому можно дальше сидеть в своем пространстве и не высовывать носа...

Я не плачу, у меня нет на это сил. Я сижу за столом и вдруг понимаю, что мне ничего не хочется. Ни есть, ни спать. И мне не только ничего не хочется, мне даже ХОЧЕТСЯ ЭТОГО НИЧЕГО. Очень странное ощущение отчаянье, близкого к чувству свободы. Подводная лодка стукается о дно, можно уже не паниковать – выхода нет.

Но темнеет – и все во мне воспаляется. Я звоню тебе – ты отключен. Тут же истерика. Звонки в больницы. В милицию, в морги. Разговоры с равнодушными людьми. Результат одного из этих разговоров: мчусь в приемный покой какой-то клиники травматологии, ничего не соображаю, сопровождающая медсестра или кто-то, неважно, говорит: «Да, похоже, ваш, куртка светлая, джинсы голубые, ходилки красные с белыми шнурками...»

– Он жив?

– Да что с ними сделается? Ну, дали по башке слегка, дурная кровь вытекла – только на пользу.

– Дурная кровь – из головы? Это юмор у вас такой?

– Почему? Нет, вообще-то кровь хоть в голове, хоть, извините, в жопе, одинаковая.

Грубое слово меня почему-то слегка успокаивает.

Будто я уже что-то поняла.

И правильно поняла: это оказался не ты, Володя. Да, куртка светлая, джинсы голубые, ходилки красные и даже темные волосы – как у тебя. Но это не ты.

Извиняюсь перед всеми, выхожу на улицу.

---

* a hostile reception, *англ.* – в штыки.

Звонок. Человек, который звонит мне крайне редко: бывший муж. Твой отец, Володенька.

Спокойным тоном, узнаваемо улыбчивым голосом:

– Привет. Вовка тут ко мне заехал, переночует, ты не против?

– Я могу быть против во втором часу ночи? Вы могли позвонить?

– Да заболтались.

– Ему в школу завтра! Как он пойдет без учебников?

– Завтра воскресенье, – говорит бывший, голос неоконченно подвисает, так и слышится не сказанное: «Завтра воскресенье, дурочка!»

– Он мог бы предупредить, – говорю я, сердясь на себя, понимая, что разговор нужно немедленно прекратить.

– Да ладно. Захотел – приехал.

– Почему бы и нет, действительно! Папа видит сына раз в три месяца, папа раз в год дает сыну пять рублей, почему бы и не приехать к папе!

– Это неправда, – говорит бывший.

На самом деле это правда, но у бывшего есть гениальная особенность считать правдой только то, что он считает правдой. Он гениально умеет не париться о других людях и их проблемах. Он гениально оправдывает свои неудачи, лень, свою бедность, в конце-то концов! А самое гениальное – спокойствие. Он спокоен, как просветленный Будда.

Пока я думаю об этом, он что-то говорит. Ловлю на середине фразы:

–... неизбежно. Все мальчики вырастают и уходят от матерей к отцам.

– Да? То есть – я его ращу, я колочусь, я загибаюсь, а он уходит к тебе – ни за что?

– Почему ни за что? Я отец. Ему пора понять жизнь, для этого надо общаться с мужчиной.

– Это кто у нас мужчина?

– Да ладно тебе, – он непробиваем.

– Может, вы там пивка выпили и покурили? По-мужски? – предполагаю я.

– Да, – великолепно отвечает бывший. – Почему нет? Ну, бил меня отец по губам за сигареты, а мать по голове кастрюлей, когда я впервые выпил. Что дальше? Все равно начал и курить, и пить. При этом заметь, не алкоголик.

Это правда. Он не алкоголик. И вообще, ведя богемный образ жизни, скорее человек умеренный – лишнего не выпьет, вреда себя не нанесет. Потому что любит себя, в отличие от меня – умеет себя любить.

Я продолжаю допрос:

– Ты так его приманиваешь?

– Объясняю, – терпеливо вталкивает он мне, дурочке. – Не приманиваю, а понимаю неизбежность некоторых вещей. Он пил бы пиво на улице и курил по подъездам – это лучше?

– Лучше вообще не пить и не курить!

– Слушай, это примитивно, – говорит он, добродушно соболезнуя моей одноклеточности. – Человек не сводится к таким простым вещам. Это всего-навсего привычки. Да, не очень хорошие. Но главное не в этом.

– Главное – он потерянный ребенок! Он даже не знает, кем хочет быть, он никем не хочет быть.

– Ты напрасно, – говорит бывший. – Он сказал, что его компьютерный дизайн интересует.

Я затыкаюсь.

Что-то говорю и быстро сую телефон в карман джинсов, чтобы избежать искушения разбить его об асфальт.

Вот так. Мама с сыночком ведет долгие беседы, рассказывает ему об интересных профессиях, сынок посмеивается и уверяет, что собирается, как отец его одноклассника, заняться сбором пищевых отходов. Простой и гениальный бизнес: папа одноклассника по всей Москве поставил бачки для этих самых отходов с крупными веселыми надписями: «Осталась еда – кидай сюда!» Это действует, люди выкидывают туда, а папа собирает и кормит этими отходами тысячи подмосковных свиней, выращиваемых на огромных свинокомплексах.

А папе сын признался: компьютерный дизайн ему по сердцу. Вот так вот сходу выдал заветное.

Я дура, говорю я себе, покупая по пути домой пива и пачку сигарет. Есть смысл рвать нервные кончики и тратиться, когда видишь результат и благодарность. А если результат сомнителен и благодарности никакой, то зачем? Нет, конечно, женщина экзистенциальна по сути своей и самое странное в мифе о Сизифе то, что он мужчина. Но не настолько же! Все, хватит. Пора подумать о себе.

Но трудно думать о себе тому, кто от этого отвык. Я отправляюсь в салон красоты, я иду по магазинам и наряжаюсь, я целых два раза посещаю выставки чего-то там и целый раз – театр. Но за каждую минуту, потраченную на себя, я расплачиваюсь угрызениями совести, каждая купленная себе вещь кажется украденной у сына, я поняла, что загнала себя в тупик, а в одиночку выход из тупика найти трудно. Искать же его с теми, кто тебя знает такой, какая ты есть, еще труднее. Нужен новый человек, который тебя не знает. Он увидит тебя другой и этим поможет тебе самой открыть в себе что-то новое. Начинается этап поиска через множество каналов, а их действительно уйма – компьютерные серверы знакомств, электронные свахи, чаты, блоги, начинаешь в это играть и заигрываешься, потому что там ты можешь быть какой угодно – иметь любую внешность, любой возраст. Но, опомнившись, вспоминаешь, что ищешь кого-то не для своей виртуальной двойницы, а для себя... При этом есть в этом что-то неприглядное, почти как в мастурбации, хотя некоторые и в этом не видят ничего особенного. В самом деле, а что такого?

Познакомившись с мужчиной в реале, первым делом просишь его:

– Послушай, не говори никому, что мы познакомились через инет. Ладно?

– А какая разница?

– Тебе трудно?

– Нет. Но смысл? Один человек искал и нашел другого человека – обычное, естественное дело.

– Может быть. Но все-таки.

– Хорошо. Мы встретились в метро?

– Да. Нет. Как-то уж очень... В толпе знакомиться...

– Понял. Мы встретились на рауте. На дипломатическом приеме. На открытии выставки художника Репкина-Дедкина или на премьере фильма режиссера Бабкина-Внучкина. Или кутюрье Жучкин-Кошкин нас пригласил на показ весенней коллекции своего ученика Мышкина. Выбирай!

– Перестань. Просто ты обратился ко мне по делу.

– Чем это лучше, не понимаю?

– Ну... Элемент случайности. Непреднамеренности.

– Это так важно?

– Для меня – да.

К счастью, мужчина оказывается покладистым. И вообще хорош во всех смыслах. Все становится стабильным. А главное – ты, Володечка, выравниваешься. Причем такое ощущение, что не благодаря, а вопреки. Выравниваешься сам. Начал опять старательно учиться, хоть и не по всем предметам, перестал басить – уже потому, что голос оформился, стал твердым и ни к чему демонстрировать его стальность. И действительно ты всерьез заинтересовался дизайном.

– Это теперь главная профессия, – говоришь ты. – Мир давно уже создан, его надо только оформить. Что есть мир вообще? То, что мы ощущаем, в первую очередь – видим. Так что я творец вашего мира, господа. Я сделаю его таким, каким захочу.

И мне бы радоваться, но что-то мешает. Обретенный мужчина при всех его достоинствах раздражает все чаще и чаще. Сначала не понимаешь этого, потом доходит: он раздражает уже тем, что может обойтись без тебя. Ты пытаешься сделать его большим ребенком, а он не хочет этого, хотя иногда ему приятно – как приятно бывает слегка, не мучительно поболеть, лежать в укутанном тепле, принимать горячий чай и неназойливо капризничать. Ты хочешь от него ребенка – он категорически нет.

Наконец осознаешь: ты тоскуешь по тем трудностям, которые из года в год не давали тебе нормально жить. По усталости, по недосыпанию, по ссорам с непокорным сыном, по мечтам о мужчине если не идеальном, то просто приличном...

Мы расстаемся. Ты ничего не понимаешь, я ничего не понимаю, никто ничего не понимает. Неизбежность.

Мне опять трудно – и опять хорошо. Пусть по-плохому хорошо, неважно, но зато я опять принадлежу себе. Своим трудностям, ошибкам, глупостям, да. Но – себе. Нет ничего важнее. А те переломные годы, Володечка, когда мне казалось, что я принадлежу тебе, это и была форма моей самопринадлежности. Понимаешь меня? Нет? Неужели понимаешь? Тогда объясни мне.

Я тороплюсь, мне столько нужно вспомнить – и то, что было, и то, что могло быть.

Могло быть: твой приятель и сосед, старше тебя на два года, приглашает тебя в гости. Тебе это льстит. Сосед осторожен, он как бы просто – пообщаться. К нему приходит девушка – твоя ровесница. Красивенькая такая девушка. Взрослая. Такие нравятся робким мальчикам вроде тебя. Впрочем (это самое неожиданное для меня), ты оказываешься отнюдь не робок. Ты узнаешь, что сосед-приятель торчит на наркотиках и девушку подсадил тоже. Ты бросаешься в борьбу за нее. Сначала она сама просит, но потом не рада – ты изо всех сил пытаешься ее ограничить, спасти. Ограничений она не переносит. Ругает тебя, клянет. Говорит, что, если бы ты понимал, что это такое, тогда имел бы право так себя вести. И ты решаешь попробовать, чтобы показать свою силу...

Нет, не могу, не хочу дальше рассказывать.

Это история твоего двоюродного брата, Володечка, Эрнеста, младшего сына моей сестры Лары. Его давно уже нет в живых, как и Лары. Но Лара пережила его на девяносто шесть лет. И никто не гарантирует, что чего-то подобного не произошло бы с тобой...

Письмо одиннадцатое

Володюшка!

Суффикс «ушк-юшк», объясняла я иностранцам, которых учила русскому языку, обозначает старинную задушевную интонацию по отношению к явлению, предмету или человеку – матушка, волюшка, полюшко, соловушка. А имена звучат – Настасьюшка, Марьюшка, Никитушка... Им это очень нравилось, они начинали называть так своих товарищей и себя: Джонушка, Леслюшка, Ченушка, Мохамедушка, Абхиманьюшка, Ришабхаскандханьюшка и т.п. Пришлось объяснять им, что это не обязательно, есть много способов назвать человека ласково: Володик, Володенька, Володечка, Вовик, Вовочка. Или – Петенька, Петяша, Петруша, Петушок, Петюня, Петечка, Петюнчик, Петеныш, Петяшечка – до бесконечности. Их это потрясало. Я и сама задней памятью потрясаюсь богатству русского языка, который мы так бездарно утратили. Впрочем, утраченными в значительной мере можно считать все языки.

Володюшка. Володенька, Володечка.

Нет, в других языках тоже были уменьшительные имена.

Как это... Что-то стучится мне в память.

Ага, вот! –

Elizabeth, Elspeth,
Betty and Bess,
They all went together
To seek a bird's nest.
They found a nest
with four eggs in it,
They all took one and left three in it.
...

Опять забыла, что писала тебе в раньшем письме, а перечитывать почему-то опять боюсь. Потом перечитаю все сразу. Или вообще не буду перечитывать.

Кажется, я так и не рассказала о втором конкурсе красоты, где я одержала оглушительный триумф.

Все было немного необычно, а верней сказать, много необычно, совсем не так, как в первый раз. Мне выделили отдельную комнату для одевания. Наряды были лучшего качества. Со мной общались с самого начала как с гарантированной королевой красоты. Везде я чувствовала чье-то заспинное влияние и догадывалась, что оно исходит от моего чудовища, как я уже привыкла мысленно называть его.

Без всяких проблем я прошла отборочный тур.

И вот вечер финального показа.

Я уверена в своей победе, каждое мое появление вызывает бурю аплодисментов.

Правда, была там и достойная конкурентка – беловолосая девушка, очень миленькая, такая фарфоровая, но при этом не холодная, улыбчивая, живая, не помню, как ее звали, но мы с ней общались – вполне дружелюбиво. Она была чуть младше меня, но выглядела опытно: уверенно ходила, уверенно показывала себя, уверенно говорила. Но при этом был все-таки небольшой эффект запинчивости, латентности. Однако эти небольшие паузы выглядели как милая застенчивость и скромность. То есть: да, я умна и красива, но немного стесняюсь того, что я так умна и красива, поэтому слегка торможу, чтобы не быть такой безусловно прекрасной. В мое отсутствие это была бы беспроигрышная тактика. Я сама, если вспомнить, была такой на первом показе – не нарочно, а от природных моих качеств, исключающих самолюбование.

Одним из самых важных показов была проходка в купальниках и на высоких каблуках. Это был уже самый финал. Баллы беловолосой девушки были вторыми после меня, шанс у нее еще оставался. И вот вышла я, спустившись по ступеням, а потом пошла она. И споткнулась. Она споткнулась и упала. А женщина падает с высоких каблуков громоздко и некрасиво, при этом показалось, что у беловолосой красавицы вывихнута нога. Это подтвердилось. Она плакала. Каблук валялся на сцене. Кто-то кричал за кулисами. Девушка, что стояла рядом со мной, вдруг больно щипнула меня за руку и прошипела:

– Это все из-за тебя, сссучка!

Оскорбление было обидным, незаслуженным, я не имела отношения к несчастью беловолосой девушки.

Я стала «Красой Саратова», получила приз, все свершилось, но впечатление было безнадежно испорчено. Газеты вовсю писали об этом инциденте, многие журналисты обвиняли меня и тех, кто стоит за мной (будто я знала, кто за мной стоит). Каким-то образом узнали, что каблук был подпилен, что в раздевалку к бедной девушке проникали посторонние люди... И лишь в одной газете была справедливая заметка под названьем «Медвежья услуга». Медведь, Володечка, это большое, хищное и неуклюжее животное. «Медвежья услуга» – когда хотят сделать добро, но делают его неловко и все портят. Я потом узнала, что заметку написал Владимир: он тогда начал сотрудничать с местными газетами и превращаться в мастеристого журналиста. Но мне он не сказал об этом.

Все происходящее было так неприятно, что я дала интервью телевидению и заявила, что отказываюсь от звания и от приза. Но выяснилось, что этого я не могу сделать по условиям контракта, который по неопытности подписала не глядя. К тому же, беловолосая девушка тоже дала интервью, где оправдывала меня полностью и рассказывала, что никто ей не подпиливал каблук, она просто споткнулась, это может случится со всяким. Я, помню, позвонила ей, чтобы поблагодарить за благородство, но она почему-то ответила коротко и раздраженно.

– Это не мне спасибо, – сказала она.

– А кому же?

– Ладно, замнем!

И опять мне стало неприятно. Возникло ощущение, что кто-то распоряжается обстоятельствами, складывающимися вокруг меня, и стремится к тому, чтобы распоряжаться мной самой. Я

этого не хотела. Но как объяснить это тому, кого ты не знаешь и не видела в глаза? Или видела, но не догадываешься, что это он. Надо было дать какой-то знак – и я дала его.

Владимир в это время купил недорогой подержанный автомобиль и я попросила его, чтобы он некоторое время возил меня.

– Предлагаешь работу личного драйвера? – спросил он.

– Нет. Просто не хочу ездить на этой машине.

– Она тебе разонравилась?

Владимир не знал происхождения машины и вообще я не посвящала его в свои догадки о благодетеле-чудовище, поэтому я сказала:

– Мне не нравится самой ездить. А просто ходить по улицам мне тяжело – ты ведь понимаешь, почему.

– Конечно. Тебя теперь вся страна знает.

– Ну, не страна, город, но тоже немало, учитывая, что я тут живу. Хотя, ты мне сделал подсказку: лучше нанять драйвера, а не просить тебя.

Владимир сразу пошел на пяточное направление.

– Хорошо, – сказал он. – Все равно лето, каникулы, мне нечего делать. А ты теперь занятая девушка: презентации, акции, корпорации.

На самом деле я видела, что он получил удовольствие от моего предложения. Разговоры о самоубийстве прекратились, он получил возможность быть рядом со мной, хотя в сексуальном контакте я ему твердо отказывала. Может быть потому, что не хотела попасть под ложное очарование момента. 溺死の恐れ-の水の一部ではありません *

Ездили мы с ним каждый день на различные мероприятия, на фотосессии, я была ведущей или выступающей на концертах приезжавших к нам знаменитостей, Владимир не только возил меня, но часто присутствовал, находясь в сторонке. Пусть это неведомое чудовище, думала я, знает, что у меня есть парень, что я не езжу на его подаренной машине, что я могу обойтись без его благодетельства.

Однажды вечером я ждала Владимира, чтобы поехать на фестиваль детских хоров, чтобы вручать призы победителям. Я ждала, но его не было. Я позвонила – телефон не отвечал. Пришлось вызвать такси. Я провела мероприятия с тревогой за Владимира. Потом позвонила его маме, она встревожилась, потому что была уверена, что Владимир со мной. Мы начали отыскивать его вместе.

В вечерних новостях по телевизору передали репортаж с места аварии. Самое странное, что момент аварии был снят и показан. Ведущие программ говорили, что это запись с камеры уличного наблюдения. Но, я помню, качество было слишком хорошим для такой камеры. На это было страшно смотреть: автомобиль Владимира выдвигается на перекресток и тут слева на большой скорости летит машина с длинным капотом, и ударяет в дверцу, за которой сидит Владимир. А потом кадры, как эту дверь вынимают и достают Владимира.

Он остался жив, ему только повредило левую руку, но так, что он не мог держать руль, и сломало два ребра. Даже при этом он мог бы водить машину, как это делали люди без рук с помощью приспособлений, но Владимир навсегда отказался от этого: он получил страх перед автомобилями на всю жизнь и не мог его преодолеть.

Я прекрасно поняла, что произошло. Я поняла, что чудовище в ответ на мой подало свой чудовищный сигнал о том, что оно может не только миловать, но и наказывать. И я решила принять вызов, но теперь уже не рисковать другими людьми.

Одна из саратовских телекомпаний имела передачу со странным названием «Маркиза». Туда приглашали очень известного человека и сначала прятали его, а аудитория должна была по наводящим вопросам угадать, кто сейчас появится в студии. Попасть на такую передачу даже в качест-

* 溺死の恐れ-の水の一部ではありません, *япон.* – боишься утонуть – не входи в воду.

ве гостя было большой честью, так как ее смотрела вся саратовская шэнцзи*. Естественно, я была постоянным гостем этих передач. И вот приехал бывший саратовец, исполнитель песен в стиле samopal** Алексей Слаповский***.

Его довольно быстро угадали, он вышел перед публикой, началось общение: вопросы, ответы. Я подняла руку и спросила:

– Скажите, а как бы вы поступили, если бы чувствовали, что кто-то анонимно вмешивается в вашу жизнь?

– Постарался бы узнать, кто это и что ему нужно, – вполне ожидаемо ответил Слаповский, но именно этого я и хотела.

– А если он скрывается, не хочет встречаться?

Чуть подумав, Слаповский сказал:

– Тогда бы я публично, в газете или прямо вот сейчас, когда нас смотрят, сказал бы: эй, ты, если не трус, перестань прятаться! Рано или поздно ты вылезешь на свет, потому что мало кому интересно строить пакости анонимно. И все тогда поймут, какая ты мелкая сволочь. Я назначаю свидание тебе... – и тут бы я назначил ему свидание в конкретном месте и в конкретное время, – сказал певец.

Я тут же воспользовалась. Глядя в камеру, я сказала:

– Ты трус и подлец, если не перестанешь прятаться. Сегодня же я жду твоего звонка и мы договоримся!

Ведущий, хоть был человек опытный и остроумный, слегка растерялся, но взял себя в руки и вернул передачу в нормальное *(земное продолговатое ложе, где течет река)*.

Звонок раздался тем же вечером. Голос, который я уже слышала, сказал:

– Вас ждут у памятника Столыпину завтра, в восемь часов вечера. Будьте одна. Своему приятелю ничего не говорите, иначе ему будет плохо.

– Ему и так плохо, он в больнице, – напомнила я.

– Надо аккуратнее ездить, – издевательски посоветовал голос.

Письмо двенадцатое

На следующий день без пяти минут восемь я была на Театральной площади у подножия памятника Столыпину, который высился на десятки метров, простирая надо мной руку.****

Я оглядывалась и никого не видела.

---

* Шэнцзи, 省級, *кит.*, – провинция, в данном случае – губерния.

** samopal, *англ., заимств. из русского* – самопал; точное значение неизвестно.

*** Видимо, родственник или двойной тезка классика русской литературы А.И. Слаповского (1957–2064), автора множества книг, пьес, сценариев и хрестоматийно известной эпопеи «Большая книга перемен». – *Прим. изд-ва*.

**** Реконструктивные материалы свидетельствуют: простирал руку и высился памятник не Столыпину, а Ленину. Построенный в 1970-м году, он реставрировался в 2004-м по инициативе губернатора Д.Ф. Аяцкова; во время работ была обнаружена бутылка водки, заложенная во время предыдущей реставрации. Рабочие взяли ее и заложили для потомков новую. Памятник же Столыпину находился поблизости и представлял собой семиметровую скульптуру этого деятеля, славного своими благими намерениями, окруженную фигурами пахаря, воина, священника и кузнеца. В советское время на месте священника поставили бы интеллигента – учителя или врача, в данной же композиции места ему не хватило. По свидетельствам источников, саратовцы к памятникам относились неуважительно: в частности, у священника неоднократно отламывали двухкилограммовый крест и сдавали в пункт приема цветных металлов. Но монументы продолжали создаваться и были оригинальны даже названиями, в частности «Влюбленные» и «Сердце губернии». Неблагодарные обыватели тут же прозвали «Влюбленных» «Памятником однополой любви» из-за невозможности определить сексуальную принадлежность двух отлитых в металле профилей, а «Сердце губернии» – «Инфаркт миокарда», с чем спорил один из местных искусствоведов, по первому образованию врач, утверждавший, что изображено не сердце, а печень, но тоже больная. (Еще интересный факт: эта композиция должна была стать частью творения скульптора Церетели – памятнику →

Я понимала, что совершаю почти безрассудный поступок – но что оставалось делать? Чувствовать постоянную угрозу жизни твоим близким, постоянное наблюдение, чью-то непрошенную заботу? Нет, лучше уж все сразу выяснить.

Две девчушки прошли мимо меня. Пошептались, оглядываясь, вернулись. Спросили:

– Здравствуйте, это вы?

– Я.

– А можно автограф?

– Пожалуйста.

Девчушки заволновались: время было летнее, не школьное, они не носили при себе бумаги и того, чем пишут, у меня тоже ничего с собой не было.

– Сейчас! – закричали девчушки и куда-то умчались.

Зазвонил телефон.

Голос сказал:

– Поверитесь и посмотрите на дорогу. Прямо перед вами машина. Идите к ней, садитесь.

Я пошла к большому черному кару, открыла дверцу, села.

Машина тронулась.

Я увидела двух девчушек, которые бежали к памятнику, размахивая руками.

Возникла странная мысль: по крайней мере, они запомнят, на какой машине меня увезли.

Водитель был отделен непроницаемой перегородкой. А потом и на окна опустились шторки, включился свет, но я теперь не видела и не понимала, куда мы едем.

Это напоминало какой-то дурной жанр.

Через несколько времен машина остановилась. Вокруг было тихо, за исключением звуков диких птиц. Я почему-то сразу подумала, что это лес.

Так и оказалась. Дверцу открыли, я вышла, увидела вокруг высокие деревья.

Человек, который открыл мне, был в маске с прорезями для глаз.

Я засмеялась и громко сказала в пространство:

– Слушайте, это уже просто смешно! Во что вы играете?

Молчание было в ответ.

Меня привели на обычную поляну, где вкопана была в землю деревянная скамеечка. Сопровождающий удалился, я села и стала ждать.

Сзади послышался голос:

– Здравствуйте.

Я оглянулась.

Ничего, только густые кусты и дерево, стоящее среди них.

– Не пытайтесь меня увидеть, – сказал голос.

– Я и не пытаюсь. Как вас зовут?

– Ну, допустим, Степан.

– Что вам нужно?

Невидимый человек хмыкнул:

– Вас, конечно.

– Такими способами вы ничего не добьетесь.

– Я знаю. Но зато других отважу. Мне надо вас сохранить. Сейчас я не могу вами воспользоваться. Мне еще много нужно сделать, а вы, как я понял, лишаете силы тех, на кого смотрите.

– Какие-то мифы дурацкие, – пробормотала я.

Петру I в Москве; предполагалось вмонтировать лестницу, чтобы экскурсанты имели доступ к внутренним органам исторического колосса. Но от идеи отказались, не понадобившееся сердце и было куплено губернатором). Рядом с Лениным в те же годы установили памятник работникам правоохранительных органов, погибшим в борьбе с преступностью и намеревались возвести масштабную композицию «Губерния-мать», но это вызвало негативную реакцию общественности, от проекта пришлось отказаться. – *По материалам ресурса «Поволжье начала 21-го века», сертифицированного в 2223-м г.*

– И тех, кто на вас слишком близко смотрит, – продолжал голос. – Поэтому я страхуюсь. Я не могу сейчас обнаружить себя. Через три года или раньше. Через три года я вас возьму. Я должен это сделать. Я даже представить себе не могу, что у меня не получится. Вы только мне будете принадлежать. Никому больше не позволю, всех поубиваю, всех уберу с дороги.

Эти зловещие слова произносились совершенно спокойным, даже как бы унылым голосом. Человек будто не грозил страшными вещами, а жаловался, что у него насморк и перечислял симптомы. Эта ассоциация с болезнью, Володя, сам понимаешь, родилась не случайно: он, даже невидимый, показался мне больным человеком. И я прямо ему сказала об этом.

– Да нет, – сказал он. – Я здоровый. Даже очень. Просто много думаю о себе, очень честолюбивый. Считаю, что мне должно принадлежать самое лучшее. А почему нет? Почему другие пользуются лучшим, а я – чем попало? С какой стати?

Я размышляла по ходу разговора и понимала, что ситуация тупиковая. Человек явно maniac, раб своей идеи, с ним невозможен диалог. Инстинктивно я понимала, что его нужно успокоить, обмануть, но при этом выкупить себе условия нормального существования.

– Хорошо, – сказала я. – Вижу, вы человек сильный, целеустремленный. Мне это нравится. Но что вы предлагаете? Не жить эти три года?

– Почему? Живите. Только замуж не надо выходить.

– Я и не собираюсь. Но даже если выйду, разве это вам помешает? Разве для вас это большое препятствие?

Голос рассмеялся.

– Ты и вправду умная. Действительно, мне, в общем-то, наплевать, кто у тебя будет через три года, вернее, тогда, когда я смогу выйти перед тобой. Это может быть и раньше. Надеюсь, что раньше. Просто тебе может быть неприятно, если я кого-то уберу. Понимаешь?

– Повторяю, – ответила я спокойно, – у меня нет планов на замужество и вообще на серьезные отношения. Вам, может, говорили, какая у меня вообще реакция на людей?

– Реакция-то реакция, а парень все-таки есть.

– У нас давно уже только дружеские отношения. Могли бы поинтересоваться, а не давить человека сразу.

– Хотел бы я давить, я раздавил бы! – посуровел голос.

– Верю. Давайте все-таки так: пока вы не почувствуете, что можете себя обнаружить, не надо вмешиваться в мою жизнь, хорошо? Не надо мне помогать и тем более вредить. Чего вы добьетесь? Сохранять мою невинность поздно. Стать какой-то совсем другой за эти три года я не успею, да и не хочу. Я буду такой же.

– Тебя за эти три года столько людей перетрогает! – сказал голос.

– Ну и что? Вот картина. Висит в музее. Все ходят и смотрят. Трогают глазами. А потом кто-то появляется, крадет ее, она становится только его картиной. И какая разница, сколько людей ее смотрели, хоть миллион. Наоборот, ее цена от этого возрастает.

– Хорошее сравнение, – оценил голос. – Ты намекаешь на то, что, если тебе не мешать, ты сама сможешь сделать такую карьеру, что будешь на недосягаемой высоте? Откуда мне тебя будет интересней и почетней достать?

Я на это не намекала, но на всякий случай решила промолчать. Будто бы в знак согласия.

– Неплохая идея, – одобрительно сказал голос идиота (а я уже не сомневалась в его идиотизме). – Что ж, бог тебе в помощь. Живи и жди меня.

После этого меня усадили обратно в машину и привезли туда, откуда увезли.

План дальнейших действий я составила, пока мы ехали. Перебраться в Москву, перевестись в столичный университет, воспользоваться для начала помощью Бориса и Лары, принять участие в российском конкурсе красоты (я уже претендентка, будучи местной победительницей), войти в такой круг знакомств, который защитит меня от притязаний неведомого чудовища. Скорее всего, это какой-то мелкий криминальный или чиновный авторитет, влюбившийся в меня. У него уже есть кое-какие средства и кое-какая власть, но, видимо, перспективы еще больше, на них он и

рассчитывает. Три года? Ок, через три года ты не достанешь меня, ты обломаешь руки и ноги на пути ко мне.

И все это, Володенька, я планировала ради тебя: я думала о будущем ребенке – не от Владимира, который был неперспективен и нелюбим мной, как мне казалось, а от того, кто мне встретится через какое-то время. Я была уверена, что встретится. Я много раз представляла его в разных видах, хотя самое приятное было сознавать, что он все равно окажется неожиданным – так всегда бывает. И я его полюблю, и у меня начнется совсем другая душа...

Я продолжала работать, то есть сниматься для рекламы, посещать различные мероприятия, участвовать в приемах на высшем губернском уровне. Традиции того времени, Володя, предполагали, что служебных гостей из центра, то есть из Москвы, после обсуждения деловых вопросов местные руководители обязаны были насладить комплексом развлекательных мероприятий, едой, охотой, женщинами. Владимир, увлекавшийся русской историей, говорил мне, что эти обычаи возникли в так называемую татаро-монгольскую эпоху: русских князей, завоевавший Сибирь, Монголию, Манчжурию и другие земли, в вассальных областях встречали по восточным обычаям – кормили, поили, увеселяли и давали на ночь лучших красавиц. Им это понравилось, они стали требовать того же и в собственных российских землях, куда приезжали гостить.

Конечно же, о том, чтобы использовать меня в качестве ночного подарка, не могло быть и речи. Тут мне защитой был сам губернатор Лев Платипов*, относившийся ко мне по-отечески – может быть, потому, что я напоминала ему дочь, о которой он мечтал и которой у него не было. Платипов был один из немногих, на кого не действовала моя красота. Правда, на него вообще женская красота не действовала. Мужская, впрочем, тоже. В этом смысле он был для меня загадкой. Иногда приходила мысль: не есть ли он то самое чудовище, которое ждет своего часа и боится себя выдать раньше срока? Но чего он, и без того имеющий огромную власть, может еще ждать через три года? Избрания президентом? Это было исключено: с 2000-го года президентов в России не выбирали, а назначали, а Платипов в кандидатурах на назначение не числился. А может, наоборот, он ждал момента, когда станет свободным и снимет с себя постылые полномочия губернатора? На всякий случай я держала себя со Львом Петром ровно, официально – как и со всеми остальными. Я присутствовала на неофициальных мероприятиях приема гостей (то есть хозяев) из центра для создания красоты и атмосферы, как и другие девушки, но, если кто-то из приезжих клал на меня глаз, ему деликатно объясняли, что со мной ничего нельзя – аллергия на физические контакты с мужчинами и людьми вообще, объясняли приезжим, эта аллергия заразна, поэтому вы можете любоваться нашей Диной, но не более того. Подцепить аллергию никто, конечно, не хотел: работа людей, приезжавших к нам, вся была основана на контактах. Лишиться их – лишиться всего, этого они не могли себе позволить.

Но зато, что особенно ценил Лев Петр, с ними становилось легко общаться: глядя на меня, они становились покладисты и уговорчивы. (Я далеко не сразу узнала о смысле такого меня использования.) Поэтому Платипов очень горевал, когда пришлось отказаться от моей помощи после одного неприятного инцидента.

Было это так. Я присутствовала в единственном женском числе без объявления моего статуса, заканчивался день, заканчивались дела, начинался отдыхательный вечер, приезжие расслаблялись, смотрели на меня все жарче и жарче, тут им потихоньку объясняли, что 此花有毒 * и впускали вереницу других девушек, тоже довольно красивых. Распаленные мужчины бросались на них, а я уходила, чтобы не видеть мерзких сцен.

Ты скажешь, Володя: это гадко. То есть – то, как вели себя эти девушки. Но, уверяю тебя, никто их не заставлял и не шантажировал, все делалось по взаимному согласию. Я никогда не понимала, как можно так низко ценить себя, но и не осуждала.

Так вот, однажды к нам заехал Всеслав Байбакян, человек феноменальной биографии. Его способности проявились еще в школе, где он был секретарем коммунистического сомола. «Моя

* Ошибка: Л.П. Платипов руководил губернией с 2018 по 2022 г. – *Прим. изд-ва.*

** 此花有毒, *кит.* – этот цветок ядовит.

правая рука!» – с гордостью говорила о нем завуч по воспитанию. И это выглядело правдой: стройный Всеслав был не толще ее массивной правой руки. Как, впрочем, и левой, об остальном не говоря. С тех пор характеристика «правая рука» так и гуляла за ним по всем его жизненным тропам. В армии ему досталось служить в очень проблемной воинской части, где было три роты, в одной сплошь монголы, в другой украинцы, а в третьей евреи из московских вузов, где не было офицерского военного обучения. Драки и конфликты на национальной основе процветали там. Начальство размышляло, куда распределить новобранного Байбакяна, учитывая, что папа его был монгол, а мама наполовину еврейка, наполовину хохлатка. А вечером в столовой возникло междоусобие, там ужинал и Всеслав, и уже дело дошло до ножей и *(столовых приборов с зубчиками, которыми подцепляют куски еды; я не видела их уже лет пятнадцать – нечего подцеплять, все в виде паст, жидкостей и порошков)*, до кулаков, до стульев, и тут Всеслав вмешался, бросился к одним, к другим, к третьим, со всеми наскоро пообщался быстрыми выкриками – и все уладил, всех усмирил! И не то, чтобы навсегда, нет, через пару недель кто-то кого-то уже опять бил, но это теперь случалось, можно сказать, в запланированном порядке. По крайней мере побиваемые уже не так возмущались, что их бьют: Всеслав сумел им объяснить, что у бьющих на то есть необходимость и моральное право. Через два месяца сам командир части без чьей-либо подсказки назвал его своей правой рукой. После армии, попав в ситуацию развала Советского Союза и возникновения новых форм материально-денежных отношений, Всеслав ринулся туда, где его талант требовался позарез. Государственные и возникшие частные коммерческие структуры, успешно грабя население, не могли доступно объяснить клиентам смысл грабежей, Всеслав брался за это – и убедительно обосновывал, что все делается для блага людей, клиенты расходились если не довольные, то успокоенные. Впопыхах он сам стал главой одного консорциума, но дело не пошло: находясь во главе, Всеслав вместо того, чтобы приказать, рыкнуть, повелеть и кончить на том дело, обязательно растолковывал каждый свой рык и, естественно, терял авторитет в глазах подчиненных, ибо настоящее начальство своих приказаний не комментирует: исполняй, да и все тут. Всеслав понял, что лучше быть правой рукой капитана ледокола, чем главным на речном катере. И начал подвизаться помощником при таких капитанах и на таких ледоколах, что прочие капитаны отдавали ему честь, едва завидев. Байбакян, как никто, умел объяснять случившееся и обосновывать существующее, подводить под это теоретическую базу и организовывать поддержку если не всего населения, то значительных его слоев. Вся жизнь его была сплошным триумфом, сплошным восхождением. И при этом отношение всех окружающих было одинаково приятственным. Да и как иначе: Всеслав и приговоренному к повешенью сумел бы доказать, что повешенье – дело хорошее, правильное, справедливое, что это вообще лучший день в жизни приговоренного, и тот заплакал бы от умиления и полюбил бы Всеслава навсегда – то есть на столько, сколько осталось.

Естественно, монголы, евреи и украинцы обожали его, считая своим, а русским было по тамтаму, им хоть кто наверху в помощниках или в самих властителях; чем чудней, тем лучше.

Что говорить о женщинах! Не было такой, кому Байбакян не сумел бы доказать и объяснить, что она его любит, хочет и за счастье почтет немедленно отдаться. И женщины видели в этом просто действительно какую-то математическую неизбежность. Другой бы устал от легких побед, но жизнелюбивый Байбакян считал, что хорошего много не бывает. Наши желания, в отличие от нефти, относятся к возобновляемым ресурсам! – любил говорить он. И добавлял: 但也吃明天再次！*

Приглашенный в Саратов для торжественного открытия судостроительного завода, Байбакян был, как водится, приглашен в загородное поместье. Охота его не интересовала, к питью и еде он тоже не проявил чрезвычайного интереса, а вот с меня не спускал глаз – довольно красивых, если говорить честно.

– Вы, значит, – сказал, как только оказался рядом, – победительница конкурса красоты?

– Да.

---

* 但也吃明天再次！, *кит.* – сколько ни ешь, завтра опять хочется!

– Вам нужно «Мисс Вселенной» становиться. Сразу же.

– Так не бывает. Надо пройти национальный конкурс, потом континентальный или мировой.

Байбакян махнул рукой:

– Надо будет – пройдем.

Это было днем, когда он осматривал продукцию завода. А вечером подошел ко мне напрямую (остальные тут же отошли в сторонку) и поинтересовался:

– Правда, что ли, у тебя аллергия на мужчин?

– Да. На людей вообще.

– А как же ты сейчас? Я не вижу, чтобы пятнами покрылась или сыпью.

– Приходится пить лекарства.

– Ага. Значит, не до такой степени. Тогда пойдем, – улыбнулся Байбакян.

– Куда?

– В дом. У тебя шанс, Дана.

– Дина.

– Извини. У тебя шанс, Дина. Если ты мне понравишься, я тебе помогу. И хочется же тебе узнать, кого называют лучшим любовником Российской Федерации?

– А кого?

– Меня.

– Приятно, конечно. Но нет. Я не могу. И не хочу, извините.

– Диночка, только время теряешь на разговоры, – укорил Байбакян. – А что не хочешь – врешь. По глазам вижу – хочешь уже.

Гадко было то, что в моих глазах, возможно, это действительно прочитывалось. Но я не могла вот так, без любви, без отношения, чисто сексуально. Я умела владеть собой и сделала свои глаза строгими. И сказала:

– Вам кажется.

Всеслав сказал с легкой досадой:

– Слушай, только время тратим. Не было такого, чтобы мне отказывали. Ни разу. Понимаешь?

– Alles geschieht zum ersten Mal*, – ответила я.

Байбакян был явно обессмелен, но пытался сохранить лицо. Как опытнейший политик он тут же сообразил, что может попасть в непозволительно недопустимое положение, поэтому прошептал:

– Послушай, ладно, бывает: у тебя настроение, месячные, мало ли. Пойдем со мной, посидишь полчасика и уйдешь. Ничего не буду делать, пальцем не трону, клянусь.

У него были человеческие глаза, а голос обнаружил высокую степень просительности, мне стало жаль его, я согласилась.

Мы пошли в дом.

Он впервые там находился, но нашел спальню так же быстро, как кот в незнакомом месте находит *(изделие из мясных ингредиентов, как правило, цилиндрической формы)*, и, едва мы вошли, буквально набросился на меня.

– Дура, будешь счастлива, – бормотал он.

– Я не хочу быть счастливой, – пыталась я отшутиться.

Тут он просто заломил мне руки и повалил на кровать.

Мне пришлось ударить его коленом в область его вожделеющей части тела. Он вскрикнул и упал на пол. Я не стала ждать, пока он опомнится, и вышла.

Меня встретили такими взглядами, будто хотели с чем-то поздравить.

Высоко подняв голову, я прошла мимо этих hännystelijä*.

Платипов не удержался и простодушно спросил:

– Ну как?

---

* Alles geschieht zum ersten Mal, *нем.*, – все бывает в первый раз.

** hännystelijä, *фин.* – холуй, лакей.

– Все нормально, – сказала я.

Всеславу Байбакяну, как и мне, хватило ума не рассказывать о подробностях нашего пребывания в спальне. Поэтому он укрепил репутацию сокрушителя женских сердец, а для меня тоже оказалась неожиданная выгода: большие люди города, раньше точившие на меня свои помыслы, теперь решили, что у меня слишком высокий покровитель. И меня оставили в покое.

Иногда, правда, все-таки случались неприятные истории. Был у нас один деятель, Антон Мутищев, всего лишь начальник какого-то департамента, выпуклочка на ровном месте. Но он сам о себе понятие имел высочайшее. Если Всеславу Байбакяну все давалось легко и талантливо, Мутищев одолевал жизнь натужливо, преодолевая нехватку ума и знаний. Он жил когда-то мальчиком в деревне, бегал с друзьями у реки и однажды увидел: подкатила мягко большая машина в сопровождении других машин, попроще, вышел осанистый мужчина с красавицей-блондинкой, спустились они к реке, блондинка разделась, стройная и гибкая, и мужчина разделся, толстый и безобразный, начали плескаться у бережка, а для них уже и столик ставят, и махорчатые халаты готовят, чтобы после купания не замерзнуть. Маленький Антон стоял, как завороженный, смотрел. И мысленно сказал себе: хочу так, как этот мужик. И начал действовать. Учился, преодолевая свою туповатость и лень, выбился в районные начальники, потом в губернские, огромные труды положил на то, чтобы подружиться с кем надо и съесть того, кто мешает, титанически пробивал себе дорогу, победил неприступную и красивую женщину, молодую солистку театра музыкальной *(того, что смешно)*, взял ее измором, подарками, упорным ухаживанием, построил трехэтажный большой дом – на пределе возможностей, набрав кредитов – чтобы все как у людей, то есть у самых достойных людей. И тут он увидел меня. Это был один из первых моих выходов в высший губернский свет. Мутищев подошел и сказал рухнувшим голосом:

– А ведь, наверно, я хоть в лепешку разбейся, а ты моей не станешь?

– Угадали, – ответила я.

– Ради чего я тогда старался и из кожи лез? – задумчиво спросил сам себя Мутищев в моем присутствии. – Зачем мне это все, если ты моей не будешь? Ты понимаешь, что ты сделала? Я-то думал, что всего достиг, царь горы, а, оказывается, да je за мене гори за друге – цуперак*. Другими словами говоря: da je za mene gori za druge – čuperak**. Зачем мне жить тогда?

И он поехал домой, где нещадно исколотил жену, обругал детей, слякотно обозвал мать жены, а потом закрылся в кухне и стал там пить, открыв газовые горелки. Жена под вечер пришла и, не чуя запаха, потому что Василий ей отбил ударами дыхательность носа, спросила почти ласково, желая примирения:

– Чего в темноте сидишь?

И включила включатель электричества, и тут же произошел взрыв...

Неприятно вспоминать...

Но я все больше вспоминаю, Володечка, моя голова оживает, какая это была славная идея – начать эти письма! Спасибо тебе, родной!

Письмо тринадцатое

Сыночек мой!

Твой тезка Владимир, который мог бы стать твоим отцом, но не стал, выписался из больницы и у нас произошел принципиальный разговор на тему дальнейших отношений. Он сказал неожиданные слова, что, когда побывал на грани смерти, то оценил жизнь и теперь не хочет прекращать свое биологическое существование даже ради меня. Больше того, у него есть теперь с кем жить нормальной половой жизнью, в которой я ему отказывала, и в духовном контакте, которого он якобы со мной не ощущал. С этими словами он позвонил какой-то девушке и пригласил ее в гости, а это было у него дома, куда он только что приехал после больницы – кстати, я же ему вызывала машину-извозницу.

---

* да je за мене гори за друге – цуперак, *сербск.*, – что для меня гора, для других – кочка.

** da je za mene gori za druge – čuperak, *хорват.*, – что для меня гора, для других – кочка.

– Что ж, пусть вам будет хорошо, – сказала я, собираясь уйти.

– Боишься с ней встречаться? – спросил Владимир.

– С какой стати?

– Боишься, что будешь ревновать, – объяснил он.

Я рассмеялась в ответ на это глупое предположение и осталась, чтобы доказать, что мне все равно.

Через половину часа явилась девушка, в которой, естественно, не было ничего особенного, разве что некоторая вродливість*: само собой, что совсем некрасивую Владимир не выбрал бы – чтобы не было слишком разительного контраста со мной. Я узнала ее, она работала в больнице медицинской родственницей, не помню точно, как это называлось. Эта девушка, не помню даже, как ее звали, пусть Маша, так и впиявилась в меня взглядом, но при этом была преувеличенно вежливой, понимая, что враждебности обнаружить нельзя. Зато она сразу подсела к Владимиру, чуть ли ни на ноги ему устроилась и стала спрашивать, как он себя чувствует.

Я с улыбкой сказала, что сейчас он чувствует себя наверняка хуже, потому что девушка мнет ему больные ребра.

Владимир возразил, что ребра у него зажили, а то, что делает пусть-Маша, не больно, а приятно.

– Тогда не буду вам мешать! – сказала я с великолепным спокойствием.

– Да нет, вы не мешаете, – сказала пусть-Маша. – Владимир говорил, что у вас отношения почти родственные. А перед родственниками не стесняются.

Она сказала это с наивно распахнутыми глазами, но я сразу же поняла, насколько сложнодушна эта девица, наметившая себе далеко вперед план поведения и тактики. Но мне это было все равно, я не собиралась играть в эти игры. Я сказала Владимиру, что рада от чистого сердца, что он нашел подругу по себе.

– Что ты имеешь в виду? – насторожился Владимир.

– Ничего.

На самом деле, конечно, он не зря забеспокоился, он понял, что я хотела сказать: 種子和第 **

– На самом деле это вам повезло, – вставила вдруг пусть-Маша.

Это было так неожиданно, что я не удержала удивления:

– Почему?

– Потому что это неудобно – любить человека хорошего, но не очень богатого. Не престижно. Рейтинг падает. Вы себе просто не можете этого позволить.

Ты, Володечка, наверное, ничего не понял бы в этих словах. Да и люди блаженных пятидесятых, когда все научились прямой речи, тоже бесплодно вслушивались бы в тихое гудение встроенного переводчика, который не смог бы перевести это на нормальный человеческий язык.

С другой стороны, в этом была своя прелесть, как ни странно. Был контекст общения, был текст, гипертекст, подтекст, в это интересно было играть и, скажу без вральной скромности, я была в десятые годы не последняя игрица! В самом деле, давай рассмотрим, сколько подтекста смогла подпустить в свой текст даже эта не феноменально интеллектуальная пусть-Маша. «Потому что это неудобно», – сказала она, подразумевая, что для меня удобство превыше всего, удобство же в России традиционно считалось пороком, приметой обывателя, душа которого желает нежиться в полудреме на пуховинах размеренного быта. Эти слова пусть-Маши, как считали в спортивных играх, можно было зачесть как один-ноль в ее пользу. Далее: «любить человека хорошего». Не имея на то оснований, она утвердила, что я люблю Владимира. Два-ноль. Намекнула, что я теряю хорошего человека. Три-ноль. «Не очень богатого». Правильнее было бы сказать – «бедного», но пусть-Маша не дура, разбирается в оттенках: любовь к бедному может сойти за жалость, а не очень богатого любят и вне всякой жалости. Четыре-ноль. «Не престижно». Намек на то, что я ориентируюсь не на истинную цену вещей и людей, а на ту, какую ей назначает социум. Пять-ноль. «Рейтинг падает». Рейтинг, Володечка, эта показатель популярности и продажности людей,

* вродливість, *укр.* – смазливость.

** 種子和第, *кит.* – по Сеньке и шапка.

явлений и событий в политике, индустрии массовых развлечений, светской жизни, искусстве и так далее. В начале двадцать первого века самым выгодным было выставлять на рынок не концерты, шоу, фильмы, передачи и т.п., а – самих себя. Минимум вложений – максимум отдачи. Некоторым людям платили огромные деньги лишь за одно присутствие на том или ином мероприятии. Платили, да, и мне, но я ничуть этого не стыдилась: визуальные ощущения людей всегда стоили денег, а я была не самым плохим объектом для визуального, как выражались тогда, кайфа. Тем не менее, пусть-Маша все же кольнула тем, что я будто бы забочусь об уровне своей продажности и готова переступить через человека, если он мешает повышать этот уровень. Шесть-ноль. «Вы себе просто не можете этого позволить» – уже не намек, а прямое утверждение, что я не могу жить так, как хочу. Семь-ноль, разгром наголову!

Но эта девушка не знала, как я умею отыгрываться!

Почти без паузы, мягкими словами, но четко впечатывая их – так кошка идет по песку – я сказала ей:

– Вы меня уличили (намек на то, что она не имеет на это никакого права, семь-один), я действительно много не могу себе позволить: ездить в метро (семь-два), ходить по улицам (семь-три), одеваться во что попало (семь-четыре), покупать дешевые духи (она вся облилась чем-то, отбивая от себя запах больницы, семь-пять), соглашаться на любую работу (в отличие от нее, семь-шесть), страшно радоваться, если мне наконец подвернулся приличный человек (семь-семь), не могу даже главного: унижаться ради того, чтобы меня заметили, оценили, взяли замуж! Восемь-семь, девять-семь, десять-семь, полная моя победа и полное ее поражение.

Она, бедняжка, даже приоткрыла рот от беспомощности.

Но я не стала слушать звуки, которые могли вылететь из ее рта. Я вышла.

Сегодня, Володечка, эта победа не кажется мне такой уж безоговорочной. Я могла бы сработать и потоньше – еще не было навыка, опыта, тренинга.

Но что сетовать, если это потом исчезло за ненадобностью. Люди начали говорить, что думают: системы интеллектуального сканирования все равно не позволяли им врать. Они могли включить защиту, но это сразу вызывало недоверие у тех, кто с ними общался. И потом, чем вызывались все эти архаичные подтексты, дуэли, все эти игры женщин перед мужчинами, а мужчин перед женщинами и перед друг другом? Желанием доминировать. Стремлением быть первыми в стае, стаде, своре, сваре. Когда же настало фактическое равенство, когда возможности каждого стали почти безграничны, исчезло желание хвастать этими возможностями. Правда, некоторые утверждают, что именно это привело к катастрофе: отсутствие соревновательности, атрофия честолюбия, отмирание инстинктов. Я так не считаю. Ошибки были техногенными. А равенство – вещь замечательная. При этом я не какая-нибудь коммуниздка или как это, не помню, просто я значительную часть жизни была именно неравной и, поверь, Володечка, это очень трудно, очень. И снизу неравной быть тяжело. А сверху – еще тяжелее.

Ты не поверишь, но я испытала облегчительное чувство, когда увидела эту пусть-Машу. Несмотря на наш маленький конфликт при встрече, она показалась мне девушкой хорошей, подходящей для моего Владимира. Все-таки перед людьми, которым не взаимствуешь на их любовь, всегда чувствуешь виноватость.

Главное же, рассуди, Володечка: перед невидимым лицом невидимой угрозы, то есть человека-чудовища, которое собралось меня сожрать через три года, мне нужна была настоящая защита – ради моих детей в том числе, то есть и ради тебя, Владимир такой настоящей защитой быть не мог. Да, хороший, добрый, мягкий человек, но... Но именно такие, будем глядеть правде в глаза, именно такие и те, кто с ними были, первыми погибли во время Великого Кризиса семидесятых.

Вернемся к событиям.

Настало время всероссийского конкурса красоты, который сыграл огромную роль в моей жизни и о котором нужно рассказать отдельно.

(Продолжение следует)

Геннадий КАНЕВСКИЙ

* * *

если долго сидеть на берегу реки,
мимо тебя проплывут твои живые друзья,
моисей в корзине, ржавые тростники,
пятая батарея, тусклая бирюза.

если долго стоять по пояс в воде –
будут тебя искать, нету тебя нигде.
проплывают звонки знакомым,
проплывают их голоса:
«видели отражение в зеркалах»,
«слышали, как взвизгнули тормоза».

если медленно опуститься вниз,
мимо тебя проплывет твоя тихая жизнь.
только не закрывай глаза.
только не закрывай глаза.

[мембрана]

коле звягинцеву

пищит земля в кулаке ребенка –
мы уж и радоваться перестали.
устала дороги тонкая пленка
от перемещений по горизонтали.
но вновь и вновь иглу опускают,
и запоет мембрана, вздыхая,
о старом чайнике с надписью scarlett –
ведь чаю хочет о' каждая харя.
слушайте, слушайте вести благия:
ложный стыд и коньки отбросив,
«у самовара – я и мария» –
поет иосиф, поет иосиф.
культ его личности не развенчан,
и самолет его не опознан.
на фюзеляже – сеточка трещин,
белые звезды, алые звезды.

Геннадий КАНЕВСКИЙ родился в 1965 году. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Редактор журнала «Новости электроники». Публикации в журналах «Воздух», «Волга – XXI век», «Знамя», «Октябрь», «Новый берег», в сборнике «Другие возможности» (2004). Автор книг «Провинциальная латынь» (2001), «Мир по Брайлю» (2004), «Как если бы» (2006), «Небо для летчиков» (2008). Лауреат Петербургского поэтического конкурса им. Гумилева (2005).

* * *

остановись. послушай свысока.
не все тебе платоны и декарты.
я новичок. я гость издалека.
я бедный странник без кредитной карты.

я россыпью. меня легко в горсти.
без прозвище. без звание. без имя.
слыхали вы, как тут поют дрозды,
где за спиной крылами – амнезия?

поспеет к кофе радостный пострел,
глотать газетный спорт и умный кризис.
его еще не убрана постель,
а он уже литературный критик,

но утром птица легкая строка,
но листьев тень прозрачная, сквозная.
возможно, дрозд. я гость издалека,
и местных птиц я голоса не знаю.

chapel hill,
north carolina,
23/09/08

[locus amori]

* * *

1.
мистер мистер видели капоэйру
видели хабанеру двадцать крузейро двадцать
знаете слово двадцать бросьте свой разговорник
у вас на лице шрамы на груди роза на руке гибель
зря ли всю жизнь гадаю кручу сигары
пою на лету песни смеюсь на ходу звонко
все ваши казармы ничего не стоят
даже и с капитаном

2.
вот ты какой стал: на погонах – лычки, ищешь за деньги меж женских ног
то, что я в детстве даром давала тебе не раз.
не позабудь своей сестрички грубое имя пеппидлинныйчулок.
они говорят «суок», но это для краткости и для отвода глаз.
в окнах генерального штаба закатное солнце блестит,
скрывая горящие днем и ночью лампы близкой войны,
и вместо чтобы сквозь зубы цедить «субретка» и «травести»,
лучше утри-ка сопли да подтяни штаны.

3.
она у белорусского вокзала
впервые стала той, кем он хотел
ее давно, три месяца знакомства,
услышав речь не мальчика, но мужа –
не девочкой, но мужнею женой,
где съемная квартира, за стеной
ребенок плакал, через три подъезда
бутырская тюрьма, ее увидев
он ежился, она смеялась, гладя
его по свежестриженой, сперва
пыталась распрощаться, испугавшись
его любви, но он не отставал,
уже не мог, коктейль и стопка водки
в кафе, но знала, что произойдет,
запутавшись в неловких простынях,
чуть вскрикнув, словно лампочка, включилась,
сияя не неоновым – дневным,
и если хоть одна тупая мразь
тут скажет...
что ты, что ты, успокойся,
все хорошо, мой милый, я с тобой.

* * *

школьницы вчерашние в туфельках потных
легкий квест от твоих невест
воробей роршаха угаданный в пятнах
перелетает с листа на лист
перелетает разбрызгивает краски
дважды расставались а все невдомек
пальцы дрожали еще на белорусской
вот и мигает пропущенный звонок
так и проморгаешь золотую осень
оси и семнадцать рубиновых камней
точность хода мелодичность песен
хруст
хлебобулочных
ше
сте
рен

[считалка]

жене беркович

тот, на ком кончается счет, выходит вон,
в темное кармическое пространство без слез и соплей.
не сразу привыкает к нехватке кислорода.
постепенно заставляет себя вдыхать на счет «три».

«ничего,» – уговаривает сам себя, – «ничего,
вон те мерцающие вдали предметы непонятной формы –
это наверняка эники-беники-сиколеса;
кваканья квинтер-жабы в разреженном воздухе почти не слышно;
царь и царевич с золотого крыльца – свои люди, мухи не обидят;
немца, выходящего из тумана с ножом,
можно обойти по краю созвездия волопаса;
обезьяна чичичи готовит астронавтов на промежуточной базе;
звездочка, упавшая на нос гитлеру в сорок пятом –
вообще уникальное явление с вероятностью близкой к нулю…»
и по мере того, как земля превращается в сгусток воспоминаний,
в точку на дальнем краю вселенной –
сознание наполняется теплой летней ночью
на хуторе под ростовом,
животное собака всхрапывает во сне,
птица воробей, прикрыв глаза пленкой,
чирикает что-то невнятно,
но что – разобрать нельзя.

* * *

плотно укутана в прозу
жизни последняя треть.
пили коньяк на морозе.
снег опасался скрипеть.

после в твоей праворульной
«хонде» – вдоль белых аллей,
чтобы от службы патрульной
нам оторваться скорей.

тени, лесные опушки,
пятна, бензин на нуле,
ночь на воздушной подушке,
время на антикрыле,

белый простреленный китель,
деньги, красотки и джаз –
все, что columbia pictures
в детстве хотела от нас.

[бухта]

я буду последним из тех, кто возился с вами,
читал вам книги, сражался в двадцать одно.
когда меня вынут отсюда вперед ногами,
откроются люки, и судно уйдет на дно.

размытые буквы всплывут из дальних отсеков,
соленая рыба и смерти тугой запас,
и если кто-то напишет «ловец человеков»,
то это будет не про меня – про вас.

и вот вы стоите передо мной, как будто
от шага до шага – звонкая тишина.
вы водите пальцами по облакам над бухтой,
и вся их цепочка становится нежива.
ходили до ветра. сухим сохраняли порох.
держали руки скрещенными от беды.
(пейзаж. фотовспышка. звук. тараканий шорох.
колодцы света. каменные сады)

Наталья РУБАНОВА

Лето в городе
(из цикла «Неуютные сюжеты»)

Яковлев – последнее время его называли все больше по фамилии: он незаметно для себя и свыкся (что ж, слева – як, справа – лев, не подкуешь) – чувствовал, будто его заворачивает в какую-то воронку, будто он, скрученный чем-то горячим и липким – тем самым, чему названия нет, – ухает в густой белесый кисель бездонного пространства, которое, если *отпустить* себя и приглядеться, ни к месту напомнит «аппендицитную» трубу того самого заводика, что стоял когда-то неподалеку от их школки. Труба непрестанно дымила, форточки в кабинетах не открывали, а молодая химичка – тайная (девы) и явная (вьюноши) любовь старшеклассников – рассказывала о Любе Менделеевой, опуская впрочем, подробности, которые могли бы «смутить детей».

Яковлев, сидя за последней партой, считал минуты – ведь когда прозвенит, наконец, этот дурацкий звонок, он, о чудо, окажется *на свободе* – пусть иллюзорной, временной, понарошной, и все же: он, Яковлев, а не кто-нибудь еще, *именно он* выйдет – нет, не так: выбежит! выстрелит! вылетит! – из желтушного этого здания, за пределами которого уже не нужно доказывать свою силу для того лишь, чтоб тебя не назвали «слабаком» («гондоном», «вафлером» и пр. и пр.), или стоять у доски под прицелом тридцати пар чужих – малоинтересных для него – глаз, да делать вид, будто ты п р о з р а ч е н: впрочем, о реальности Цинциннata Ц. Яковлев тогда не подозревал.

Школка та – детская микромодель взрослого ада – инстинктивно вызывала у него отторжение, причем на самом простом – физиологическом – уровне осознания: каждое утро, безнадежно косясь на будильник, Яковлев чувствовал, как к горлу подступает тошнота, и мечтал о том лишь, чтоб заводская труба, из-за которой в классах всегда было душно (откроешь окно – отравишься), каким-нибудь волшебным образом в з о р в а л а с ь, а вместе с ней на воздух, глядишь, взлетела б и их «средняя», но – увы: до диверсий еще не дошло, «в Союзе все спокойно...», о тротиле prostie sovietskie grazdane и слыхом не слыхивали: всему свое время. Училок Яковлев, впрочем, не ненавидел – как-то так с ранних лет пришло понимание, что ненавидеть можно лишь тех, кого хотя бы отчасти уважаешь: он же, на свое счастье (экономия нервов и сил), искренне презирал всех этих, скучных в своей предсказуемости, расплывшихся теток, сделанных будто по трафарету (нарочито строгий взгляд, унылая внешность – и фальшь, фальшь во всем, всегда, везде; исключение составляли лишь химичка да физкультурница, ну и, конечно, практикантки, не успевшие обабиться; Яковлеву так и хотелось крикнуть им: «Бегите, бегите отсюда, пока не поздно!» – однако в горле стоял ком: студентки же с любопытством поглядывали на «нестандартного» ученика, но и только), а потому не испытывал по отношению к ним хоть сколько-нибудь сильных эмоций. С и л ь н ы е растрачивались на д и к а р е й из враждебного Племени Одноклассников, с которыми бился Яковлев смертным боем, один против если уж не всех, то обычно как минимум двоих-троих (что такое *честная драка*, дикари не ведали) – и нельзя сказать, будто всегда проигрывал: спасибо тренировкам – самбо, три раза в неделю: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», это-то уж он усвоил...

Наталья РУБАНОВА родилась в Рязани, живет в Москве. Член Союза российских писателей. Журнальные публикации (проза, стихи, эссе, критика): «Меценат и Мир», «Знамя», «Волга – XXI век», «Урал», «Крещатик», «LiteraruS – Литературное слово», «Октябрь», «Вопросы литературы». Книги прозы: «Москва по понедельникам» («Узорочье», 2000), «Коллекция нефункциональных мужчин» («Лимбус Пресс», 2005), «Люди сверху, люди снизу» («Время», 2008).

Яковлев бил *врага* истово, от души, порой с яростным наслаждением (он, бедняга, еще не понимал, что битва эта будет длиться вечно, только лишь перейдет с физического плана на ментальный), – а врагом считался каждый, посягнувший на его свободу (точнее, то, что Яковлев под ней тогда подразумевал, а именно: неприкосновенность его тела и личных вещей, а также в о л ь н о с т ь в выражении мыслей – именно потому и оказывался неизбежно в меньшинстве: эти, казалось бы, абсолютно нормальные вещи, представлялись *человечкам*, что были парализованы страхом перед наказанием Стада, возмутительными – на бессознательном пока еще уровне (все, впрочем, впереди): как так? не юлит, не «стучит», не боится, девчонок за хвосты не дерет, после уроков сразу за угол – только его и видели: ВИНОВЕН!). Особенно жестокими были *сражения* – публичная демонстрация полного беспредела – с пионеришкой по фамилии Крюков: коренастый, с квадратной головогрудью, он имел железную хватку и вцеплялся в противника подобно бойцовскому псу, готовому драться насмерть – кровь из носа шла у обоих постоянно, синяки цвели пышным цветом – не обошлось, разумеется, и без сломанных конечностей: Яковлев долго ходил с перевязанной левой рукой и очень сожалел, что, в отличие от Крюкова, у которого оказалась сломана правая, ему «порвали» не «рабочую» – тогда можно было бы не делать уроки.

«Шрамы украшают мужчину!» – не очень-то искренне утешал отец ахающую мать, когда та в очередной раз заламывала руки и трафаретно причитала: «Ну в кого ты такой уродился! Все люди как люди, а ты... Вон у Семеновых парень – ангел, ангел же! Ну, чего опять не поделили?..» – «Достоинство», – очень серьезно и очень тихо ответил однажды Яковлев, и мать, впервые в жизни посмотрев *на кровиночку* с неподдельным изумлением, не свойственным стандартной живородящей самке, больше ни о чем не спрашивала и пятаков медных к шишкам не прикладывала: сам, пусть сам разбирается, *коли шибко умный* – он, собственно, был только за.

Родители развелись, когда Яковлеву исполнилось тринадцать, через день после его дня рождения, пятого ноября (компенсация «морального ущерба» – долгожданный, всеми кривдами выпрошенный-таки фотоаппарат): «Ну вот ты и вырос. Больше уж *из-за тебя* мне э т о г о терпеть не придется», – выдохнула нервно мать, давным-давно называвшая отца не иначе как э т о т, и, быстренько прошлепав в ванную (*старые тапочки*, Яковлев разглядел их будто впервые, *очень старые, тусклые*), надолго там заперлась: сквозь шум воды слышны были ее с трудом сдерживаемые рыдания, однако острой жалости Яковлев в тот момент не испытал – хорошенькое дельце: оказывается, п р е д к и (новое слово в его лексиконе) терпели друг друга столько лет *из-за него*... Как будто он их об этом просил! Нет-нет, меньше всего он хотел связывать их собой... навязывать себя вообще кому бы то ни было... Если же следовать «логике» взрослых, получалось, что он, он, и только он один кругом виноват!.. Виноват уже потому (это, разумеется, не проговаривалось, потому как никогда не осмысливалось в полной мере ни отцом, ни матерью – «простые люди», «домработапрограммавремя», «не до глупостей»!..), что родился, что якобы в ы б р а л их – эту чужую неяркую женщину и такого же чужого скучного мужчину для того, чтобы отработать собственные *кармические должки*... Однако каким-то шестым чувством Яковлев улавливал во всем этом страшный подвох – да что значит «из-за него»? Кто так решил? Почему его обвиняют в том, о чем он даже не помышлял? За что косвенно – это особенно больно – наказывают, искусственно навязывая чувство вины? (страшный, на самом-то деле, грешок, «незнание законов не освобождает от ответственности...» – но о том ему расскажут позже, гораздо позже).

Яковлев долго разглядывал в тот вечер узоры на мутноватых стеклах захламленной лоджии (зима была ранняя – и на редкость лютая), однако линии не торопились *показаться*, как обычно бывало, хоть сколько-нибудь «волшебными» – нет-нет, они напоминали, скорее, невыносимо реальную «решеточку» каких-нибудь мирзачульских дынь, которыми его перекормили однажды в детстве (из лучших, разумеется, побуждений) – его рвало, в глазах темнело... tut i skazke konez: на утвердительный вопрос отца «Ты же остаешься с н е й?», Яковлев мотнул головой и уставился в пол: «Поеду к деду с бабой» – родители долго уговаривали его *не дурить*, а когда, после нескончаемых препирательств Яковлев сказал, что не хочет «оставаться с людьми, которые всю жизнь ему и себе врали», неловко переглянулись и отстали.

Так он оказался в Ясеневе: край света, конечно, до школки на Космонавтов почти полтора часа, до ДК, где он тренируется, – час пятнадцать, зато какой парк рядом! Яковлев любил бродить там с новеньким фотоаппаратом – иногда ему начинало казаться, будто мир реален лишь в объективе, а то, что вне «глазка» – фикция, игра, обман зрения: да так оно, наверное, и было.

Дед с бабой встретили кровиночку не чтоб нерадостно, но без особого энтузиазма: на старости лет они, освободившись от детей (долго же пришлось ждать, пока те вырастут!), наконец-то поняли, что такое жить для себя – да и вообще *кое-что поняли*. Дед, оттрубивший полжизни «в точке, которой нет места на карте», ежедневно радовался, как ребенок, отсутствию звонка; бабушка же, лет сорок честно боровшаяся с гнилью на чужих зубах, умиротворенно разводила цветы, неподвластные кариесу – они занимали всю ее комнату (бегонии, фиалки... как назывались остальные, Яковлев не запомнил) и полкухни (алоэ, глоттифиллумы, седум – в общем, одни суккуленты да кактусы), на которой и выделили Яковлеву спальное место – освобождать большую комнату (как называла ее бабушка, «зал») никто не собирался, да он и не просил.

Вскоре его перевели в новую школу – поближе к улице Паустовского: ребята встретили новенького настороженно, но в целом неплохо, а узнав, что тот занимается самбо, зауважали: это, на самом деле, не слишком обрадовало Яковлева – а ну не будь у него силы, что тогда, *камнями бы забили*?.. Уже тогда задумывался он о «несправедливости мироустройства», о том, что лишь «физическое преимущество» и «власть» – Яковлев еще не понимал, над чем именно – дают человеку неоспоримое превосходство, позволяя чувствовать себя в безопасности и манипулировать другими.

Долгое время он привычно ожидал от окружающих какого-либо подвоха, «ножа в спину» – однако ни того ни другого, как ни странно, не последовало, и он внутренне успокоился, словно бы оттаяв, хотя, конечно, не сразу. Особенно же удивили его педагогини – вкусно пахнущие, хорошо одетые, улыбчивые (поначалу он даже щипал себя за руку, пытаясь удостовериться, не снятся ли ему эти феи) и, как ни странно, одноклассницы, явно заинтересовавшиеся Фотографом – кличку эту Яковлев получил в первый же день, щелкнув своим «ЛОМО» здание школы. Что сказать? Она пришлась по душе.

После уроков Яковлев сбегал обычно в парк, к прудам – подолгу примеривался-прицеливался к каждому кадру, пытаясь поймать нечто «неуловимое»: то, что до него, как он думал, никто не видел. Поиски сюжетов затягивали; фотоаппарат стал продолжением не столько руки, сколько самого пульса, биения сердцевины его жизни, в которой, будто в капле воды, отражался целый мир – не важно, находилась ли в объективе церковь Петра и Павла, Лысая гора или самые обыкновенные, но «обыкновенные» лишь на первый взгляд, ясеневские деревья. Что огорчало, так это деньги – пленка, растворители, все эти «причиндалы», как говорила бабушка, стоили если не слишком дорого, то и недешево: Яковлев, мечтая поскорее вырасти, непременно представлял себя богатым – тогда, он понимал, можно будет не думать о количестве кадров, да *много о чем* не думать!

Как-то, вернувшись из школы раньше обычного, он услышал доносящееся с кухни ворчанье: «...один увеличитель сколько стоит... никаких алиментов не хватит... а ведь еще есть надо... ест-то, поди, не раз в день...» – не долго думая, Яковлев хлопнул дверью и, не став дожидаться лифта, быстро-быстро сбежал вниз по лестнице. Знал он только одно – оставаться с родными, попрекающими тебя куском, омерзительно... Вернуться к родителям? Но кто такие «родители»? Мужчина и женщина, обманывавшие его много лет?.. Люди, которые «жили для него», хотя их об этом никто не просил?.. А, может, стоило попробовать жить *для себя* – глядишь, веселей вышло б?.. Яковлев едва не плакал – деваться было действительно некуда; в парке-то не проживешь, даже если раз-другой переночуешь и жив останешься: зима!.. Вот оно, *несовершенство тела* – сжимай кулаки, не сжимай, все едино: придумать-то ничего нельзя, ничегошеньки! Он «еще маленький», и у него нет «самого главного»: денег. «Есть ли на свете что-то более унизительное, нежели

зависимость?» – спросил он сам себя и, нащупав спасительную соломинку, схватился за фотоаппарат: на миг отпустило... Да, его Друг был и впрямь хорош – а главное, безупречен в своем молчании: Яковлев старался не думать, сколько тот стоит и сколько ему, Яковлеву, предстоит еще *перетерпеть*, чтобы снимать то, что он хочет – когда хочет и сколько хочет.

Как назло, под вечер ударил мороз – Яковлев грелся в метро до тех самых пор, пока какой-то мент не стал на него коситься. В кармане не без издевочки звенели тридцать копеек; Яковлев купил жетон и поехал почему-то на Ленинградский – пересидеть, но что именно?.. Разве можно «пересидеть» на вокзале саму жизнь?.. Разве можно за одну ночь изменить «все на свете» – на е г о свете? О том, где он окажется завтра, Яковлев старался не думать. Впервые в жизни так остро пронзило его осознание собственной ущербной никчемности; бегство, понимал он, не панацея – рано или поздно придется вернуться и, что еще хуже, «держать ответ». Но куда в е р н у т ь с я?.. К кому?.. Ждут ли его *на самом деле*, или привычно «прикидываются», боясь показать истинное лицо?.. У отца, как выяснилось, «новая женщина», возвращаться же к матери, которую в глубине души Яковлев все-таки любил, было почему-то с т ы д н о... (интересно, выбросила ли она свои старые тапки? Почему-то при воспоминании о них на сердце потеплело – когда он вырастет, обязательно купит ей новые, да, новые... только вот когда он вырастет – да и вырастет ли?.. Не загнется ли сегодня от холода?.. А, может, это и к лучшему?..).

Пальцы ног одеревенели, руки окоченели, нос покраснел и предательски «хлюпнул». Теоретически, размышлял Яковлев, можно напроситься в гости к Мишке, но скажут его родители? Нет-нет, он, пожалуй, помучает с в о и х, быть может, даже как следует напугает... пусть подумают, перед тем как обвинять человека в том, что он еще *не вырос* – на самом-то деле (Яковлев был уверен!), их упреки можно перевести «с русского на русский» именно так!.. Мишка, да, Мишка... Много это – или мало? А есть ли у него друзья, которым он интересен не только «с точки зрения самбо, фотографии и списывания контрольных»? Мишка, да, Мишка... Больше, пожалуй, и нет никого... У Мишки родители геологи, постоянно в разъездах, он тоже живет с дедом и бабой – любопытно, считают ли они, н а с к о л ь к о Мишка н а е л? Яковлева потрясывало, к тому же, очень хотелось есть. Он купил в буфете какую-то мерзлую булку, машинально начал жевать, а потом прошел в зал ожидания и, найдя свободное местечко, под гул голосов задремал.

Проснулся он от резковатого толчка: «Эй, подвинься! Тесно, – высокий худой парень лет семнадцати пихнул его в бок. – Не спи, замерзнешь! Ты че, один тусуешься?» – «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...» – получилось не смешно. «Ясен пень, – парень хлопнул ладонью по коленке. – А я хотел к друганам поехать, да они, козлоеды, на дачу свинтили, бухают с телками. От мамаши свалил, называется... сиди теперь тут... хоть обдрочись...» – «Почему свалил?» – «Да сука она нереальная! Каждые выходные новый ебарь у ней...» – «Кто?» – «Ебарь, ебарь. Ебарь новый. Каждую неделю новый ебарь! Не могу их видеть уже. Квартира однокомнатная, меня на кухню – и понеслось...» – «Что – понеслось?» – переспросил Яковлев, а парень как-то странно покосился на него и з а р ж а л: «Да ты, старче, невинен, аки ангел! Понеслось – значит...» – подробности насчет того, что именно п о н е с л о с ь, и в какой последовательности, не поразили воображение Яковлева, и тот, выслушав, задал только один вопрос: «Тебя как звать-то?»

Звали парня Жэкой, учился он в ПТУ и, разумеется, з н а л н а с т о я щ у ю ж и з н ь не понаслышке – знал, впрочем, довольно однобоко: «Прикинь, как я тут с одной зажег?..», «Прикинь, сколько мы тогда выжрали?..», «Прикинь, сколько жратвы халявной?..» – Жэка, впрочем, оказался неплохим, пусть и грубым, рассказчиком; «запретные» детали «взрослой» жизни, сдобренные вполне традиционной обсценщиной, возбуждали в Яковлеве здоровое в этом возрасте любопытство – потому и слушал: раньше он никогда не общался с *пэтэушниками*. «Бросай свою школу, приходи к нам – знаешь, какие у нас девки? Закачаешься! Да ты, небось, – Жэка снисходительно, как-то сверху вниз, посмотрел на Яковлева, – еще *не одну*, а?..» – Яковлев неловко пожал плечами и, увидев прямо перед собой лицо К., неожиданно улыбнулся: так же явно видит он его и сейчас,

двадцать лет – как один день, что правда то правда. Правда и то, что в черной лаковой папке, задвинутой в самый дальний угол антресоли, лежат ее фотографии... «Ты чего завис, от жары? Курить, говорю, пойдем?» – коллега (дурацкое, дурацкое слово! Яковлев постоянно об него спотыкался – однако *сослуживец* или *сотрудник* еще хуже, поэтому пусть, пусть так) тронул его за плечо. Яковлев же, выплюнутый воронкой воспоминаний в «объективную реальность», покачал головой и уткнулся в монитор – сегодня он еще не заходил на рабочую почту, п о н е с л о с ь: «посмотри на прелестных малышек», «откровения сладких красоток», «поклонницы огромных членов на охоте», «тугие дырочки безотказных шкодниц», «неистовый секс в офисе», «эти звезды не знают запретов», «негритяночки кончают на твоих глазах», «для ценителей студенческих кисок», «познакомься с развратными крошками», «отличное видео с раскованными девками», «самые грязные и жестокие оргии»... Привычно удалив спам в корзину, Яковлев посмотрел на часы: 2.45 до конца отсидки, «порнушные мультяшки» – *да сколько ж вас!* – пять недель до конца лета: а все-таки, на расстоянии уродливые ряды представляют собой довольно гармоничные сочетания, вот и весь «абсурд», – но только на расстоянии.

Жарко, невероятно жарко – скорее даже не жарко, а душно: и вот, безвоздушье это, накрывая Яковлева властной своей ладонью, превращается уже в оцинкованный тоннель, наполненный чем-то белым – это б е л о е напоминает жидкий парафин, по которому-то и нужно: течь? плыть? Он тонет, ежесекундно тонет в горячих и липких волнах, не зная, нужен ли ему б е р е г и хочет ли он куда-то п р и с т а т ь, да и стоит ли п р и с т а в а т ь? Так ли это необходимо? Быть может, надо действительно *отпустить* себя и позволить мыслям лететь, куда им вздумается? Тень же, плывущая рядом, постоянно трансформируется, образуя некий символический круг: русалка–бабочка–птица–гетера–русалка – тень игры молекул и розовой эссенции, тень муксуса, бергамота, фиалки и мимозы, тень его опьянения и запоминания: на самом-то деле, фенол-этиловый спирт, запах увядающих роз – «сама их смерть таит благоуханье»*, и – заросли черники, кольцо лип, обомшелые сосны, лозняки и стога, развалины водяной мельницы вблизи озера, островерхий фронтон, парадная зала, в которой терзался гений, поцелуй ведьмы в часовенке душ, *и еще, еще один*, цветная смальта чувства – все в дьявольском желании овладеть не только своим, но и ее отражением: тургеневская девушка? дама пик? иррациональное число как корень уравнения золотого сечения (глаза) – высшего проявления структурного и функционального совершенства целого (силуэт) и его частей (части тела...)? О, как хотелось спрятаться ему тогда за щеколдой слов, как хотелось! – однако лучевая болезнь, вошедшая в сердце вместе с невидимой стрелой, пущенной от занебесной (фа-мажор!) скуки кривокрылым амуром, скосила: превышение естественного фона излучения не было, конечно, смертельным, однако суммарная доза радиации, так скажем, значительно превышала допустимую. «Доза радиации, – уточнил пасторальный шалун, – определяется по показаниями датчиков излучения, дозиметров», – в тот самый момент, когда Яковлев чуть было не услышал окончания этой странной фразы, его, отставшего от группы (он снимал вид на реку), и позвали, выдернув из волшебного сна: «Продолжение осмотра, не отставай!» – «Вот так всегда...» – буркнул он, не подозревая еще о том, что т а к действительно будет в с е г д а (ну или почти) – и все эти сказочные города-веси, каждый камешек которых хочется разглядывать, а у каждого дома – стоять подолгу, исчезнут из поля зрения раньше, чем успеешь запомнить внятно их очертания: «автобус будет ровно в семнадцать сорок...». Да что говорить! Взять тот же Финский – Яковлев лежал когда-то у воды, подставив лицо закатному солнцу; ему казалось, будто он растворяется, срастаясь с камнями, а перед глазами мелькали те самые миражи таинственных существ, которых помнил он с самого детства, и о которых никому не рассказывал... «Собирайся, сколько можно валяться?» – мать, как обычно, все испортила. ...*продолжение осмотра*, да-да, он в курсе.

---

* *Шекспир, 54 сонет.*

Михайловское ему как-то не приглянулось, а вот в Тригорском поразил парк – «какие кадры п р о п а д а ю т!»: пока экскурсовод заученно-флегматично рассказывала об усадьбе, Яковлев кивнул К. и покосился на дверь. «Что ты хочешь?» – спросила К., когда они выбрались из дома-музея. – «Снимать тебя», – честно признался Яковлев и легонько сжал ее ладонь. Итак, первая «фотосессия»: на мостике, у «дуба уединенного», за банькой, в беседке, у пруда с водяными лилиями – там, под высоченной липой, он и сорвал поцелуй ведьмы: она не отстранялась, только повторяла: «Это понарошку, понарошку! Вся жизнь понарошку!» – и от собственной смелости то ли смеялась, то ли плакала, а потом долго-долго, до мурашек в кончиках пальцев, покусывала его, чуть кровоточащие с непривычки, губы.

Сказал бы Яковлев в тот момент, что девочка эта обладает эффектом «свечения изнутри»? Назвал бы ее лоб «античным», кожу – «мраморной», а скулы «рельефными»? Персефоной или Афродитой явилась она ему в заповедном парке, куда Яковлева тянуло все годы п о с л е?.. Хотя, почему «или», когда любовь и смерть, как день и ночь, – лишь две стороны одной медали?.. Бежаааать!.. От мертвых потиров и потирчиков, лоханей и дискосов, напрестольных крестов и кадил, от венцов, от списков века осьмнадцатого и икон, от пик, протазанов и пальников, от кирас, арбалетов – ото всех этих налокотников-нарукавников-шлемов-кольчуг мчались они наутро, оставляя позади бывшие купеческие палаты: «Ненавижу музеи», – выдохнула, наконец, К. у монастырской стены и, дотронувшись до груди Яковлева, сделала надрез: так на ее ладони выпало его *всамделишное* сердце, так она, жонглируя им – «Горячо! Ух ты!» – перебегала с улицы на улицу, переносилась из лета в зиму, перелетала с планеты на планету, пока, наконец, не выронила и не наступила на него... Плюс тридцать: кошмарные сны городских сумасшедших, не обремененных дачами, – Яковлев вспомнил, что забыл открыть на ночь балкон и, встав под холодный душ, стал насвистывать: «Сегодня на улицах снег, на улицах лед; минус тридцать, если диктор не врет; моя постель холодна, как лед»*.

И все-таки в о р о н к а определенно существовала: да, его засасывало, причем засасывало с невероятной силой и мощью, все быстрее и быстрее – быть может, есть дыры не только черные, но и белые? не только в открытом космосе, но и на земле? Но что такое з е м л я, если кругом один лишь горячий воздух – горячий настолько, что и вздохнуть-то больно?.. Он крутил у виска, показывал язык собственному отражению, набирал номер О. («ваш звонок не может быть совершен сейчас, ту-ту-ту...», и снова: 8-343..., «ваш звонок не может...») – пожалуй, О. была единственной, кого из «бывших» Яковлев вспоминал с неизменной теплотой – сейчас бы, конечно, с б е р е г, но тогда, в двадцать-то шесть... Смешно! О. приезжала в Москву п о с т у п а т ь, но, провалившись на экзаменах, вернулась в пенаты: 8-343..., «ваш звонок не может...» – а что, что может? Может ли что-то он сам?.. 8-343... Зачем набирает эти никчемные цифры, хотя точно знает, что О. – ту *чудесную* О., которую он знал когда-то – не вернуть?.. «ваш звонок не может...» Да и нужен ли он ей спустя столько зим? 8-343... Помнит ли О. вообще о его существовании? Сохранила ли с н и м к и – черно-белые осколки самого обыкновенного, как только теперь понимаешь, с ч а с т ь я?.. «Ваш звонок не может быть совершен сейчас, ту-ту-ту...»

Яковлев схватился за сердце (тупая боль, ничего нового, особенно в жару-то) – последнее время оно все чаще *стучалось к нему* таким вот бестактным образом – и приставил лестницу к антресолям: фотографии, остались одни фотографии! Только они и способны хоть как-то оправдать его жизнь – впрочем, перед кем? Почему он непременно д о л ж е н ее «оправдывать»? Почему не может жить п р о с т о?.. Что за *голосок* не дает ни днем ни ночью покоя? Как же он устал от него, о, как мечтает его о н е м е ч и т ь!

Воспоминания – «Забронируйте один в Страну лотофагов!» – приходили «ступенчато» (спроси Яковлева – как это, он бы не объяснил), какими-то «сгустками», и походили на мутно-белые хлопья, плавающие в моче больного вторичным острым пиелонефритом: того самого П.С., кото-

* *БГ, альбом «Электричество»: «Минус тридцать».*

рого до смерти залечили когда-то в больничке, где проходил Яковлев практику – вот, собственно, и первый гвоздь*, «винт» для закрепления памяти, «Ты – ком податливый запутанных кишок...»**, organa genitalia feminine / organa genitalia masculine – никакой «поэзии»: черно-белые кадры чужих, навсегда «засвеченных», жизней, утиль – и точка, а потому Яковлев оставил лечебное дело довольно скоро – прелести бесплатной медицины в два счета лишили *молодого специалиста* каких-либо иллюзий; если же говорить о подачке, именуемой зарплатой... да что там! В детстве Яковлев мечтал поскорее вырасти и стать богатым для того лишь, чтобы купить *ровно столько пленки, сколько потребуется* – вернее, чтобы поехать с этой самой пленкой на съемки именно в ту точку шарика, где ему удастся, наконец, найти свои кадры: он знал – мир, если смотреть на тот через объектив, не так уродлив, каким кажется на первый взгляд.

И вот он, наконец-то, – большой мальчик, которого лихо «кинули на бабки», экс-частный предприниматель («ЧП Яковлев» – в названии этом и впрямь было что-то от врунгелевской *яхты*), севший не в свои сани, – а потому на пороге стоят уж бритоголовые, и это не сон, не книга, не фильм: *это самое* происходит с ним, здесь и сейчас – и это он, Яковлев, а не кто-нибудь еще, должен деньги, очень много денег...

На все про все ему дали месяц: так, продав квартиру покойных деда и бабки, он стал «мигрантом» в собственном городе. Эта «новая жизнь» поначалу довольно сильно нервировала его, однако хандрить было некогда. Львиную долю не поражающего воображения дохода (Яковлев устроился охранником в ресторан) сжирала квартплата, расслабляться не стоило – все его мысли крутились какое-то время вокруг энной суммы, которую надо было кровь из носу вынуть да положить хозяйке раз в месяц. Ненавистное с детства слово – «зависимость» – безостановочно пришпоривало его, заставляя бежать по кругу: растоптанного, униженного – и, в сущности, никому, даже себе самому, особо не нужного.

Тогда-то и разыскала его К., которую не видел он лет тысячу: лишняя боль – она и есть лишняя боль, ожоги такого рода оставляют уродливые рубцы, прикасаться к ним страшно. Ну да, школьный роман, затянувшийся на годы, ну да – с кем не бывает? Но вот ведь какая штука: *эта девочка* сейчас рядом, в роскошной близи; *эта девочка* пришла – пришла сама, первая, сама села к нему на колени, расцеловала в обе щеки, как маленького, – а потом не в щеки, совсем даже не в щеки, а потом – «как большого»... Яковлев наблюдал за ее движениями словно бы со стороны и подумывал, не клиническая ли это смерть: вот К., настоящая, всамделишная К. кладет голову ему на плечо и чуть ли не кошкой мурчит – может, его душа и впрямь улетела? Может, он и впрямь умер?.. Что ж, достойный, весьма достойный финал! Сопротивление бесполезно.

Потом они долго тянули токайское, и Яковлев, глядя на К., усиленно пытался найти в ее внешности («античный» лоб, «мраморная» кожа, «рельефные» скулы) изъян – изъян, который помог бы ему дистанцироваться, изъян, благодаря которому можно было бы хоть сколько-нибудь разочароваться в ласковой этой ведьме, о которой не забывает он ни много ни мало двадцать уж лет, хотя и те – как один день, что верно, то верно... В какой-то момент Яковлеву, впрочем, показалось, что *это* произошло – пожалуй, он даже мог бы назвать К., повернувшуюся к нему в профиль, страшненькой; она же, будто заподозрив его в неладном, села против света и, обхватив руками колени, качнулась: «Знаешь, а я ведь замуж вышла...» – укол ревности, которого не было: да ничего, по большому-то счету, у него уже не было.

Вдыхая горячий воздух, идет он по залитой солнцем Калужской площади, но вместо привычной церкви видит абрис серебристой мечети на фоне звездного неба: он думает, что сходит с ума, щиплет себя за руку, а потом останавливается и неловко машет мне рукой, словно пытаясь выпросить *лучшую долю*.

---

* *М.Ц.*

** *А. Рембо, «Сестры милосердия».*

«Если верить в то, что следы памяти хранятся в мозге... – он подбирает слова, – ... хранятся в головном мозге в виде голограмм... и каждый фрагмент голограммы содержит всю информацию, необходимую для восстановления целого изображения, то...» – «Прости, персонаж», – я обрываю его: я спешу к машине в форме саксофона, а, оборачиваясь, вижу, как мыслеформа, занимавшая меня несколько дней, кидает фотоаппарат в урну и проходит сквозь стену: станция метро «Октябрьская», радиальная.

август 2008

УХО. Разговорчики в строю

[вне жанра]

Сцена. На дальнем плане М и Ж в арестантских робах; у каждого в руках телефон. Справа – «медсестра» за письменным столом с ноутбуком и мобильником. В центре муляж огромного Уха, в раковину которого может легко уместиться человек, окажись он в позе эмбриона. Сначала – до первого «звоночка» – Ухо нежно-розовое, но после очередного разговора темнеет до черноты: кажется, не отмыть – однако «медсестра» приставляет к Уху стремянку и карабкается наверх. В руках ведро и швабра: Ухо моют так старательно, что невольно сдирают с него кожу – так оно снова становится нежно-розовым: до следующего звоночка, раз-два-три, раз-два-три...

* * *

Первый звоночек. Антология

«У меня гениальная идея» – «?...» – «Надо издать «Антологию оригинальных русских сочинений с шестнадцатого по двадцать первый век»«. – «Почему оригинальных? Что вы вкладываете в это слово?» – «Ну.... Оригинальных, потому что автор вносит что-то свое в текст...» – «Так все же свое вносят – удобрение, этакий навоз». – «Ну... а, например, некоторые слова заимствованы из других языков...» – «???» – «Живущим авторам – заплатить. А хочешь... Хочешь быть, ну, главным редактором? Ты сможешь вступительную статью написать? Называй меня на ТЫ! Нет? Почему? Ну, как хочешь...» – «Статью-то можно, а вот *где деньги, Зин?*» – «Нет, не знаю, и вообще, я сижу в шарфе, меня прострелило. Ты знаешь, что такое сидеть в шарфе? Нет, ты не представляешь!» – «Еда-то есть?» – «Есть еда, а нужно пятьсот тысяч долларов на книгу». – «А тираж какой?» – «Тысяча экземпляров на хорошей бумаге, я бы на верже вообще... Хотя бы Кузмина на верже, отдельно...» – «Дык, никто не даст пятьсот тысяч долларов за тысячу экземпляров какой-то антологии!» – «Ну пусть хоть триста тысяч дадут. Пусть дадут хоть двести... Ну авторам же надо платить...» – «М-м... Пусть дадут, конечно, но *кто* даст?» – «Ну, вот этого я не знаю, может З. позвонить, это жена В., у нее много телефонов всяких... Хочешь, дам ее телефон?» – «Может, сами?» – «Да, я, наверно, ей сама, а вот С. из ПЕН-клуба... Но ему я тоже лучше сама... Наверное...» – «А каких авторов-то в антологию хотите?» – «Ну... Ломоносов – он же абсолютно потрясающий. Карамзин, конечно. Тредиаковский. Декабристы. Батюшков – Батюшков вообще гениальный! Михаил Кузмин, Георгий Иванов, Ходасевич – обязательно. Бродский... Хотя он вроде и «не очень русский»... Из современных – Битов, Аксенов, Витя и Венедикт Ерофеевы». – «А как насчет прав на Веничку?» – «Не, не знаю...» – «А Палей читали?» – «О, Марина – очень хорошая женщина!» – «А еще?» – «Ну, Свету Василенко, *их всех*...» – «А деньги-то?..» – «Ну, надо искать фонды. Ты знаешь, у людей вообще-то куча бабок, они не знают, куда их девать, и хотят вложить... м-м-м... в культуру. Часто. Надо только найти этих людей-то. А хочешь, на ТЫ меня называй... В общем, как хочешь...»

* * *

Стихийки

«...не спишь? Я что хочу сказать: движение стиха вообще вещь мистическая. И потом: никто же не говорит, что *так* нужно писать стихи! И вообще, писать стихи не нужно: они пишутся в очень крайнем случае. Когда ты не можешь, например, определить п о г о д у... Ты выходишь на улицу в сентябре, а оказываешься в некотором мае, или просыпаешься: крестьянин торжествует! – а на дворе апрель. Все, конечно, крутят у виска... А именно так складывались некоторые очень хорошие поэты. Тютчев, скажем, да – почему нет? Вообще, душевный мотив обеспечивается некоей п о г о д о й. Понимаешь?» – «М-м-м».

* * *

Душ

«Что нового, спрашиваешь? Не *что*, а *кто*! Любовник! Но я все испортила...» – «Зачем?» – «Что? Не слышно!» – «Заче-ем?» – «Объясняю. Я за всю жизнь такого никогда не испытывала, понимаешь?» – «Надеюсь». – «Он, короче, муж моей знакомой по курсам. Иногда подвозил нас. Ну, не важно... Короче, когда мы оказались у него в гараже... Натуль, как я орала, ты не представляешь!» – «М-м-м...» – «Нет, не представляешь, потому что я и сама не представляла! Он что-то такое со мной сделал... Языком... То есть отодвинул как-то клитор... Не знаю даже, каким словом-то и назвать это... И он стал... как цветочек стал... Как бутончик... Понимаешь?» – «М-м-м...» – «Да ты не понимаешь! Он это делал... как, наверное, это делают женщины! Теперь понимаешь?» – «М-м-м...» – «Да ну тебя! Ты не знаешь, что со мной было! Все тело дергается, вся в судорогах... Я жила столько лет и не знала, что это такое, а? Вот скажи, у тебя такое было?» – «Погоди-ка, ты говорила, будто все испортила...» – «Ну да. Он мне надоел... Секс сексом, но сам-то – скучный... Примитивный такой тип в галстучке... И интрижка сама – пошленькая... Вот и я попробовала в душе... Знаешь ведь, у меня классный душ с тугим напором, и... Не пробовала?» – «Обошлась». – «Я ж говорю, ты ничего не понимаешь! А еще книжки пишешь! Вот о чем писать надо, вот! О душе! Как душ отбивает все желания!..» – «Да почему отбивает-то?» – «Элементарно! Там же напор сильный. Непрекращающийся. За три минуты можно себя так довести... и никакой мужик не нужен. Баба тоже! Ни один, даже самый «умный» язык, на такое не способен... Поэтому, когда после этого душа мы с ним встретились, я уже не орала... И вообще – в о о б щ е – ничего не чувствовала... Хотя он делал то же самое... Все то же самое, понимаешь?» – «М-м-м...» – «И он тоже так расстроился...» – «А ты?..» – «Грустно все это, не находишь?» – «Нет, по-моему даже забавно». – «Короче, я – дура». – «?...» – «Д у р а с большой буквы... Взяла – и все испортила...».

* * *

Молодой писатель

«А сейчас выступит наш молодой писатель Василий Т.: его дебютная повесть «Жизнь» опубликована в прошлом номере... Выходите, выходите же, не стесняйтесь!» – «Й-а-я... оч-чень благодарен... за эт-ту публикацию, пот-тому что она... эт-та пуб-б-б-ликация... оч-чень для меня-а-а важна-а... Я оч-чень б-б-бла-а-годарен уваж-ж-жаемым Ник-к-колаю Степановичу, Татьяне Дмитр-р-риевне, Анне Леопольдовне, Эльзе Леонар-р-рдовне, Григорию Ефимовичу, Зейле Ахметовне, Варваре Тихоновне, Ирине Петровне, Петру Юрьевичу, Вере Антоновне...»

* * *

Толстой и Набоков

«А ты вообще знаешь, к т о главные герои “Карениной...” на самом деле?» – «Ну, допустим» – «Нет, не знаешь! Анна и Левин главные герои! Вот они, *линии*, вот! А какова композиция?.. А они, эти сопляки, говорят мне, будто Толстой им *не интересен*!» – «Мне он тоже малоинтересен, “Каренину...” вообще не дочитала – скука, все эти крестьяне к тому же...» – «Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь!..» – «Сомневаюсь». – «Сомневайся сколько хочешь! А ведь Толстой на

полном серьезе говорил, что Бог не должен его забирать...» – «?..» – «Считал, будто слишком велик и не может умереть. Что такие, как он, должны жить вечно...» – «Идиот». – «Не смей!» – «Ну идиот же! Кли-ни-ка... И эти его нравоучения...» – «Замолчи!...» – «...» – «Ну мы же с тобой не поругаемся из-за этого графа, правда?» – «Простите. Нет, нет, конечно. К тому же, я люблю Набокова». – «Набоков – это всего лишь синтаксис. Суперсинтаксис». – «Набоков – это больше чем синтаксис. Это даже больше, чем литература». – «Нет! Ты не понимаешь...» – «Он гениален. Он называл вещи своими именами. Свиней, кстати, – свиньями, а их, увы, большинство. Вероятно, поэтому-то это самое большинство так раздражено...» – «Он холоден, подчас вычурен...» – «Он искренен... Он – Моцарт. Но мы же не поругаемся из-за Моцарта?..» – «Прости. Прости. Ты же знаешь, как ты мне дорога...»

* * *

Богиня

«Подвиньте, пожалуйста, сумку». – «Не подвину». – «Почему?» – «Потому что я первый сел». – «Но это место не для багажа». – «А мне насрать» – «Вы что, хотите, чтобы я стояла двадцать минут в маршрутке?!» – «Мне пох». – «Уберите, или я сама уберу» – «Не уберешь». – «Почему вы мне тыкаете?» – «Я тебе щас тыкну! А ну, руки убери от имущества!» – «Сань, ты посмотри, какая хамка! Такая молодая, а наглая – жуть!» – «Да они, молодые, сейчас все такие...» – «Уберите сумку, я не собираюсь стоять до метро». – «Иди отсюда...» – «О, “великий народ”...» – «Ты народом-то не прикрывайся, краля, можно подумать... Да ты вообще на букву *б*.». – «Конечно, на *б*. Богиня!»

* * *

Хоббиты

«А когда же вы писали?» – «А я или писала, или была замужем. А так как замужем я была четыре раза...» – «Поэтому не порчу паспорт...» – «И не надо. А знаешь, десять лет назад он предложил мне жить втроем. Я, конечно, отказалась от роли “старшей жены”» – «...» – «Пиши. И не выходи уже замуж... Впрочем, *все они* были очень интересные люди, да-да... Так что можешь еще раз-другой и сходить... За интересного-то человечка... Ненадолго только... Туда и обратно...» – «Ага. За хоббита».

* * *

Гарднереллез

«Не узнаешь? Это я... И, собственно, по делу... а как называется... Ну... Чем мы тогда болели, в общем?» – «Чем *мы* болели, не знаю. А *у тебя* гарднереллез нашли». – «М-м-м... Просто из головы название вылетело... А я... я из страны уезжаю». – «Надолго?» – «Как получится». – «Туда, куда и хотел?» – «Туда, куда и хотел. Диагноз все боялся перепутать. Смешно, да?» – «Очень» – «Ну, в общем, ты это... давай там». – «И ты... и ты там... давай...» – «Я еще приеду». – «Ага...» – «Я буду преподавать». – «А-а...» – «Там очень ценят русских...» – «Отлично». – «Ну, это, ты...» – «Даю, даю...» – «Давай...» – «Да-да...» – «Так, значит, гарднереллез? Погоди, запишу...» – *«И я тебя запишу»*. – «Не понял? Что-что?..»

* * *

Таблица умножения

«...и опять, опять: “Набоков – это синтаксис”». – «Чем уродливей мир, тем больше будет спрос на Набокова. А что мы видим красивого? На самом деле... строить фразу просто так не научишься – должна быть внутренняя подоплека. Охломонам местного разлива не понять: кухаркина методология! Восприятие же писателем времени... ну, это отдельная тема: “Прошло уже столько лет, как он уехал, а воспоминания все так же свежи!”» – «Ну да, ну да: что-то в этом роде г-н профессор и говорил...» – «Есть люди с таким ощущением времени и пространства, для которых границ времени не существует. Другое восприятие! Есть уездная, коммунальная насквозь «проза» – про

то, как холодильник сломался – и мировая литература: Пруст, Джойс... Неужели это так сложно понять?...» – «Дважды два...»

* * *

Будьте осторожны

«Я, Наташа, живу дома почти как в гостинице. Это очень странное существование. Идеальные лабораторные условия для воспроизведения невроза, если хотите. Но на самом деле я звоню, чтобы рассказать сон. Вот представьте себе: в Москве организуется новая система спусков в метро. Менты говорят: «Вы должны тренироваться. Должны научиться входить правильно». А на земле лежит шнур – то есть, надо спускаться в метро, как бы не сходя с его линии... Понимаете? Я кому-то даже отдала сумочку, чтобы случайно не оступиться... А менты гудят: «Для предотвращения скопления пассажиропотока в дверях... Профилактика... Для вашей безопасности...» Потом говорят, будто идти нужно по одному, что абсурдно при таком количестве народа... И: «Граждане, если рядом с идущим по шнуру будет хотя бы один человек, его разнесет в клочья. Тут же». Ну вот, а утром этот взрыв...»

* * *

Бананы

«Нет, это невозможно! Вот, смотри, что пишут: *«Поев бананов, человек начинает чувствовать себя гораздо лучше, а если он до того находился в состоянии депрессии, ее как рукой снимет».* – «Где пишут-то?» – «В журнале... м-м-м... Женском». – «И давно ты читаешь женские журналы?» – «Господи, да я там работаю... Неделю уже...» – «Ты что, ревешь?...» – «Ненавижу.... Ненавижу... Ненавижу...» – «Подачка-то нормальная?.. Да не реви...» – «...» – «Через час буду. Никуда не уходи. Красного или белого?.. Что? Все равно?..»

* * *

С днем рождения

«Ой, ты дома! Где пропадаешь? С днем рождения!» – «Спасибо... Не пропадаю как бы». – «Как жизнь-то вообще?» – «По-разному. А сама?» – «Ой, малой болеет, мать с работы уволилась, *этот* запил... Ну, рассказывай». – «Что рассказывать?» – «Все рассказывай». – «Да все хорошо. Рассказывать нечего. Ты все там же?» – «А где ж? Чего искать-то?» – «Ну, десять лет на рынке – срок...» – «Да у нас работать негде, ты чего выдумала – *срок*! Живешь-то все с тем же?» – «М-м-м-да, да, с тем же». – «А зарплата какая?» – «Хватает». – «Сколько получаешь, говорю?» – «Нормальная зарплата. Гонорары». – «Чего?» – «Го-но-ра-ры». – «А... А мужик твой сколько получает?» – «Хватает». – «Ты что, не знаешь, сколько твой мужик получает? Ну, вообще!» – «Не знаю». – «Ну, ты, вообще, даешь! Ну, с днем рождения!» – «Спасибо».

* * *

В очереди

«“Надежду” или “Салют”?» – «Нет, “Асти Мандоро”. Вкуснее» – «Кхх-э-э...» – «К бабе едешь – а денег нет... Хоть бы кольцо снял...» – «Так не снимается ж, Тамар...» – «Ну что, может, хоть одну-то нормальную купим?» – «Не знаю, сколько ты выпьешь... сколько в тебя вообще влезет...» – «А может... две?» – «Два “Салюта”, девушк, нам». – «Девушк, а вы эту партию пробовали? Ниче “Салют”-то?» – «Comme c’est Moscovite!»* – «Будни простого русского, господин Блие, как вы и просили. Магазин “Продукты”».

* *Как это по-московски! (фр.)*

* * *

Потешная улица

«У него, короче, мизофобия. Грязи боится. Давно. Да. Не говорила... А как про такое расскажешь? Сейчас просто прогрессирует, и я... не могу уже я... Ты прости, что поздно так... Но он ведь руки моет! Постоянно, сволочь, моет руки!! До крови кожу стирает, будто пемзой... В туалете краны локтем открывает, двери – ногой... Тридцать пять... Ну, пошли к психиатру: месяц моих слез-уговоров. Платная такая больничка. Типа. Ну, приходим туда, значит, поднимаемся... Да, забыла – на Потешной это все улице... Ага, обхохочешься. Ну, поднимаемся, да-а... Ждем-сидим. А там парочка какая-то напротив: дама не в себе – явно. Ну да, нас всех не перелечить... Но слушай. Врач приходит: сказали, лучший в городе д о к т о р! На самом деле – кошелка. Типичная. Такой на рынке селедкой торговать! Думаю, черт с тобой, выхода-то нет, записи сколько ждали... Да и внешность не главное как бы... Как бы не так! Пошел, короче, он в кабинет. Через час выходит, посмеивается. Я: «Ну?» А он рецептами у меня перед носом помахивает. Золофт... Феназепам... Пантогам... Он ее – слышишь? – на разговор сам вызывал... Он же не больной, просто фобия такая у человека... Так-то с головой в порядке... Диссер вон пишет... Ну а микробов боится, да... Кто-то – самолетов, кто-то – пауков... Мало ли... Понимаешь, нет? Она – совок, такие раньше всех аминазином закалывали, а теперь в платных клиниках с жиру бесятся... И вот брошюрку даже выпустили. «Пособие для пациентов». С, так скажем, примером конкретного случая – эт заголовок. Да с купюрами, не бойсь... *Рабочие обязанности Константина изменились в связи с увольнением большого числа рабочих на предприятии. Теперь его нагрузка возросла*... бла-бла... Так... *Постепенно он стал чувствовать себя утомленным*... Бла-бла... Ну, поняла, да?... *По совету друзей Константин решил обратиться к врачу. Врач назначил ему лечение антидепрессантами*... Да, так все и написано... *Константин стал сосредоточенней на работе*... Бла-бла... *Взаимоотношения с женой постепенно нормализовались*... Слушай, найди мне нормального психиатра, а?...»

* * *

Погодка

«Ты человек расчетливый, но *до какой* степени?... И *с какими* людьми?... Неужели непонятно, что дружба ценой в тысячу баксов гроша ломаного не стоит? А видя, что человек «попал», что делает подобный проект впервые... И когда вы с П. все тихонько распределили между собой, не подключив меня, хотя это раз плюнуть... А без меня вы бы на М. тогда не вышли...» – «Не собираюсь оправдываться. Хотя, с деньгами ситуация вышла действительно некрасивая: я предполагала... Но мы с тобой не вошли в рабочий контакт...» – «В *рабочий контакт*?» – «...не вошли в рабочий контакт с самого начала; я попросила П. это сделать, но... Я же со своим прямым отношением (что думаю – то и говорю) оказалась в дураках. Забавно, с твоей стороны – «я приехала, а вы все уже поделили»! Нам, между прочим, пришлось все расписывать и продумывать, а ты пришла на все готовое... М. – твой контакт, никто не спорит. Телефоны журналистов – наши связи, у работодателей...» – «...у рабовладельцев...» – «...они ценятся также, как и личные навыки...» – «Каков язык!» – «Как ни крути, без дележа нигде ничего не проходит. Имею в виду бизнес. Хочешь порхать в розовых облаках – денег не будет». – «Но я говорю о тебе: ради чего *ты* становишься мелочной, холодной, чужой?» – «В деле не бывает сантиментов. Всем угодить нельзя». – «Да не надо, не надо «угождать»!» – «Я потеряла нить разговора... Погодка, да?..»

* * *

Благодарность Пушкину

«Наташа, не спишь?» – «Н-н-нет...» – «А чего шепотом?» – «Да человек спит, сейчас на кухню вот...» – «Человек – это звучит гордо, ха-а... Как твои дела?» – «Все, вышла... По уши в шоколаде». – «Теперь не поймешь, как их называть – друг, бой-френд, муж... Вот у меня было три мужа... Один – профессор... А у тебя сколько было?..» – «Ну, сколько-то... Смотря как их называть: бой-френд, френд, хасбант... Всегда один, в общем». – «И вот мы, значит, с этим хасбантом жили в

пещере. Представляешь, да?» – «В пещере? Классно...» – «Да, целое лето в пещере... Слушай, ты спать не хочешь? У тебя ж кто-то там...» – «Человек у меня там. И что?...» – «Ну вот... Три месяца... А воды пресной не было, представляешь? Приходилось в деревню ходить... Там и ларек был. Мы там сыр покупали, вино...» – «Ну...» – «На самом деле, я тебе хотела рассказать совсем о другом». – «О чем?» – «Ты такая милая девочка, ты должна понять. Ведь фантастическая совершенно вещь! Абсолютно все романы в русской литературе абсолютно эпатажны. А развивался эпатаж с Ломоносова». – «Прям так вот с Ломоносова?» – «Прям так. А девятнадцатый – это вообще: один эпатаж». – «...» – «Вот Достоевский: он же был человеком плохим. Неправильным. Игроком! Противным! В личной жизни – невозможным. Тратил больше, чем зарабатывал. Лев Толстой – это вообще кошмар. Ужас! Ну граф – ну и граф... Ушел из дома на старости лет... Что такое? Нет бы в койке помереть». – «...» – «Гоголь – это вообще бред! Ни жены не было, ни детей... Где он умер? До сих пор могила его под очень большим сомнением находится...» – «М-м-м...» – «Сидит он – ну, памятник же видела, – как дурак полный, у библиотеки. Получается: наркоманы, алкоголики, игроки... А западная литература?» – «Что – западная литература?...» – «Мой любимый Уайльд – гомосексуалист. Шекспир – может быть, его и не было, а если да – тоже... И *вот эти* все ребята... Как я переживала за них! Вон декабристы... Ну как же так?!... Убийство, ну просто же убийство! Ну это ужасно... И вот эти девушки, которые с ними поперлись в Сибирь – это же кошмар! Лучше б остались в Москве или Петербурге... Это ужас! Они туда поперлись! Убить царя, на самом деле, это страшно! С этого и начинается дикий промах русской жизни, народ вышел, потом начинается Фрейд, фигня всякая... В общем, ребята эти неправильно все сделали... Я благодарна Пушкину знаешь за что?» – «М-м-м...» – «За то, что он в этом деле не поучаствовал – то ли заяц дорогу перебежал, то ли это монах был... Вот ты бы...» – «?..» – «Вот ты бы захотела пойти и царя прибить?» – «Я – нет». – «И я: нет. Это дураку ясно, что никого убивать не надо. И зверушек. Политика с литературой связаны на минимуме... Понимаешь?» – «...» – «Ну, спи». – «Сплю».

* * *

Дыр-бул-щил

«Как ты?» – «Честно?» – «А то!» – «PPPPPPPPPPPP!» – «Не поверишь, я тоже». – «Отчего ж не поверить...» – «У меня тут постоянный дыр-бул-щил... И: dppppppppp!» – «Это как?» – «Да из асфальта какие-то железки выдирают, а потом такие же – только новые – обратно вставляют. Это сколько ж денег надо, а? На эту всю дрянь?» – «Ну...» – «Слушай. У меня вишня есть. И коньяк. Приедешь?» – «Не могу – графомана режу: *“Я оставил свои мысли висящими в воздухе около его кровати, надеясь на его ментальную обработку по пробуждении, но так и не получил ответа”*». – «Титан! За что ты?» – «За деньги». – «Значит, на коньяк не приедешь?» – «Неа». – «Уф... Ну, не сдохни там... Со своим графоманом». – «Угу».

* * *

Искусство

«Наташенька, искусство высокосортно по определению. И никого – никого! – не слушайте. Дистанцию к объекту художественной переработки иметь просто необходимо. Дистанция – эго главнейший компонент в технологии творчества».

* * *

...вышел автор погулять

Раз: «Я прочел вашу книгу. Вы сами говорите: для того, чтобы рисовать, скажем, *черные квадраты*, сначала надо научиться рисовать л о ш а д е й. Карандашом. Где же ваши лошади?» – «Убежали».

Два: «Это ваше эссе... Это страшно! Все наши беды от Набокова. А здесь... Вейдле... «Умирание искусства»... Простых людей обижаете... Да вы знаете, я с вашей “мариванной” в поезде

до Москвы ехал! Ого-го! Она всю дорогу та-а-акое рассказывала! Да на этой “мариванне” земля держится!» – «Лучше б она держалась на трех черепахах».

Три: «В вашей повести ведь любопытный сюжет, есть и динамика... Зачем вам эти красивости, все эти... как бы определить точнее... стилистические выверты? Изощренность? Зачем? Почему нельзя писать просто? Такое ощущение, будто это павлин, распушивший хвост, а не проза... Но если убрать *перья*, останется отличная реалистическая история!... Ну хорошо... А почему ваша героиня так легко расстается с невинностью? Ну... как бы мимоходом? Получилось как-то буднично, простите, она словно в булочную сходила...» – «А она и сходила. Сначала дефлорировалась, а потом в булочную пошла...» – «То есть она настолько цинична?» – «Что же циничного в покупке хлеба?»

Четыре: «Как вы не боитесь *так* писать? Сейчас ведь *так* не пишут! Сейчас не девяностые! Постмодернизм давно не в моде! Даже странно...»

Пять: «Федоровна!!» – «Алло...» – «Сколько зим... Почитал тебя вот... в журнале». – «Ты читать можешь?» – «Не ерничай. Не понравилось мне. И вообще... Этот твой феминизм...» – «Феминизм – всегда “их”, никогда не “мой”». – «Не понравилась мне твоя история, слышишь?» – «Слышу, и что?» – «Как – что? Не та история, не о том пишешь...» – «Почему же?...» – «Не понравилась, говорю, история твоя мне!!» – «Да слышу, слышу». – «Бросай ты это... Это дело... Читать невозможно. Умничаешь. Выпендриваешься». – «Так не читай». – «И не буду. А вот, пожалуй, выпил бы с тобой. Поговорил бы». – «Все со мной поговорить хотят. И выпить. Некогда». – «Приезжай. Надо из тебя по новой человека сделать». – «...» – «Я серьезно. Выпьем. Поговорим». – «Ну да. И закусим». – «Так когда ждать-то?» – «В четверг...» – «В этот не могу, давай в следующий, на все выходные...» – «...после дождичка». – «Чего? Чего, Федоровна? Не слышна-а! Приезжа-ай! Поговорим, выпьем...»

* * *

На деревню дедушке

«Сил моих нет больше! Взяли мы направление в военкомате у старшего врача Волковой». – «Инициалы скажите». – «И-А. В 15-ю больницу она нас направила. Там полное обследование провели, гидроцефалия подтвердилась. Ну, дали нам заключение и снимок головы, амбулаторную карту еще». – «Не так быстро...» – «Ага. Ну, я этот снимок отвезла в военкомат, отдала медсестре». – «Фамилию знаете?» – «Не-а... В середине апреля нас вызвали... Сына моего, то есть... Вручили повестку на 4 июня явиться за военным билетом...» – «Та-ак, записала...» – «А 19 мая позвонила медсестра невропатолога и сказала, чтоб мой ребенок поехал в военный сборный пункт. 29 мая к часу дня. К невропатологу. Кондратьева ее фамилия». – «Записала». – «Я ей стала объяснять: зачем он должен ехать к врачу, если вы ему дали повестку на 4 июня прийти за военным билетом? А она: так, мол, положено. Я спрашиваю: а где наши документы? Снимок головы? Она: я все отдала ей». – «Погодите. Кому отдали?» – «Да врачу Кондратьевой! Снимок и документы! Это ж медсестра говорит...» – «И что?» – «А то, что надо военному комиссару района писать – мне так у солдатских матерей сказали! Ты грамотная, сможешь? Сейчас ведь всех без разбора в армию гребут, и с плоскостопием, сволочи...» – «Вы мне суть объясните, написать-то все что угодно можно...» – «Пиши так. ЖАЛОБА. Рустам Северцев проходил медкомиссию... Или медосмотр? Как лучше?» – «Да все равно...» – «Значит, Рустам Северцев проходил медкомиссию на службу в армии. В начале марта в военкомате по адресу... Записала?» – «Да. Потом подредактирую». – «Подредактируй, подредактируй, Натуль. Так. Дальше. По своей болезни гидроцефалия. Диагноз поставлен в марте 2004-го». – «Дальше». – «Та-ак. Диагноз был подтвержден. Написала?» – «Да». – «Мне в солдатских матерей сказали, что они снимок-то нарочно «потеряли»! Представляешь? Тысяч, говорят, за пять долларов продали, а Рустама теперь, значит, в армию! Гады...» – «Давайте-ка по

порядку...» – «Надо вот что в конце: если снимок пропал, я не удивлюсь, что и амбулаторная карта пропадет... Да. Напиши им так: если не примете меры, я дело передам в военную прокуратуру, так как копии всех документов у меня на руках...» – «Грозить бесполезно». – «Погоди строчить-то... Ты суть послушай, суть, а потом напишешь – ты ж грамотная...» – «...» – «В общем, когда Рустам мой вошел в кабинет, Кондратьева его спрашивает: чего, мол, пришел? Где твой снимок? Рустам стал объяснять – как, где... медсестра сказала, что у вас, а врач такая: придешь ко мне 1 июня и принесешь амбулаторную карту. Дальше так пиши: я, Северцева З. А., поехала в этот же день в военкомат...» – «В какой – в этот же?» – «Ну да, 28 мая, ты чего?... 28 мая поехала, да. Зашла в кабинет к невро- этому -патологу, где сидела медсестра. И врачиха тоже сидела. И стала говорить, что мой сын был у Кондратьевой, а она спросила, где твой снимок? Когда я стала говорить медсестре и возмущаться, где снимок, она сказала: все передали врачу Кондратьевой. Я говорю: мы сейчас поедем к врачу Волковой в больницу, и вы ей сами подтвердите, что снимок отдали Кондратьевой». – «Написала...» – «Конечно, она это сделала нехотя. Но согласилась. Это не пиши. А когда мы вошли в кабинет Волковой, я стала ей объяснять, что, значит, сказали, все документы у Кондратьевой, а снимка-то у нее нет!» – «Длинно очень, так нельзя...» – «Погоди. Слушай. Потом напишешь, ты грамотная... В общем, медсестра тогда сказала – это я врачу говорю...» – «Какому?» – «Как какому? Волковой». – «Про кого?» – «Да про Кондратьеву... Значит, медсестра мне сказала: я помню, что я этот снимок забрала у вас. У меня то есть, у Северцевой. Понимаешь?» – «Как бы да». – «Ну. А когда 28 мая мы с Рустамом были на военном сборном пункте, врач сказала...» – «Фамилия врача как?...» – «Кондратьева. И Кондратьева эта сказала Рустаму, что ты теперь придешь ко мне 1 июня и привезешь снимок и амбулаторную карту». – «Это уже было! По второму кругу пошло!» – «Так ты запиши, как я тебе говорю *сейчас*! В общем, старшего врача Волкову я спросила: вы решите этот вопрос с Кондратьевой? Вы теперь должны позвонить Кондратьевой с тем, чтоб медсестра подтвердила, что отдала ей снимок...» – «Ужасно...» – «А если что, я буду настаивать на экспертизе – так и напиши». – «Это куда?» – «Да погоди, не пиши... На независимой экспертизе! Если вы потеряете амбулаторную карту...» – «Написала...» – «Слушай... Но как же может врач говорить, что нет гидроцефалии, не открывая карты, когда в карте – описание потерянного снимка и всех анализов?!...» – «...» – «И почему ребенок должен опять облучаться из-за этих сволочей, а? Опять же снимок делать!» – «Это Россия. Давайте дальше». – «Да что дальше! Волкова потом не могла дозвониться долго в сборный пункт и дала задание врачу-невропатологу дозвониться...» – «Как фамилия?» – «Пиши, пиши, не спрашивай ничего... Я настаивала на том, чтоб Волкова дозвонилась до Кондратьевой и сказала ей, что снимок у нас. Но Волкова не дозвонилась и дала задание медсестре...» – «Вы меня с ума сведете... Все время одно и то же, одно и тоже...» – «Так всю жизнь же ведь одно и то же! Одно и то же – всю жизнь, Натуль! В общем, Волкова не дозвонилась до Кондратьевой и дала задание медсестре...» – «Погодите. Это правда уже было...» – «...Все уже было! Пиши! Чтобы врач-невропатолог дозвонилась сама Кондратьевой и объяснила ситуацию...» – «Ок...» – «Когда я опять зашла в кабинет невропатолога, она сказала: придете 29 мая рано утром. 29 мая я пришла туда...» – «Куда – туда?» – «Как куда? Ты че? В военкомат. А она мне говорит...» – «Кто – она?» – «Ну о н а, кто! Кондратьева эта – кто ж еще мне скажет? Она и говорит: я не буду со своего мобильника звонить. Я ей свой даю, а там не прозванивается, или *такого номера не существует*». – «Стоп. Ничего не поняла... Теперь мобильник еще... Кто кому куда звонит?» – «...А Кондратьева мне: будем разбираться без снимка. И нас, значит, назначили на 1 июня. Рустам пришел, а она...» – «Кто – она?» – «Да Кондратьева, Кондратьева! Спрашивает его: где снимок? Я, мол, проверю тебя. И вообще, нет у тебя никакой гидроцефалии. Потом она ему голову намазала гелем и чем-то поводила по голове-то... И говорит, значит: ну, ты ж понимаешь, если я напишу, что ты больной, то надо мной начальник подумает, будто я у тебя взятку взяла» – «Резонно...» – «В общем, 1 июня я отдала амбулаторную карту, подлинник, Рустаму, чтобы он передал ей». – «Кому?» – «Да Кондратьевой! Все копии у меня на руках. Ксерокс. А врач – ну ты представляешь? – даже не открыла 1 июня амбулаторную карту!» – «Какой врач?» – «Кондратьева! И сказала Рустаму: мы тебя направляем в первую горбольницу.

Ты так напиши, в общем: просьба срочно разобраться. Срочно, слышишь? Большими буквами! И найти снимок головы, где врачи поставили заключение гидроцефалия. И как же, напиши, в военной-то организации теряются документы? И почему врач Кондратьева не открыла амбулаторную карту и сказала, что у моего сына нет никакой гидроцефалии?.. Где же правда? Так и напиши... Военному комиссару...»

* * *

Job

«Набери знаешь как? *Приемщица в химчистку*». – «Набрала». – «Ну и?..» – «Смотрю... Ага... *в европейскую прачечную срочно требуется приемщица*». – «В европейскую – хорошо...» – «Не думаю... Посмотрим, чего хотят...» – «И чего хотят?» – «До хера. Программа 1С, «без вредных привычек», прописка московская...» – «У тебя только с пропиской, пожалуй, в порядке...» – «Интересно, зачем им приемщица-москвичка?» – «Без понятия, но ты все равно не подходишь. А зэпэ?» – «Зэпэ...хм... от 450-ти до 570-ти у.е. Маловато...» – «...а в резюме напиши: "Умею склонять числительные"». – «А-а-аабязательно. С девяти до девяти, два через два. До тридцати пяти лет, мне еще год...» – «А в сорок где работать?» – «В сорок, возможно, уже не здесь. Смотри лучше, чего еще...» – «Щ-щас... О, эт по твоей части ...» – «По моей части не бывает». – «Тебя в прежние времена давно за тунеядство посадили бы...» – «Добрая...» – «На что ты живешь?» – «На гонорары. Ну, читай...» – *«Для работы в новом ток-шоу требуются творческие люди»*. – «О-о-о... Это сценарии. Потенциальная аудитория – офисный планктон». – «Ты что, не можешь ничего написать для планктона?» – «Для планктона не хочу». – «Ну и дура, за планктон платят, а твои рассказы на хрен никому не нужны». – «Я бы в сторожи пошел... Слушай, а если ночным портье? Ни с кем не разговаривать – ну, почти... Никаких тебе людей... Тихо... Читать можно... Вот это работка!» – «Кино и немцы, а не работка...» – «Лилиана Кавани...» – «Ночной портье по-нашему – это типа администратора в гостинице, так?» – «Мы ж т е б е работку ищем, не мне...» – «А ты на что жить будешь?» – «На гонорары. Я же говорю...» – «Погоди, это точно для тебя: *«По характеру – вождь, флагман, лидер-аккуратист...»* – «Что-о-о?..» – *«Хороший характер. Внятная речь»*. – «Это у меня характер хороший?..» – *«Забота о людях и текстах. Поддержание творческого воздуха в редакции»*. – «?..»– «Да не смеюсь, так и написано... Погоди, а вот этим менеджер нужен: *"Петр I прорубил окно в Европу. Сможете ли вы проложить себе дорогу в неизвестный мир – мир туризма и экзотики? Попытайтесь! Позвоните по номеру..."*...Старуха, пора на панель». – «Дык, в тираж вышли, а за книжный так и не заплатили...» – «Что ты можешь, кроме букв?» – «А ты?» – «Я?.. А я вообще... Я, Наталья, не могу больше...»

* * *

Последний звоночек

«Грешна ли?» – «Грешна». – «Гордыня ли велика?» – «Велика». – «Каешься?» – «По-разному». – «Обратно пойдешь!» – «Сжалься...» – «Тогда в ад». – «Лучше в ад, чем обратно...»

И – будильник: раз-два-три, раз-два-три...

Сначала – до первого «звоночка» – Ухо нежно-розовое...

21-22.07.07

Евгений МОСКВИН

Созерцание фильма

Короткометражный мультфильм о двух полостях

Дочь начинает плакать об умершей матери.

Это всего только карандашный рисунок на белом листе: туловище и голова двумерны; две руки-линии, две ноги-линии; шея-линия...

Она плачет сильно и долго, навзрыд, сотрясаясь, впрочем, только определенными частями рисунка: конвульсивно подергивается одна рука (правая) и одна нога (тоже правая), туловище то и дело изгибается в округлую скобу.

Это походит на различные деформации мертвого насекомого, когда по нему подолгу бьют молотком.

Хныканье истерическое, но низкое, гортанное; проходит минута, другая – в конце концов, это становится похожим на холерный кашель, сухой, непрекращающийся, до лопающихся сосудов в голове (которых не нарисовано).

Уголки экрана затираются черными треугольниками (как картина в картонной упаковке) – предвестие некоего исхода.

Тут шея дочери начинает постепенно набирать толщину, алеть. Черты детализуются, уплотняются – минута, и это уже настоящая женская шея, телесного цвета (тогда как остальное – все тот же примитивный детский рисунок), однако недолго шея сохраняет нормальный вид: с одного края образовываться шишковидный вырост, из которого вылупляется маленький человечек, состоящий совсем уже из одних черных палочек и точек.

Вскрытый изнутри вырост на шее дочери имеет теперь по краям рваные бумажные треугольники.

Дочь перестает кашлять и вытаскивает человечка из своей шеи; счастливо вскрикивает:

– Мама, ты жива!

Ее молитвы услышаны.

Просветление фильма

I

Анонс фильма он прочитал в телепрограмме:

«Несколько детей, играя среди заброшенных руин на окраине города, внезапно наталкиваются на старинную тайну, начинающую обретать новые, неизвестные доселе подробности, которые принимают для ребят едва ли не жизненно важное значение».

Тайна! Ему было десять лет, и ему страсть, как нравились тайны! А эта еще и такая, которая будоражит умы много веков...

Евгений МОСКВИН родился в 1985 году в городе Королеве Московской области. Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Рассказы публиковались в журналах «Октябрь», «Сибирские огни», «День и ночь», «Крещатик», «Юность», «Аполлинарий», «Уральский следопыт», «Литературная учеба», «Российский колокол», «Дети Ра» и др. Шорт-лист Илья-премии в номинации «Проза» (2006). Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Малая проза» (2006, 2007). Победитель литературного конкурса «Бекар» за лучшее произведение о музыке в номинации «Проза. Классическая музыка» (2006).

.....
.....

Между тем, кадр из фильма, помещенный возле анонса, вызвал у него небольшое разочарование – там было изображено мальчишеское лицо (видно, одного из детей, о которых было написано в анонсе); лоб наполовину прикрывали кучерявые волосы, верхняя часть шевелюры в кадр не вошла; подбородок снизу – тоже. Взгляд был отведен куда-то в сторону и ничего, в сущности, не выражал – быть может, это взгляд на собеседника за кадром, отпускающего короткую реплику, незначительную...

Разочарование... позже он подумает, что если бы был взрослее, то, скорее всего, не придал бы этому кадру вообще никакого значения или просто расценил, как неудачное дополнение к анонсу.

Но тогда, по прочтении анонса он ожидал чего-то большего... (это холодное лицо – никакой застывшей мимики, только левая бровь чуть отведена)... он ожидал, что кадр также будет отражать тайну (словно резюмируя фильм – не тот, который должны будут показывать; тот, который он предвосхищал воображением)...

Внизу анонса значились фамилии актеров, исполняющих главные роли и страна-производитель.

«Чехия? Какая еще Чехия? Разве там можно снять хороший фильм?»

Конечно, он понимал, что в Чехии тоже снимают какие-то фильмы, но... «разве они могут быть интересными?»

И тут он впервые усомнился в достоверности анонса – его охватила досада, очень непродолжительная. (Но прежнее разочарование, тем не менее, вдруг как-то странно сошло на нет, – и он просто задавал вопросы, самому себе, про Чехию).

Фильм должны были показывать в середине следующего дня, и до этого времени в его голове так и продолжали вертеться одни и те же вопросы: «Чехия? Хороший фильм – в Чехии? Разве это возможно?» – вызывая смущение.

Впрочем, это не помешало ему заблаговременно предупредить своих родственников о фильме, который «страшно заинтересовал» его, фильме о старинной тайне, «которую, видно, все стараются разгадать, и никак не могут», бьются над разгадкой (будто бы даже и за пределами фильма), и когда он узнал, что во время транслирования собираются смотреть по другому каналу какую-то развлекательную передачу, потратил более двух часов на то, чтобы убедить уступить телевизор...

Подспудно его удивляла его собственная настойчивость, взявшаяся ни пойми откуда.

Когда он убеждал, уговаривал родственников, то, на какое-то время, напрочь забыл о фильме, – он просто упрашивал, умолял, запамятовав, зачем, собственно, это делает...

А потом, когда его уговоры, вконец, увенчались успехом, снова вернулось смущение и двоякое впечатление о фильме – с одной стороны, ему хотелось посмотреть фильм – о старинной тайне, с другой – ему не давало покоя, что фильм снят в Чехии...

Он досадовал.

II

На следующий день он стоит перед включенным телевизором; полувытянув руку, в которой зажат пульт.

Фильм должен начаться с минуты на минуту.

Последние секунды рекламного ролика... светлеет первая сцена фильма. Он различает солнечный диск, размытый (не то от пока еще не прояснившегося экрана, не то от неясного, облачного неба) – нарождающаяся заря над неясными, краетемными громадами... это...

«Руины? Как я мог забыть о руинах? Дети... играя среди заброшенных руин... – так было написано в анонсе, я совсем забыл, а ведь руины так подчеркивают тайну!..»

Старинная тайна?.. Чехия?.. – они как бы противостоят друг другу, со вчерашнего дня так и повелось, – и снова его начинает мучить смущение.

Но теперь еще эта новая мысль:

«Я забыл о руинах... Я совсем забыл о них! Я не придал им никакого значения – это так странно, неестественно!»

Он отводит взгляд и выключает телевизор...

III

Позже ему не будет давать покоя: почему он так тогда и не посмотрел фильм; почему внезапно выключил телевизор и направился из комнаты.

Этот вопрос будет время от времени всплывать в его мозгу – в течение жизни.

«Вероятно, когда на экране появилось изображение, у меня было точно такое лицо, как у того подростка на картинке возле анонса. Холодное, равнодушное...– как-то придет ему в голову; спустя десятки лет. – И именно поэтому я выключил телевизор... да-да, поэтому и только. Из-за выражения лица, которого не знал и не мог видеть со стороны. Оно возникло внезапно и не из-за чего, как посторонняя маска... Из-за выражения лица самого по себе, не вызванного детскими мыслями... не вызванного тогдашним смущением...

Это уже было не мое лицо, и я отвел взгляд от экрана, в сторону, – как на картинке возле анонса, – и выключил телевизор, останавливая кадр...»

Детородная боль

Писатель написал в своем дневнике про сову, из уха которой вылезала другая сова, ослепшая, взъерошенная, – нечто, вроде детеныша, но нет, это была болезнь, выпуклая опухоль.

Сова-«детеныш» не вылезла до конца, но показала лишь свою голову из уха «матери», долгие годы бывшей питательной средой.

Писатель мог сделать из этого рассказ, придать форму, что называется, – например, начать так: «Однажды сова, сидя на дереве, почувствовала, что в ее голове... как бы это сказать... что-то происходит... какое-то движение. И теперь сове совершенно не хотелось выслеживать мышь, чтобы полакомиться на ужин...», – что-то в таком роде.

Но писатель не стал писать рассказа – потому что все дело было только в нем, в его испуге, который он испытал много лет назад, когда был шестилетним ребенком.

Отец принес из леса раненую сову, в корзине для грибов. И ухаживал за совой дня два, надеясь, что она поправится, – ухаживал, как за ребенком; даже пытался кормить, но она ничего не ела.

Корзина стояла на высоком деревянном шкафу, накрытая покрывалом, и ребенку не было видно совы, а только как отец вставал на маленькую табуретку и откидывал покрывало, чтобы посмотреть, жива ли сова, и ребенок воображал, как она шевелится под темнеющей рукой с посторонней вмятинкой под костяшкой указательного пальца.

(Спустя годы писатель напишет в дневнике неправду: «Когда мой отец гладил сову, мне казалось, что она, а вернее, ее оперение, шевелится у меня во рту».)

На третий день сова умерла.

Смерть обнаружил ребенок: проснувшись утром, он посмотрел на корзину и... вскрикнул. Совиная голова высовывалась из-под покрывала – возвышалась над плетеным бортиком. Глаза были закрыты. Клюв оторочен цепочкой пыли.

Оперенный остаток ночной агонии и желания... посмотреть.

Исходы

Схема преступления была четко продумана и подготовлена, но, как водится, именно здесь-то и возникло множество дополнительных вариантов, которые, с одной стороны, ставя в тупик, угрожали чуть ли не на самом корню уничтожить наши планы, а с другой могли бы помочь избежать наказания.

Я работаю хаускипером в отеле, что находится в южной части М. и имею в подчинении нескольких уборщиков, среди которых одного из них, Халида, я знаю несколько больше, чем остальных, – нас связывает не только работа, но еще и приятельские отношения. Свой человек у меня есть и в городе: это Ашраф, владелец парфюмерной лавки, которому поставляют как цветочные масла, так и многоцветочные и лечебные, вроде Секрета пустыни, Сандала или Франкэссенс, – и все же дела Ашрафа идут пока не настолько хорошо, чтобы он мог просто и спокойно заниматься торговлей.

Окна моей конторы выходят на рыбный ресторан – это высокая башня, стоящая возле самого пляжа, уплощенная в середине, а вверху наоборот имеющая расширение в форме колеса, – внутри нее как раз и располагаются столики с низенькими витиеватыми подсвечниками, которые словно ввинчены в янтарные столешницы. Вокруг этих столиков каждый вечер бегают трое сенегальцев в желтых ливреях и старательно обслуживают состоятельных посетителей. В ресторан ведет винтовая лестница с пришпоренным ковром – на ней я буду стоять, чтобы познакомиться с туристом (обязательно мужчиной), разговориться с ним, а затем предложить встретиться еще раз и показать город. Разумеется, я спрошу его, в каком номере он остановился – это не должно вызвать подозрений, и, кроме того, работникам отеля обычно доверяют. Далее происходит следующее: мы согласовываем время встречи, и в назначенный час я везу его в парфюмерную лавку Ашрафа; при этом я должен обязательно заплатить за такси,–»первый порог доверия» – дать понять этому человеку, что теперь он не имеет морального права уйти от меня или моих людей, ничего у них не купив...

...Вот мы подъезжаем к парфюмерной лавке – всего лишь одному кирпичику в рядах магазинов, которые тянутся с обеих сторон до самого горизонта двумя блистающими змеями, чтобы на самой его линии слиться в одну, но тут же и кануть под землю. Стеклянные витрины, бутылочки на полках, различные по цвету, а тем более по форме, сияние ламп, преломляющееся в масле сотнями остроносых звезд – все это соединяется друг с другом в сложную систему света, жидкости и стекла, но чуть повернул голову – и тут же все переменилось. Звезды пробежали друг по другу, точно шестеренки в наручных часах, и изменили положение; бутылочки качнули головами и смешали друг в друге свое содержимое... сотни, тысячи вариантов того, как это может произойти, и каждый контролируешь ты, поворотом собственной головы... но, в то же время, и нет, не контролируешь, потому что никогда не знаешь, каков будет результат. Улыбчивые усы Ашрафа встречают нас у входа, выплывая из-за косяка витиеватой, напомаженной росписью. Он здоровается и приглашает нас внутрь. Ашраф не один в лавке. С ним женщина, которую он будет выдавать за свою жену, но на самом деле она гулящая, зарабатывает этим и выглядит, как гулящая: не прикрывает лица и тела паранджой, носит джинсы и легкую пятнистую майку, из-под которой похотливо сияет бижутерия. У нее вьющиеся рыжие волосы и перед тем, как подморгнуть туристу, она обязательно чуть встряхнет волосами, и они заколеблются, готовые уже разрушить прическу, но все же лак в последний момент сумеет удержать колечки в прежнем положении. Женщина сидит на высокой кожаной скамье, слева, а мы садимся справа, против нее. Ашраф предлагает выпить холодного красного чая, настоянного на розе и мяте; он еще не начал рекламировать свои товары и ненадолго ретируется, а вот женщина уже легко флиртует с туристом. Если тот, сразу почувствовав ее доступность, пересядет и попытается нежно заговорить с ней или даже обнимет за плечи, то Ашраф, вернувшись с подносом, на котором помимо стаканов возвышается еще и ведерко со льдом, должен сказать:

– Be careful! It is my wife!

А если тот останется сидеть на месте, Ашраф просто должен представить ее. После того, как мы выпьем чая, туристу уже и вовсе неловко будет уйти с пустыми руками, – это «второй порог доверия», – и тут как раз кстати Ашраф начнет рекламировать масла.

Когда мы разрабатывали план, долго спорили: Ашраф уверял, что если мы здесь не остановимся, игра станет слишком витиеватой и рискованной; Ашраф говорил даже, что и женщины совершенно не нужно, но я сумел убедить его, что при наилучшем исходе мы сможем получить в пять, а то и в десять раз больше, стоит только набраться терпения...

Он снимет несколько бутылочек с полок и перед тем, как попеременно поднести их к носу покупателя, обязательно упомянет, что в этих маслах нет ни капли спирта, поэтому запахи такие стойкие и держатся на теле около двадцати четырех часов; затем расскажет, какой запах какому типу людей подходит или даже в каких ситуациях его следует использовать (это касается, к примеру, Мускуса), – но все это, разумеется, очень условно. В это же время женщина все настойчивее и настойчивее будет встречаться с туристом глазами и улыбками, рано или поздно турист обязательно скажет что-нибудь, вроде:

– My friend! Your wife is very beautiful! – это может произойти до или после, как они сговорятся о цене или даже после того, как турист заплатит Ашрафу деньги, но даже в этом случае должна произойти ссора. Как только турист сделает комплимент женщине, Ашраф вспылит, вскочит со скамьи и по-арабски начнет кричать, чтобы турист немедленно убирался из магазина. Я сделаю вид, что пытаюсь образумить Ашрафа, но все это окажется бесполезным: туристу придется встать и уйти. Это я называю «третьим порогом доверия», самым сильным, ибо здесь турист должен почувствовать себя виноватым.

Минут через тридцать, когда турист уже вернется в номер, я позвоню туда, извинюсь за Ашрафа и попрошу о новой встрече. Он согласится и наверняка возьмет с собой много денег, но и это не так уж важно, потому как Халид в его отсутствие все равно обшарит весь номер. На сей раз я поведу его в кабаре «Cocos», что в противоположной от парфюмерной лавки стороне города. С восьми часов вечера до самого утра под высоким соломенным шатром «Cocos» выступают музыкальная группа с певцом и танцовщицей, причем певец выходит на сцену каждые пятнадцать минут, а танцовщица каждые двадцать,–вот почему они могут пересечься друг с другом в самом начале песни, в середине или в конце,–или же не пересечься вовсе. С официантом, который работает в кабаре, – его зовут Гамаль, – у меня тоже есть предварительная договоренность. Если он увидит меня, то не станет нести к столику меню, а туристу я объясню, что часто здесь бываю и знаю все цены, после чего сделаю заказ. Ровно тогда, когда на сцене одновременно появятся и певец и танцовщица, я скажу туристу, что это очень дорогое место и даже за пиво ему придется заплатить большие деньги, не говоря уже о закуске. В этом случае существует два варианта, как он поведет себя: или захочет взглянуть на чек, или, что также вероятно, просто достанет кошелек и расплатится. (А быть может даже еще и останется мне должен.) Если он запросит чек, Гамаль принесет ему поддельный...

...Пока мы будем в кабаре, Халид возьмет половину денег, оставленных в номере, – ровно половину и не более того, ибо на следующее утро, когда турист поднимет тревогу и начнет разыскивать меня в отеле, к нему отнесутся с недоверием: если его действительно ограбили, почему вор не забрал из номера всё? Я долго обдумывал этот ход и понял, что он наиболее безопасен, потому как если взять все деньги, то состав преступления будет налицо, а если не взять ничего, наши усилия не окупаются: пускай турист заплатит в кабаре, пускай даже останется должен, – так или иначе, если разделить эту выручку между участниками, окажется слишком мало. К кому обратится турист, когда начнет искать меня? Разумеется, к гиду, а тот перенаправит его к начальникам, которые сидят в нашем отеле за компьютерами возле стойки «Reception» и, конечно, сразу вычислят меня, как только посмотрят в базу данных работников отеля...

...Начальники носят колоритные синие рубахи (в нашем отеле каждую должность можно идентифицировать по цвету рубахи: я, например, ношу светло-зеленую в тоненькую клеточку, Халид – темно-зеленую и очень плотную, менеджеры – светло-оранжевые и т. д.), – и когда раз-

говаривают с подчиненными, золотистые пуговицы пускают в глаза молнии, вроде тех, которые бывают, если долго смотреть на солнце, но ни это, ни даже осознание моей виновности не должно смутить меня, да и вообще я никогда не страдал робостью. Я буду твердо настаивать на том, что турист просто плохо обыскал номер, и его деньги, на самом деле, в целостности – он и сам будет испытывать некоторую неуверенность, и это, несомненно, сыграет мне в плюс. Конечно, начальники заинтересуются нашим вчерашним приключением, но даже если турист и догадается об инсценировке, разве он сможет это доказать?

Кажется, все...

...Нет, ничего подобного. Каждый работник нашего отеля носит на груди небольшую пластмассовую бирку с именем. Что если еще при первой встрече с туристом я выдам себя за кого-то другого? Это существенно затруднит поиски, которыми он займется на утро, и Халид мог бы с меньшим риском украсть из номера не половину, а больше. А если бы я помимо этого переодел бы еще и рубахи, сменил бы светло-зеленый цвет на синий, выдав себя за начальника? Тогда Халид мог бы взять и все деньги, и почти наверняка мы остались бы неразоблаченными. Эти варианты касаются только кражи в отеле, но это лишь один эпизод из трех, а вернешься к двум оставшимся (то есть к парфюмерной лавке и кабаре), получишь все новые и новые возможности...

...Ну а как насчет самого плачевного исхода? Если мне не только сделают выговор, но еще и уволят? Разве и здесь я пришел к концу и проиграл? Нет, ибо Халид всегда может вернуть украденные деньги, положив их в такое хитрое место, что турист подумает, будто они никогда и не пропадали, а это он сам по оплошности или из-за слишком возбужденного состояния не сумел обыскать номер тщательно. Тогда зная о моем увольнении, он пожелает справедливости и заступится за меня перед начальством.

Линии возможностей и варианты как по заказу появляются для тех, кто находится в поиске, но их так много, что они утомили бы даже строителя лабиринтов, – вот по какой причине ты путаешься в них... так и оставаясь на месте.

Струны

Они ехали в северную часть страны. Двое мужчин и одна женщина. В большой машине, белой, только откидной верх был черного цвета. И с морщинами кое-где. И одной трещиной. Его уже два раза срывало за последние несколько часов, от сильного ветра.

Теперь ветер почти стих. Они медленно продвигались вперед. Изредка слышимый в вечереющем воздухе заржавелый треск машины походил на скрип отворяемой форточки...

В ветхом старом доме?.. Где все неподвижно и много пыльного, солнечного света, прошивающего даже чердак, и деревянных сундуков, на одном из которых стоит кувшин с высохшим физалисом?..

По обе стороны дороги простиралось ржаное поле, рыжее, с кое-где прожженными белесо-желтыми оспинами. Солнце стояло еще довольно высоко, но позади машины, а потому, если бы кто-то посмотрел на сидящих людей через лобовое стекло, увидел бы лишь три тени, изредка покачивающиеся, – одну за рулем, мужскую, и еще две – на заднем сиденье. И ни одной черты лица. У женщины длинные волосы; кажется, густые; голову она склоняла так, словно на руках у нее был маленький ребенок.

Под такие картины приятно терять глубину сна, всплывать на поверхность. В явь.

Дыхание учащается – слышатся хрипы, поначалу неуверенные, но чуть позже из-за снова поднявшегося ветра они обретают отчетливость. Кому они принадлежат? Водителю – его тень дрогнула и вот уже клонится к тому месту, где должен быть руль.

Сказывается ранение, которое он получил вчера. Виноват был охотник, пустившийся в погоню за кроликом возле самой дороги. Прицелился, но не рассчитал, – охотнику было уже за

шестьдесят, и видел он худо, – дробь, миновав опущенное стекло автомобиля, угодила водителю в плечо, повыше лопатки. Он вскрикнул, остановил машину. Остальные не сразу сумели сообразить, что произошло. Потом женщина тоже начала кричать...

Прежде чем рубаху водителя изорвали на бинты, он успел потерять много крови, и позже чувствовал себя все хуже и хуже. Ему часто хотелось пить. То и дело в его памяти всплывало лицо охотника, растерянное и морщинистое, с покрасневшими веками и мучительно слезящимися глазами – как от неприятного эпизода, виновником которого он оказался, так и просто от опутывающей старости...

– Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?.. – тень женщины встрепенулась, выпрямилась, – слушай, по-моему, он теряет сознание.

– Эй, притормози! – мужская тень на заднем сиденье.

– Я не могу дальше... черт...

Машина останавливается. Слышится звук отворяющихся дверей. Женщина склоняется над водителем.

– Как ты?..

Нет ответа.

– Он не может вести. Поведешь ты.

– Я не водил уже десять лет. И у меня нет прав.

– У нас нет выхода. Будем надеяться, что нам и дальше никто не встретится.

Они перетаскивают водителя на заднее сиденье. Он и правда почти потерял сознание, хотя рана давно уже не кровоточит.

– Давай, садись за руль. Я присмотрю за ним. Садись.

– Ладно... Хорошо, хорошо.

Когда машина тронется, женщина снова будет сидеть на заднем сиденье со склоненной головой. Чуть позже она спросит:

– Что?.. Что ты говоришь?..

– Свобода... вода... у нас осталась вода?

Вдоль неба протянулась серо-дымчатая шершавая дуга – след от самолета, который давно растворился.

евгений стрелков

ВОЗДУШНАЯ АРКТИКА

монолог – альбом

вот карта – на ее листах
мир в треугольных лоскутах
но трасса твоего пути
поможет их переплести
и навигатора мечты:
увидеть полюс с высоты
его желание – полет
его удел – небесный лед
монолог первый: приветствие навигатора

СТЕНЫ ЗОВУТ

Сами стены здесь зовут в воздух. Пожарные лестницы на слепых – без окон – торцах пятиэтажек обрываются в небо, и во рту появляется металлический привкус, когда, сидя во дворе на бортике песочницы, вглядываешься в ненадежные ограждения шиферной высоты. В замыслах пальцы сжимают стылые трубки мостика воздушного корабля.

ПРИВЫКАЮ К ВЫСОТЕ

Я поселился на пятом этаже и привыкаю к высоте полета, держась за балконные поручни.

В окне – две полосатые трубы, из которых идет белый дым. Если сесть на пол так, что подоконник закроет шиферные крыши, окна с занавесками и без, верхушки деревьев и столбов, железные гаражи и мусорные ящики, то кажется: на горизонте двухтрубный крейсер отправился в полярный рейс.

НУЖНО СЛЕДИТЬ

Наблюдение воздушных объектов. Сидение в полдень на самом верху дома по соседству с осиными гнездами. Невидимый гул и дрожание крыши. Мир тих и надежен, впрочем, не стоит терять бдительности – нужно следить за флагами и шарами на смотровой вышке, за сигнальными дымами и воздушными змеями, за флюгерами, за полетом птиц...

НАНОСИТЬ ПЕРЕМЕНЫ

Нужно старательно, сдувая мошек со стекол очков, наносить все перемены на воздушную карту – и вновь сличать нанесенное с открывающимся видом. И замечать, что – да, воздух становится прозрачнее и чаще – ветер. Но это ли повод для печали! Печаль появляется вместе с летящей паутиной и криком птиц, она остается в воздухе горьким тепловозным дымом, оседает в ложбинах туманом вечером и инеем утром... Печаль первого сентября. Но ведь ты уже не мальчик?

монолог второй: замечание мальчика

ПРИЩУРИШЬ ГЛАЗА – УВИДИШЬ

Замечаешь: там, в слуховом окне, нежно отражающем небо весеннего дня – стекло разбито ловким щелчком рогатки. От дырки во все стороны трещины. Напоминает карту Северного полюса... А если прищуришь глаза июльским вечером, когда розовые стены домов пропадают на фоне закатного неба, увидишь веревочные лестницы тающих в высоте аэростатов...

Евгений стрелков родился в 1963 году в городе Тавда на Урале. Окончил Нижегородский Университет (радиофизика). Живет в Нижнем Новгороде. Главный редактор литературно-художественного альманаха «Дирижабль». Стихи и проза печатались в журнале «Волга – XX век» в 2007 – 2008 гг.

КАЛЬКА, ФОЛЬГА, НИТКИ, ЩЕПКИ

Я строю макеты воздушных кораблей из кальки, фольги, ниток и тонких щепок. Я читаю книги о воздушной навигации, учусь обращаться с компасом и сигнальными флагами. А о движении воздушных масс в высоких широтах рассказывает школьный учитель.

монолог третий: речь учителя

РАЗГЛЯДЫВАЯ ДЫМ

Я вспоминаю человека в вашем возрасте лет тридцать назад. По вечерам он составлял карту приполярных воздушных течений, разглядывая дым, идущий из трубы школьной котельной. А в конспекте уроков писал: «...Весенние дымы – как белые журавли; они парят высоко и привольно; осенние дымы – как рябь на глади вод; зимние дымы – словно размывы туши – своей толстой вуалью покрывают все небо...»

В СЫРУЮ ПОГОДУ

Пыльные шарообразные школьные абажуры освещают матовым светом лестничные пролеты, так что в сырую погоду создается впечатление подводного существования. В ветреную же погоду скрипят деревянные балки и рассохшиеся стропила, воют тросы растяжек котельной и леера ограждений, гудят водопроводные трубы, потрескивают громоотводы – неземная музыка полярной экспедиции... Поздние вечера провожу за беседами в доме истопника.

монолог четвертый: шепот истопника

ПОВИСАЯ В ВОЗДУХЕ

Дом устроен непросто. Наверх ведет винтовая лестница, порой трубою исчезая в стенах, порой петлей повисая в воздухе. Многочисленные термометры, барометры и ареометры встречаются на всем протяжении подъема. Медные трубы различного назначения пронизывают здание: одни для отопления, другие для вентиляции (доносить в подвалы озон грозового неба), третьи для переговоров (здесь не признают телефона). На самой верхушке, на чердаке, за обитой войлоком дверью – зимняя кухня. Чугунная печь, на ней таз с замерзшей водой; паутина в углах; на полу мумии ос; на дне стакана чай, ставший трухой, – тут никого не было всю зиму.

ОТКРЫВАЮ ОКНА

Но когда день станет длиннее ночи, я приду сюда, затоплю печь и открою окна.

Оттаивает вода в тазу, и нагреваются стены; теплый воздух кухни подхватывается меридиальными потоками – и спустя месяцы, где-то там, на севере, начинает крошиться лед, освобождая морские и воздушные суда из зимнего плена. И запах дыма смешивается с влажным ветром в голове радиста-полярника, отстукивающего весенние позывные.

монолог пятый: рецепт радиста

СОЖМИ ВЕКИ

Путешествие во снах – такое же путешествие. И если вечером выпить пару рюмок ликера, настоянного на перепонках летающих ящериц Мадагаскара, – вероятность ночного путешествия велика. Дальний путь трудно пройти за один сон, потому самое главное – не забыть, где остался на день прошлой ночью. Тут помогут вешки, расставляемые во сне. Проснувшись, не открывай глаз, а лишь крепче сожми веки – на миг ты увидишь звездную карту на глазных полушариях – запомни ее.

ВАЖНО ВЕРНУТЬСЯ

И веди дневник, не включая света: ничего, что утром ты не разберешься в значках ночи, – много ли ты понимаешь в знаках дня... Иные же кладут на лицо влажную папиросную бумагу; морщины, появившиеся на ней утром, – следы ночных странствий. В воздушном сне важно не только уйти, важно вернуться. Однообразие ледяных равнин под тобою притупит память, монотонные ветры рассеют дым времени... И тогда напрасно будет вглядываться в белую тьму в поисках обратной дороги заплутавший во снах навигатор.

монолог шестой: зимний сон навигатора

ЧЕРЕЗ ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ

Снится музей Арктики. Тесные комнаты соединены по-корабельному узкими лазами, люками, трапами. Пробираюсь из зала в зал со спутницей, оглядываясь по сторонам. Понимаю, что здесь мы без спроса (зашли с площади через открытую дверь). Я предлагаю выбираться. Но спутница непослушна, она увлечена игрой на необычном маленьком органе, воздух в который нагнетается подушкой сидения – чтобы играть, музыкант должен все время раскачиваться. Это завораживает, и я забываюсь...

Однако музыки нет – только шипение выходящего из инструмента воздуха. К его ритму примешивается звук шагов – появляется служитель музея, капитан ледокола в прошлом – бородка, усы... Он берет мою спутницу за руку и бесцеремонно уводит – она почти летит за ним. Меня же он не замечает.

УЙТИ НЕНАДОЛГО

Я пускаюсь на поиски – и вскоре нахожу спутницу – она, обнаженная, свернувшись в клубок, спит на гранитной тумбе на той же площади. Я бужу ее и говорю: постереги вещи, мне надо уйти ненадолго, уладить наши дела. Осторожно за руку перевожу ее на край площади, где она опускается на деревянный помост рядом с сумками: «Не спи, я иду к капитану – искать тебя».

монолог седьмой: ожидания спутницы

СМОГЛИ БЫ

Ты действительно собираешься в Воздушную Арктику? Жаль, я не смогу быть с тобой там, среди фигур, что висят в воздухе (дым, луна, птица). Но мы смогли бы отправиться вместе вниз по реке...

Я глядела на карту рек – их течение прихотливо как полет птичьего пера в арктических струях. В речном плавании ночные огни городов – словно полярное сияние, шлюзы подобны воздушным ямам, а навигационные знаки на берегах такие же, как на камнях Югорского шара...

РАЗЛИЧАТЬ ПО ГОЛОСУ

Или поедем в Ялту... Снимем номер под самой крышей. К утру будем различать по голосу голубей, взбалтывающих небо над старым портом. А от причала по берегу на многие сотни метров – цепочка рыбаков, линия кефали. Прогулка вдоль нее – как морской парад на виду пронзительно зимнего дня.

Мадера в нагрудном кармане – с каждым ударом сердца стареет вино. Глоток на девятый шаг – строка бутылочной почты...

В пути нам будут сниться дорожные сны...

монолог восьмой: дорожный сон навигатора

КАК КСТАТИ

Село на Ветлуге. Захожу в большой бревенчатый дом, углом осевший на перекрестке. Полумрак, скрипы, ступени, лестницы, чуланы. Лабиринт. В одном из коридоров на мертвом холодильнике – книга Павича на сербском. Открыл наугад: парень после первой близости с любимой говорит ее подруге: «Я был у нее и в дневном, и в лунном кратерах». На книге – библиотечный штамп. «Как кстати», – подумал. Вспомнил, что сегодня по почте получил Павича на русском. Взял обе книги и толкнул какую-то дверь.

БРОДИТЬ ПО ДЮНАМ

Оказался в библиотеке. Несколько человек на лавках за столом, в ватниках, шапках и шалях. Бородатый библиотекарь за стойкой. Я протягиваю обе книги. Он берет и спрашивает по-сербски: «Еще что-нибудь?» – «Еще Павич есть?» – «Но-но». «Хвала», – киваю и выхожу в очередную дверь. Оказываюсь в своей (как-то сразу понял) комнате – небольшой, чистой, со скобленными полами – так и хочется сказать: горница – и с видом на Ветлугу. Река довольно далеко, а до нее – бесконечные песчаные дюны. У берега пыхтят два буксира. Низкое облачное небо с ярко-голу-

быми просветами. Неслышно подошла спутница, остановилась у окна. «Надо бы пойти бродить по дюнам, – говорю. – Смотри, как хорошо».

монолог девятый: попутный сон спутницы

ВЫГЛЯНУВ В ОКНО

Мне снится сон: я дома, у раскрытого окна, варю друзьям кофе – и вдруг отключили электричество. Лето, полумрак в комнатах и июльское солнце во дворе. Выглянув в окно, с изумлением замечаю человека, стоящего в воздухе. Лишь приглядевшись, понимаю, что он стоит на натянутом проводе.

ПО ДРУГОМУ ПРОВОДУ

Я в испуге отворачиваюсь от окна, а когда снова смотрю, – он уже не один там: по другому проводу скользит девушка. Вскоре на проводах тут и там пересекающих двор, появляются еще несколько человек, молодые, разгоряченные вином. Девушка закуривает, стоя прямо на проводе... «Как же она не сорвется в таком состоянии», – думаю. И понимаю, что если я вскочу на провод, то сорвусь неизбежно.

монолог десятый: летний сон навигатора

ПОВИСАЮ В ВОЗДУХЕ

Мне снится, что я на представлении в летнем театре. Мое место на балконе. Но каков балкон! – вроде деревянной люльки, которую используют, когда штукатурят стены. Эта люлька-балкон подвешена к скале тросами с металлическими поплавками. Далеко внизу – море. На балконе со мной спутница. На деревянном полу скользко, я понемногу съезжаю к краю...

СНОСИТ ВЕТРОМ

Цепляюсь за один из поплавков, но он отрывается и падает в море. Между балконом и скалой образуется щель. Но самое странное, что при этом я повисаю в воздухе. Паря, я веду беседу со своей спутницей. Ветром меня сносит к скале... Наконец я на скале, перебираюсь через балюстраду и оказываюсь среди театральной публики.

РАСПАХИВАЮ ДВЕРЬ

К своему смущению обнаруживаю, что я босиком. Подхожу к балюстраде и окликаю свою спутницу (так появляется у нее имя). Она перебрасывает мне ботинки, беру их за шнурки, прохожу сквозь зрительный зал к запасному выходу, распахиваю дверь. И оказываюсь перед пустынной площадью, залитой весенним солнцем, – как на картине Кирико. Привратница на деревянном стуле у входа, не поднимая глаз от вязания, говорит: «Жаль, что уходите». «Я вернусь, – обещаю. – Я только за книгой».

монолог одиннадцатый: воспоминание навигатора

ПЛОСКОСТЬ ПОЛЕТА

Весной тоска словно птица. Вьет гнездо, накидывая на тебя петли нитей судьбы (путы, не ставшие путями), так что порой света белого не видно. По мере приближения к равноденствию печаль все сильнее заводит пружину твоего сердца – пока оцепенение не сменится лихорадочным движением сбившегося хронометра.

Ты встречаешь в книге: «...весной мы ощущаем свои слезы маслом, выдавленным жерновом печали из семени истины, что уже заронено в нас, но не прорастет в этой жизни...» Ты сидишь за письменным столом, как в кресле авиатора, и поверхность стола – это плоскость полета, а стакан на столе – определитель линии горизонта.

ВИСЯЩИЕ В ВОЗДУХЕ

Ты подходишь к окну и видишь фигуры, висящие в воздухе, – дым, луну и птицу. Ты чувствуешь неполноту в небе, и она гонит тебя по ветру, как майский воздушный шарик. Ты идешь звенящим маршрутом, а рельсы под ногами и провода над головой превращаются в знак, оставаясь в памяти трамвайным иероглифом.

О ПТИЦАХ

Ступив на железнодорожное полотно, спускаешься пологой выемкой к старому вокзалу – ранним утром хлебный поезд отходит от складов на причале, направляясь к отдаленным станциям. Ты видишь белые башни старого элеватора и думаешь о птицах – они живут на его крыше так высоко, что никогда не спускаются на землю.

Двигаясь извилистым путем знака, ты обретешь попутчицу, и ее появление – как долгожданная метеосводка для заблудившегося в ночи полярного летчика.

ПОДЧИНЯЯСЬ ЗНАКУ

Разметавшиеся волосы спутницы укажут направление ветра, дыхание – влажность, пульс – давление, а губы отделят твое тепло от твоего холода. Бутылка из-под белого вина отметит место, где ваши пути разойдутся, подчиняясь знаку. А твое одиночество станет ущербным, как луна в это время месяца, и ты задумаешься: что же осталось там, где уже нет света? Иногда кажется, что найдешь ответ, путешествуя в собственных снах.

монолог двенадцатый: весенний сон навигатора

ДУМАЯ О ПРОШЛОМ

Ты вспоминаешь сон, где по дороге к дому был остановлен ревущей рекой, уносившей льдины, и на одной из них – твой дом (ты и не знал, что строил на льду)... И ты бежишь во сне по мосту, но он разрушен... – а сейчас, наяву, ты видишь: он цел и без следов ремонта. Так что этот сон из будущего, говоришь ты, думая о прошлом.

Тогда ты бродил по отсекам полузатопленной баржи, как по дням недели, выглядывая на воскресенье в иллюминатор. Апрельские купания на спор, сбор аптечных пузырьков для покупки бинокля, путешествие на дырявой лодке, весенние воды и зимние льды. Сны-желания под ржавыми зонтиками заброшенного пляжа...

ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

Сидя у ручья, вновь напомнившего тебе трамвайный знак, перекладываешь ивовые прутья до тех пор, пока не сложится другой знак, похожий на конверт. Тогда кладешь ветки в походную сумку, к прочей воздушной всячине. Там уже лежат осколки слюды (из них можно сложить карту приполярных льдов), сухие крылья стрекоз, птичьи перья, паутина, нитки...

Ты спешишь домой – связать ивовые прутья нитью, натянуть на каркас папиросную бумагу, дождаться появления луны над дымом из трубы котельной, забраться, вспугнув уснувшую птицу, по пожарной лестнице на крышу – и отправить письмо для неба.

монолог тринадцатый: письмо навигатора

НА ВТОРОЙ УДАР СЕРДЦА

Когда мы встречаемся, я здороваюсь с твоим лицом, как с маленьким народом, – отдельно с каждым: с голубыми жилками у глаз; с глазами (распахнутым левым и правым сощуренным); с губами, тонкими и такими подвижными, что, кажется, рождают сразу два голоса; с перепачканными помадой зубами, что открываются при твоей улыбке – я никогда не мог не улыбнуться в ответ...

А когда ты порой засмеешься, схватив меня за руку или прижавшись плечом, и вдруг отвернешь лицо с улыбкой, которая живет не более двух ударов сердца, я замечаю, что из твоих глаз вылетает стая птиц, прозрачных, но заметных – как стекло в воде. И птицы уносят твою улыбку в небо, и там она превращается в звук, и глаза твои следят за ней, и зрачки расширяются, как при взгляде вдаль (в какой-то миг в них – все небо)... И вот ты снова поворачиваешься ко мне – на второй удар сердца. А в небе, вторя птицам, поют клавиши полярного радиста...

монолог четырнадцатый: автопортрет радиста

ЕДВА ВЗГЛЯНУВ

Шлем надвинут на самые брови, шея обмотана шарфом, как причальная тумба пеньковым канатом; едва взглянув на меня, вы поводите плечами от холода – там, на высоте, кристаллы льда

царапают гортань при дыхании и встречный ветер залепляет очки-консервы мокрым снегом... И что бы ни пытался отстучать коченеющими пальцами, в итоге в эфире всегда одно: радиограмма Умберто Нобиле...

«Обледенение дирижабля. Солнечный компас превратился в кусок льда, а осколки льдинок, отлетая, иногда попадали на пропеллеры, пробивая оболочку воздушного корабля. Механики непрерывно латали пробоины... Мы были целы и невредимы, а наш воздушный корабль безжизненно лежал посреди белого снежного поля...»

монолог пятнадцатый: наблюдение радиста

МЕЖДУ ДОМОМ И ДЫМОМ

В повседневном движении многие месяцы воздухоплаватель не ощущает границы, и лишь во сне он под властью пограничного существования: когда, как в детстве, скользя по замерзшему озеру, разглядывал речные травы и замерших рыб... когда, как в дополетной юности, прорвавшись февральскими дорогами в Крым, вдруг замирал на ялтинской набережной – границе снега и моря – и двигался вдоль, облизывая соленые губы... когда вздрагивал, как при неожиданном пробуждении, обнаружив себя между домом и дымом, бегом и богом... Оно неустойчиво, это существование на границе, и порой лишь неспешное покачивание, осторожное движение над слоем тумана продлит молчаливую пограничную радость навигатора.

монолог шестнадцатый: молчание навигатора

В НЕОНОВОМ СВЕТЕ

Навигатор молчит. Он неотрывно смотрит в окно и замечает, как на снежном поле между булочной и кинотеатром мальчик на лыжах завершает очередной круг. На снегу фиолетовые всполохи от неисправной буквы «а» в световой надписи «гастроном». На торцевой стене булочной на штукатурке дрожащие в неоновом свете контуры побережья Арктики и силуэта самолета АНТ-25. Транслируемые в треске и шипении по сети громкого вещания новогодние поздравления кажутся принятыми переносной радиостанцией.

ВЕЩИ В ДОРОГУ

Навигатор в комнате один. Он читает книгу.

«...опасности, могущие встретиться в пути: стаи перелетных птиц, такие огромные, что исчезает горизонт, а магнитный компас сбивается от бешеной циркуляции крови в тысячах крохотных роторов птичьих сердец... перепады давления, вызывающие боль в висках и безразличие к цели...»; «...вещи, которые следует взять в дорогу: клетку с почтовыми голубями, сигнальные ракеты и радиовымпелы...»

Навигатор подходит к окну и говорит, обращаясь к невидимым собеседникам (мальчику, школьному учителю, истопнику, спутнице, радисту):

монолог семнадцатый: прощание навигатора

В ВОЗДУШНУЮ АРКТИКУ

Мне кажется, близится день, когда глубокая тень дирижабля ляжет на соседние крыши...

Ветер пропеллеров снесет с земли картонный мусор...

Стекла задрожат от трубного воя моторов...

Темная громада корабля закроет солнце...

И к моим ногам (со стуком детских барабанных палочек из пионерского лагеря, с хрустом сучьев в лесу рядом с дачей, с треском выстрелов в школьном тире) упадет веревочная лестница – неизбежное приглашение в Воздушную Арктику.

Анжелина ПОЛОНСКАЯ

По пути в Финикию

Закрываешь глаза – худоба,
словно свечка горит, словно мать моей матери
в долгом терпении.

И стволы замело, и пруты завязались как петли.

Ты подай мне рубашку безликую –
пусть коснётся едва, как рабыня раба
по пути в Финикию,
и кручёную прядь уберёт ненароком со лба.

Или в зимнем отливе окна
принеси мне
масличную ветвь,
что заменит нам листья сухие.

Я надену её, если нечего будет надеть.

Рука на столе. И ночь на столе.

Рука на столе. И ночь на столе – её надрезаешь
как рыбу, глядящую вглубь синевы, сколь прочно бы мы
плавники ни связали.

Поскольку мне трапеза эта дана, я к ней приглашаю.

Из каждой прожилы взойдёшь, печальная роща моя,
из каждой пригубишь минуты
последняя тень бересклета – никто –

никто, не муж, не жена – межа ножевая,
и ночь, и рука, склонённая слепо ко мне,
и жизнь, растворённая в ней, без конца и без края.

Азимут

Всю зиму подвывала кружка, и цепь ходила.
Мой деревянный госпиталь разрушен,
разграблено с мороза горло.

Анжелина ПОЛОНСКАЯ родилась в 1969 году в посёлке Малаховка Московской области, в настоящее время живёт и работает в Подмосковье. Основная профессия – артистка ледового балета. Член Союза Писателей Москвы и Русского ПЕН-центра. Публиковалась в журналах «Смена», «Московский Вестник», «Новый Берег» и др. Автор шести сборников стихотворений: «Светоч мой небесный» (1994), «Стихотворения» (1998), «Небо глазами рядового» (1999), «Голос» (2002), «A Voice. Selected poems» (Northwestern University Press, 2004), «Снег внутри» (2008).

Я достаю у спекулянта сани.
Я руки согреваю, в рукавицы вдыхая пар
по-о-черёдно. Когда же кто-нибудь пошлёт за нами?

«Все мы стояли эту зиму насмерть», –
гляжу на холм, а не в жгуты петрову, что боли
в пепельном паху не отменяет.

Будущее в прошедшем

Когда бы ты была озером, он нёс бы тебя выс***о***ко,
туда,
где сходятся по весне снеговья.
И от каждого глотка даже мизерного насекомого
мелели бы твои берега.

Вначале, сидел бы он подле тебя,
затем приходил проведать,
не прохудились ли новые башмаки,
затем тростник подожгли, и зуммер умолк телефона.

Лишь жёлтый песок со дна уцелел кое-где.

И серые кони брели сквозь него, утопая,
их можно бы было спасти,
но я – я мёртвых коней не стегаю.

Последнее, что отмирает

Такой холодеющей ряби не будет, и нет.
Как будто и лето не в счёт,
а катит повозка, полозья во хляби роняя.

Старик укрывает жену – последнее, что отмирает.
Он ищет её рукава, он пальцы её продевает.
И бездна вины между ними уже не видна,
а только гора, куда он её понесёт.

Из кожи, из ветоши с ними уходят слова,
как музыка в доме, пока не забьётся иголка,
и всяк вопрошающий вряд ли их речь понимает,
и вряд ли находят они, что в ответ рассказать.

(...)

Как видишь, я больше не пишу тебе писем:
«приезжай, забери меня».
Всё, что я бы хотела –
выучиться на семнадцатилетнего органиста.
Чтобы женщины плакали, а свечи – трепетали.
Но разница в возрасте не оставляет мне выбора.

Станислав БЕЛЬСКИЙ

* * *

Глаза, в которых движет древность
Косые паруса на приступ Трои,
В которых жажда, лёгкость и лукавство
Образовали горную тропу.

Живое натяженье спелой ночи,
Крови густое, смутное теченье –
Твоя любовь уводит в глубь морскую,
Где двигаются тихие огни.

Ты – маска, сброшенная наспех,
Богатый яд темнеющего лета,
Ты – строгой тайны памятный рисунок
И сладкой лжи тончайшая игла.

Неважно, счастлив я или несчастлив,
Когда несёт меня, не отпуская,
Острейшее из всех земных чудес.

* * *

Обманщица! Не шлёшь мне ни строки,
Ни ветра, ни дыхания, ни плена –
Со мною только сонной грусти пена
Да запертые в погребе грехи.

А помнишь, как – волшебна, высока –
Входила в дом под свист и шелест крыльев –
Он плыл на юг в душистой тьме ковыльей,
Как мягкая, прозрачная река.

Дышала в чёрное стекло – и после в нём
Цвела свеча капризно и туманно.
Надорванного нежного молчанья
По комнате летал ночной огонь...

Станислав БЕЛЬСКИЙ Родился в 1976 году в Днепропетровске. Работает программистом. Публиковался в журналах «Воздух», «Дети Ра», «Зинзивер», «Стых», в интернет-журналах «Другое полушарие», «Сетевая словесность», «45-я параллель», «Точка зрения», «Пролог», «Новая литература», «Авророполис» и др. Автор книги стихотворений «Рассеянный свет» (Днепропетровск: Лира, 2008).

Стихи и ночь

Напророчили мне жён неплодных –
Что ни врёшь, стекает по усам –
Песнетворных, большеглазых, сродных
Диким звёздам и густым лесам.

Остужаю магму черновую,
Осаждаю черновую прыть,
Ночь за хвост хватаю голубую,
В звёздной проруби пытаюсь плыть.

В плеске улиц олово свечное
Тает, и малиновая рябь
Покрывает солнце ледяное,
И плывёт зеленой мглы корабль.

Этой песней грудь моя пробита,
В чёрном зное золота огонь –
Рассекает душу, в ночь отлита,
Тёплая, послушная ладонь.

* * *

Поэт случайного масштаба –
Отметим птицу между строк –
Владеет неудобным кладом
И веселит им женский полк.

Ревёт огонь в трубе ремёсел –
Делитель нацело чудес,
Густой коньяк в крови повесив,
Плетется рысью, шапки без.

Горчинка в музыке тончайшей,
Густого пара млечный столб,
Ларь звезд, дремотно говорящий,
Мороза рог крутой и ствол
Фонарный, в бледной тьме парящий.

* * *

Я опасаюсь взяться за перо;
Любая речь – скупой и вялый призрак,
Но жгут глаза мне ускользающие дни.

Я сильно разогнал качели,
И новые пульсируют во мне
Места и люди, новая усталость.

Хочу открыть сезон охоты
На веера полураздетых рощ,
На женщин с тихим пламенем в движеньях,
На яркую, беспримесную жизнь.

Я снова чувствую круженье
Таинственное призрачного мира,
Хочу приблизиться к уснувшим ядам,
Сотрудничать с октябрьской синевой.

Зимние этюды

1.

Как тяжело гружёная телега,
Днём катит время, сотрясаясь,
В ночи – как лодочка плывёт
С любимыми, чьи сны сплелись, как реки.

Смягчив, омыв сухой костяк зимы,
Туман сглотнул огонь за огоньком,
Покрылась улица сияньем нимбов,
Неслышным, ангельским движением авто.

Наш город спит за мягкою стеной,
За покрывалом тонкого разлада,
В ладонях неизвестных нам мелодий,
В размытых снах невидимой любви.

2.

Я видел снег, и вот что я скажу:
Две жажды есть у человека –
Одна, летящая как камень,
Другая, ждущая в ночи.

Крылом стеклянным разбивая ветви,
Безвидная и глупая любовь
Всё кружит между маленьких укусов
Скрипучей и хрустальной темноты.

Елена КРЮКОВА

Яства детства

Я так помню всю эту еду.

Я так помню всю нашу еду, черт возьми, что слезы текут и текут по щекам, безостановочно. Будто я снова, опять, как тогда, в зале старого Художественного фонда, где сильно пахнет краской, олифой и известкой, сижу у гроба твоего, и гляжу на твое мертвое лицо, и еще не верю, что ты прошел Путь, что ты совершил Переход; Переход Суворова через Неведомые Альпы, что никто не изобразит никогда, ибо когда живой изображает смерть, у него и перо, и кисть падают из рук, и, чтобы не сойти с ума, он изображает лишь подобье смерти, лишь ее картонную куклу; лишь предгорья ее, не вершины; лишь ее ноги с ледяно-синими ногтями, как Мантенья на холсте выпятил, приблизил к зрителю ноги снятого с Креста Иисуса, – не лицо ее, в кое нельзя поглядеть.

Нет сил, чтобы не плакать над той едой. Над тем, что мы ели, чтобы жить.

Человек ест, чтобы жить, ну да; разные народы варят разное варево, у всех оно свое. Котел – священен. Очаг – это жизнь. Все смерти на свете искупятся очагом. Когда я буду умирать – что я захочу поесть, что возжелаю, чтобы мне положили на язык?.. Последнее лакомство этого света... Что?.. Мандарин?.. Новогодний орех из папиных рук, там, под колючей черно-зеленой елью, где я впервые ощутила чувство безвозвратно уходящего времени, перебирая в руках бумажные игрушки, на которых была начертана четырехзначная цифра навек ушедшего года?.. Клюквенный кисло-сладкий морс?.. А может, беляш, мамин беляш из маминых рук – ведь там, на небесах, они никогда не истлеют, руки, и никогда не перестанет пахнуть жареным мясом румяный круг запеченного теста?..

Они так пахли. Так сильно пахли. Крупные, толстые беляши, если укусить – пряный луковый и мясной сок поползет по пальцам и подбородку, и надо громко втянуть в себя воздух: «У-у-у-уп!» – чтобы сок втек в твое жадно дрожащее зверюшкино нутро. Беляши. Матушка пекла их в праздник. Праздник был окрашен по-разному: то в красный цвет, кровавый, с мотающимися на ветру флагами, то в белый – снежный, ледяной. Белый искрился разноцветьем, радугой Новогодья.

В Новый Год делался обязательно холодец. Он варился из телячьих ножек. Матушка шла на Мытный рынок с большими сумками; охая, возвращалась, – радость: добыла! вырвала последние ножки у торговки! – перед целым воинством гневных баб, жаждущих холодца тоже. Нити цветных ламп, развлекательно-праздничных гирлянд, трепались в черном ночном воздухе на ветру, над бледными городскими фонарями, на худых, тощих проводах. Это был праздник. Пахло чудом. Холодец варился всю ночь в громадной кастрюле. Матушка вставала, сонная, в ночной рубашке, поглядеть на варево. Помешивала половником, пробовала. Соли мало. Или: напротив: соли много. Тогда бухалась в кастрюлю еще кружка воды, крошился зубочек чеснока. Смуглые толстые руки мамы, высовывающиеся из раструбов ночной рубахи, были двумя живыми танцующими дамами, карнавальными масками, и они веселились отдельно от строгого, постно-монашьего спящего лица. Крошили, сыпали, резали, взлетали. Сверкал нож. Я вставала в проеме кухонных дверей, тоже в ночной сорочке, и дух мой стеснялся: и от запаха еды, и от созерцанья волшебной

Елена КРЮКОВА родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию, Литературный институт им. Горького. Многочисленные журнальные публикации: «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Волга», «Москва», «Юность», «Согласие», «Нева» и др. Автор четырех книг стихов и четырнадцати книг прозы. Живет в Нижнем Новгороде.

матушки. Сказки, кухня, Золушка в золе, Матушка Гусыня... Очаг – утлая газовая плита с синими языками пламени – заменял мне средневековый вертел, баранов и гусей, политых в гостеприимном замке Кота в Сапогах лимонным соком.

«М-м-м, какое чудо холодец», – выдыхала наконец матушка, захлопывая крышку кастрюли. А в другой кастрюле, на обшарпанном подоконнике, всходило тесто, опара. Кислое тесто – для беляшей. Если прижаться носом к стеклу, можно увидеть черные крыши и тощие трубы, серое небо, мышиного цвета кота на узкой, как гимнастическое бревно, лавке и белый ослепительный снег, жалящий глаза снопами и перевязями красно-сине-золотых искр. «Алмазный снег, сверкай, велик твой бег, широк твой Рай», – шептала я снегу. Я не знала, что я шепчу стихи. Вот так же сверкал снег и год назад. И тысячу лет назад. И сто, двести, триста тысяч миллионов триллиардов лет назад. И...

Пахло беляшиным тестом; пахло холодцом, и утром его уже разливали в длинные прямоугольные формочки, чтоб поставить застывать в холодильник. Отец готовился тереть хрен. Он повязывал голову полотенцем, в рот брал горящую сигарету, а живот обкручивал старой рубахой, которой уже особо не дорожил и собирался ею вытирать кисти. Отец брал в руки мелкодырявую терку и терпеливо, долго, бесконечно, с заунывными песнями, тер хрен. Сигарета его дымилась, он стряхивал пепел в раковину, в грязные тарелки, по его огромному, загорелому на рыбалках лбу тек пот, лицо заливали слезы. «От хренок!.. От хренок!.. – стонал он с наслаждением. – От я герой!.. Який же ты лыцарь, колы ты нэ можешь холою рукою узять ежака и пидложить пид сэбэ!..» Отец, родом из станицы Марьевки, виртуозно изъяснялся по-украински. Готовя еду, он живописал ее, как если б это была картина. Жаря утку, он крошил в нее и вокруг нее, кроме яблок, еще и: сельдерей, морковь, петрушку, финики, хмели-сунели («съели-сумели!..» – весело кричал он, рифмуя), раскисшие дрянные помидоры, лук, перец, шматочки старого сальца и вообще все, что в доме нашлось и под горячую смелую руку художника попалось. Боже! Как это было вкусно! Объяденье! В московском ресторане «Прага» не едали этакой пищи. Сам же ресторан потерял, в лице отца, лучшего своего шеф-повара.

Опять же отец был добытчик. Он добывал нам рыбу. Всякую. Шкодливых карасей, золотых, тяжелых, как утюги, линей, узкую ножевую чехонь – он ее вялил, сперва замачивая в соленой воде под гнетом, а после развешивая на тонких лесках, и с хвостов чехони капал жир, – язей и лещей – этих мы жарили, но и сушили тоже, в зиму, – отец бесстрашно рыбачил на Оке, Волге и Суре, бывало, и стерлядок хорошеньких вылавливал...

Стерляжья уха... Тройную мы варили – на костре. Сначала отваривали мелких ершиков. Сливали через сито, ершишек костлявых выкидывали; далее в той ушице варили подлещиков и сорожек и, наконец, перекрестясь, закладывали в котелок крупную длинную стерлядь. И еще клали – непременно! – перо дикого, из лесу, лука и листочки черной смородины – для вящего запаху. Варилась тройная уха на костре в закопченном отцовом рыбацком котелке. А костер-то горел в Пандиковском лесничестве, в сердце Чувашии, рядом с рекой Сурой, и, кроме варки ухи, отец писал тогда маслом на холстах чувашек в черных нарядных платьях и богатых золотых монистах, чувашскую свадьбу – невеста в розовом, на спине бант, грудь вся блестит от сусального золота монист, золотая крупная чешуя падает на плечи, на живот, гармонист наяривает танец, девушка вертится перед озером зеркала... маленький этюд к большой картине, я помню его, как помнят запах молока по утрам; где этот холст?.. в каких бурях жизни сгорел?.. Холсты, картонки, бумаги, краски – в крупных красивых загорелых руках отца, перед моими восхищенными глазами... Холст с черной чувашской лошадкой – не лошадь, а конь, коняга по кличке «Тупняк». «Тупняк, Тупняк, поть сюта!» – «Что это ты его, дядь Ваня, как кличешь забавно?.. Тупой конь у тебя, что ли?.. Дурачок?..» – «Та нет, миленькай, этта он под тупом ротился. Пот тупом, кофорю!.. Сначит, имя ему – Тупняк...»

Под дубом, слышите ли, под дубом, – ласковый черный конь вечно стоит теперь на картине, и нежная серебряная зелень наметанных стогов, и серебристое дерево старой телеги, из которой конь осторожно ест сено, поют мне о том, что душа отца счастлива и спокойна там, на Небе.

А карасей он жарил в сметане, а мне было жаль их, маленьких, круглых, похожих на чувашские монисты, рыбок – и я плакала, но ела, потому что вкусно было! Запах от сковородки с карасями летел по округе, мешаясь с запахом цветущих вишен и яблонь, а окна были открыты в лето, распахнуты в свежесть и синь. Душа, если ты есть, – помнишь ли ты это?!.. Я верю, что ты есть. Я верю, что ты, душа, слышишь меня. Важно успеть МНЕ. До своей Смерти успеть – запечатлеть все дорогое, живое, – чтобы тебе, душа любимая, ТАМ хорошо было.

Когда отец умер, по углам все трещало, будто растрескивались сухие доски, будто трещали от сильного мороза стены деревянного дома, – а мы с матушкой жались друг к другу, зареванные, дрожащие, под одеялом, одним на двоих, на диванишке, – в доме каменном. А на третий день после его смерти мы, трое, стояли на кухне, готовя еду, нам не лезшую в глотки – мама, я и мой сын, – и сверху, НИОТКУДА, на наши руки капнули мелкие капельки, и сделались на коже рук такие странные дорожки из капелек. Сын слизнул. Соленые? «Это слезы! Это слезы чьи-то!» – закричал. Мать перекрестилась. «Это он, он», – шептала.

И я поцеловала свою голую руку, то место, куда упали посмертные слезинки отца, по нас по всех, осиротелых, заплакавшего.

Луна, не гляди, отвернись. Твое холодное белое око пронзает меня насквозь.
Не умею я думать об этом. Не умею молиться.
Господи, научи.

Он оглядел палату пристальным взглядом. Его сосед, раскосый татарин, подворачивал рукава больничной пижамы: короткорукому пижама была велика, он скалился, щелки глаз маслено блестели, во рту посверкивала тюремная фикса. Он глядел на все, жадно вбирая глазами, запоминая. Зачем помнить?! ТАМ ты ничего не будешь помнить. ТАМ тебе не нужно будет помнить. А что будет ТАМ?! Он вспомнил, как мудро говорила его теща, гордая, как старая актриса, затянутая в черное – Ермолова, Пашенная, – полная достоинства старуха: «Для кого там тьма, а для кого – и свет». Что Бог уготовил ему?! Не думать. Нельзя об этом думать. А задыхаться – можно?! А звать сестру, чтоб прибежала с уколом, временно облегчающим дикие страданья, – можно?!

Беспомощность появилась в его взгляде. Он закрыл глаза и вдруг увидел себя со стороны, сверху: будто его душа вышла из него и увидала его, распластанного на железной койке, всего – бледное, отечно-синюшное лицо, исполосованный морщинами высокий медно-загорелый лоб – он всегда сразу и крепко загорал летом, особенно на рыбалках, а в это лето ему не удалось порыбачить, он уже хватался за сердце, сидел в саду, так солнце и обожгло ему лоб – под яблоней. Сигарету бы в зубы. Если долго не курить – чувство, что уши пухнут. Они запрещают ему курить. Они вкалывают ему в жилы всякую гадость. Зачем внутрь человека вбрызгивают разные яды? Есть только одно старое лекарство для мужика – водка. Сейчас бы рюмку-другую, и закусить соленой рыбкой, селедочкой, скумбрией. Об этом даже запрещено мечтать. Ну-ка выброс из головы всякую жизнь. Завтра придет грустная жена, будет глядеть на него соболезнующе, а у самой будет такой цветущий, яркий, веселый вид, и она будет стыдиться того, что так цветет, и они будет понимать, что он умирает, а она – цветет, еще живет и будет жить, и она будет скрывать это от него, вздыхать, поправлять одеяло, улыбаться, говорить бодряцки, возбужденно: «Ничего, Коля, ты скоро поправишься, гляди-ка, у тебя и щечки пополнели». А у самой в глазах будут стоять кипящие слезы. Какая дикость. Зачем люди обманывают друг друга. Она же прекрасно знает – он умирает. Зачем же врать – и себе, и ему. Если бы она протянула руку, погладила его по щеке. Приблизила постаревшее, тоже отекшее, с бездной мелких морщин, родное лицо, – с ним он так свыкся за тридцать лет. И сказала тихо: Коля, я знаю, ты уходишь, прощай. Я все тебе прощаю. И ты мне, пожалуйста, если можешь, все прости.

Как в Прощеное Воскресенье, – усмехаясь, подумал он. Люди же выдумали Прощеное Воскресенье – репетицию смертного Прощанья. Если бы жена так сказала! Или ничего бы не сказала, а просто молча взяла его руку. И пожатьем руки обожгла бы: да, я все понимаю; да, родной, я с тобой.

А то – лживая улыбка на устах, фальшь ненужного утешенья. Доколе люди будут обманывать друг друга?! Как верно сказал Царь Николай, его тезка, последний наш Царь, обнаружив, что генералы перекидываются на сторону восставших, красных: «Всюду измена, и трусость, и обман». Хватит обмана. Дочь ни разу не пришла к нему в больницу. Когда он уходил в больницу из дому – своими ногами, – она бросилась ему на шею, расцеловала его, будто бы он уезжал на этюды, в Рикшино или в Бармино, а не уходил умирать, и залепетала пошло-весело: «Папочка, подлечись, ты скоро воспрянешь, тебе надо чуть-чуть подколоться, две недели, и ты как огурчик». Огурчик, помидорчик. Его лицо искривилось. Господи, какое страданье. Он задыхается. Все что угодно, только не задохнуться. Он смертельно боится задохнуться. Господи, пронеси мимо меня чашу сию.

Вот она, его Гефсимания. Больше всего он боялся умереть в больничной палате, безликой, белой, грязной, равнодушной, среди чужих людей. И вот это настигло его. Господи, зачем?! Чем он так сильно провинился перед Тобой, Господи?! Он перевел дух. Отдышался. Сосед-татарин исподлобья глядел на него. «Николай Иваныч, а-а?.. плохо?.. может, сестричку позовем?.. укольчик...» Он закрыл глаза, откинулся на подушки, помотал головой. К черту укольчики. Так вот лежать с закрытыми глазами, не шевелиться. Обкрутиться тьмой, как рыболовецким плащом. Как в дождь на рыбалке; темно и тепло под плащом, из-под капюшона видна темная зеркальная поверхность озера, по ней колотят крупные капли, чуть подрагивает перо поплавка. Да, подергал он рыбки на веку. И помалевал красивых женщин, красивые цветы, красивые деревья и озера на тысяче холстов. Кто сохранит эти холсты? Кому они будут нужны? Дочь?.. Нужны они ей. Она вертихвостка. У нее своя жизнь.

У КАЖДОГО СВОЯ, НИКОМУ ДРУГОМУ, ДАЖЕ РОДНОМУ, НЕ НУЖНАЯ ЖИЗНЬ.

Так мрачно?! Тьма, глаза закрыты. Татарин бубнит. Стук каблучков по коридору. Что делать врачу в больнице в поздний час? Сестра прошла, в чужую палату. Все мы, люди, в палатах. У каждого свой врач. Счастлив тот, кто попал к хорошему доктору. Не залечит; не запорет; не убьет. Тьма сгущается. Из тьмы – выступом – свет. Как кусок золота. Как... голый живот женщины, Данаи...

И внезапно перед его закрытыми глазами вспыхнул свет беспощадной правды. И он содрогнулся – от ясности указующего света, от бесповоротности всего, что вырвало его из утробы матери, что поставило на ноги, что толкнуло в спину: иди и приди.

И он шел и пришел. Сегодня будет конец.

Свет, вспыхнувший победительно вокруг него, внутри него, безмолвно сказал ему: Николай, сегодня твой конец. Ты кончишься сегодня. И тебя, художника Николая, больше никогда не будет на земле. Будут другие художники и другие Николаи; а тебя больше не будет никогда. Готовься. Да, сегодня. Ночью. Скоро.

Он затаил дыханье. Ему стало страшно, и в то же время странное радостное волненье, какое бывает у актера на сцене, когда он выходит под струи света софитов, перед огромным черным скопленьем народу, охватило его. Он открыл глаза. Татарин лежал на своей койке, подогнув ноги к подбородку; может быть, он спал.

– Эй, Хурмат Наилевич, – тихо позвал он спящего, – проснись-ка, я тебе что скажу.

У него был такой странный голос, что спящий мгновенно встрепенулся, рывком сел на кровати, свесив худые, под пижамными штанами, ноги, и уставился на него, лежащего на высоких подушках.

– Вот что, Хурмат, – задыхаясь, тихо проговорил он, и ему так было странно, дико, страшно и радостно выговаривать эти невозможные слова, – я сегодня ночью умру. – Это он сказал твердо, без обиняков, и Хурмат понял – он говорит правду, ОН ЗНАЕТ. – Дай мне листок чистой бумаги. У тебя есть в тумбочке, я знаю. И карандаш. Я напишу письмо внуку. Последнее.

Татарин забеспокоился, зашарил в ящике тумбочки: «На, на, дорогой, тут и правда листочки есть... да ты не бойся!.. Это ты зря в голову взял – помирать!.. Тебе просто сильно худо нынче, сильно худо, да... ну да потерпи, милый, завтра докторица придет – и живо на ноги тебя поставит!..» Он не слушал, не слышал утешений. Опять ложь. Все они лгут ему. Все они знают правду, как знает ее он сам.

Он вывел на листе бумаги дрожащей отчаянной рукой:

«МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ВНУКУ КОЛЕНЬКЕ.

БУДЬ ВСЕГДА ДОСТОЙНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. НЕ РОНЯЙ ЧЕСТИ. НИКОГДА НЕ ОГОРЧАЙ МАМУ И БАБУШКУ, ЛЮБИ ВСЕ ЖИВОЕ, ЛЮБИ ПРИРОДУ, ЛЮБИ ЛЮДЕЙ. НЕ УТОНИ В ЛЮДСКОМ МОРЕ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ, Я БЫЛ МОРЯКОМ, Я ПЛАВАЛ ПО МОРЯМ И ВИДЕЛ МИР, И Я ВИДЕЛ, КАК ЛЮДИ ТОНУТ НА ЗЕМЛЕ. КРЕПКО СТОЙ НА ЗЕМЛЕ И ПОМНИ МЕНЯ, ТВОЕГО ДЕДА. НЕ ГРУСТИ ПО МНЕ, НО ИНОГДА ВСПОМНИ ОБО МНЕ. А Я ВСЕГДА БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».

Он написал коряво, торопливо последние слова и опять задохнулся – такой невыносимой показалась ему мысль о том, что вот он будет любить внука вечно, а ощутить эту любовь и передать эту любовь, вскрыть тайную жилу и перелить кровь уже не сможет: не сможет обнять и прижаться, поцеловать и заплакать. Каково все ТАМ?!.. может быть, ТАМ и чувствует душа что-то, но как же она достучится до оставленного?!.. Он долго, тяжело, глубоко, хрипло дышал. Татарин пристально глядел на него. В его раскосых глазах застыл древний ужас.

– Да что ты и правда такой бледный, Николай Иваныч!.. как полотно... щас сестричку...

– Не трудись, – сказал он хрипло, строго и властно, – не надо больше. Не надо.

И татарин понял. Он услышал: «Не мучьте меня больше, не надо. Время пришло». Татарин глядел остановившимся взглядом, как он непослушными, уже негнущимися пальцами сворачивает из листка с каракулями... что?!..

Из-под пальцев умирающего выходил, вылетал почтовый военный треугольник. Белый треугольник. Похоронка. Как это было тогда, на войне. Ну да, полевая почта. Он художник, вот он и рисует в углу треугольника полевой штемпель, печать. Круглую печать. Господи. Потом, позже, спустя сколько лет, внук обольет слезами маленький белый треугольник, самодельный, неловко свернутый?! Тише... тише... что вы все так кричите... ведь какое молчанье... как всем теперь надо молчать. Как много шумов, разговоров.

Он все слышал – шумы и разговоры, скрип железных панцирных сеток, бряканье вилок и ложек, посуды с пищей, несомой к ужину, смешки и шепоты больных, но все доносилось будто издали, будто заволокнутое сизой дымкой. Сфумато. Это было Леонардовское сфумато, как же он сразу не узнал. Господи, вот она, Тайная Вечеря. Вся стерлась, осыпалась; краски слезают со стены дырявым чулком. Христос разводит руками: мол, дорогие мои, вот и кончена жизнь. Вот и все. Недолго поцарствовал Я, Царь Иудейский, недолго поучил вас, как надо ломать хлеб и пить вино. А каково Мне было учить вас, дорогие, как надо любить?! Вы любили придорожных девок, расставлявших ноги под каждым кустом смоковницы; вы любили смирных жен, кормящих грудью ваших детей; вы думали, что вы любите Бога, правителей, священников и друг друга, но вам всем, бедные, это только казалось, и вы обращали на Меня робкие взоры свои: научи нас, научи!.. Дай нам силу, дай нам мудрость, дай нам – жизнь!.. Я дал вам жизнь, да; а теперь что же?.. Я должен научить вас умирать. Искусство умиранья, самое великое искусство, и Я не дал вам его. Хорошо же. Я дам вам его. Я умру на ваших глазах, перед вами. И вы поймете все – поймете, как надо умирать и зачем человек умирает, зачем не вечен он.

Кисть гладила стену все ниже, ниже, велась по выступам и щербинам, по шершавой коже штукатурки. Ах, любимые ученики. Любимый Марк; любимый Иоанн, мальчик, румяный мой. Волосики вьются. Помнишь, как мы с тобой ходили ловить линей. Огромных, толстых линей, темно-золотых, зелено-изумрудных, блестевших, как откопанные слитки старых кладов; и, принеся рыбу в избу на кукане, ты клал ее на раскаленную черную чугунную сковороду, и поливал маслом, и посыпал солью, и тебе помогала женщина... так похожая на мою дочь, а!.. я до задыханья любил эту девочку... до задыханья... А ведь и ты, Иоанн мой, тоже любил ее. Погляди, вспомни, какие у нее большие карие, чуть раскосые восточные глаза – точь-в-точь как у ее матери; какие смуглые румяные щеки, и вся она смугла, желта, черна, как Суламифь; и бедра ее тяжелы, и щиколотки ее тонки, как у породистых кобылиц; и красивые руки ее нежны, а разве самое красивое у женщин, Иоанн, не руки и глаза?.. Она помогает тебе готовить. И Вечеря еще эта не Тайная; это простая

наша трапеза в черной избе, и бревна сруба тяжелы, огромны, как черные медведи; и, если распахнуть дверь из сеней на крыльцо, то снег, вечно идущий с черных ночных небес, опалит, обожжет тебе разгоряченное у печи лицо, – Иоанн, мальчик мой, не пора ли перевернуть линей на сковородке?!.. подгорят ведь...

И женщина – нет, девушка – нет, девочка – с разбросанными по голым, выступающим из-под платья плечам темными длинными волосами, с пылающими щеками, тонкая, юная, веселая, порывистая, подходит к нему и радостно говорит, обнимая его за шею, приближает родное лицо и шепчет: нет, папа, рыба не подгорела, Иван уже перевернул ее и тот бочок посолил, а водочку я сейчас достану из погреба, ты не бойся, я сама слазаю, я не разобьюсь, как матушка – она по глупости в погреб упала, а я не разобьюсь никогда. А апостолы уже за столом, и они хотят вина. И я еще лепешек испекла. И еще они хотят, чтоб ты их на холсте написал, у тебя же стоит в каморке загрунтованный холст, ну пожалуйста, они так ждут и просят, они уже сели за трапезу, будто позировать, – а я тебе помогу, я сама тебе красок надавлю на палитру, я все, все тебе сделаю – и кисточки с мылом вымою, и льняного масла в вазочку налью, только садись и рисуй!..

И он соглашался: да, конечно, я нарисую вас всех, – и выходил в горницу, а все уже сидели за столом, так, как всегда, как обычно сидели: Учитель посередине, с раскинутыми на столе, ладонями вверх, руками, рядом с ним – юный Иван, справа – седой кудрявый, лысый Петр, загорелый на рыбалках дочерна, и Андрей, а там – все остальные, тонут во тьме избы; и не видно лицо Того, Кто предаст, лишь красным светится во тьме щека, лишь зловеще горит старая золотая серьга в ухе. И Андрей раскладывает по доскам стола испеченные в печке хлебы. И никто не называет по имени девушку, девочку, что тащит на стол в сковороде жареных линей, улыбается, а справа у нее недостает одного хорошенького, белого, как речной жемчуг, зуба.

Как он любил рыбу!

Матушкину – фаршированную...

Да что это я все, Господи, о еде да о еде, – да ведь живее еды нет ничего на свете, только любовь; и любовь – пища души и тела; и люди в любви друг для друга – причащенье, яства Божьи. Тело – хлебы, поцелуи, что пьются, – вино. Хлеб и вино, таинство Причастия. Хлеб и виноград, вечный ужин влюбленных. А рыба?.. И почему ее надо фаршировать?.. Ах да, ведь это по-еврейски, по-иудейски, и там, в пустынях, делали так... Мама наловчилась сотворять еврейское блюдо; соседка-жидовка обучила, как и что – через мясорубку, куда – толкать-пихать, где – сдобрить-посыпать... «Лучше всего щучка, благородная рыбка, сладкое мяско, таки-да!..» – пела старая хромая киевлянка с Подола, чудом выжившая в Бабьем Яру, Екатерина Марковна, качая квадратной тяжелой старой головой, как китайский бронзовый бонза. Мы с мамой бежали на базар, выбирали щуку покрупнее. Однажды купили громадину – еле дотащили. Взрезали ножом брюхо – а там икра! Скопленьем янтарей икра вывалилась из щуки на драную клеенку стола, и мы жадно и весело собирали ее руками в пустую банку, бешено, взахлеб смеясь, и тут же густо солили, перемешивая деревянной хохломской ложкой... А она светилась солнечно, искрились топазами и янтарями икринки – это теперь я думаю о том, сколько же рыбок явилось бы на свет, а человек, хищник, поймал рыбину и выпотрошил ее для потехи утробы своей... А тогда – я веселилась. Икра была праздником, драгоценностью. Икру ребенок любил больше других яств. Икра – мечта и вожделенье; при одном слове – «икра» – набирался полный рот слюны, и ноздри расширялись, ловя неслышимый – воспоминальный – дух. Икру мы покупали, как и щуку, на базаре. И зернистую, и паюсную. Паюсную торговки из Ахтубы и Астрахани продавали в виде плотно утрамбованных икряных хлебов – круглых и квадратных кирпичей, как настоящая буханка ржаного с виду. Вот стоит торговка за лотком. Лежат перед ней на промасленной газетенке – «Правде» или «Известиях» – икряные «ситные» и «ржаные». Млеют, черно и маслено блестят на летнем Солнце. Баба отирает пот с лица. «Эх, берита, бабочки!.. – поет. – Берита, Господь с вами, отдам по дешевке!.. Робенку вить надо!.. Вить это сколь полезности!.. А вы блинчиков, блинчиков-та ей спекитя, а зверха – икры, икры, да завернитя в блин-та!.. Оно будет как чудесно!.. И всего-та червонец кэгэ!..

Червонец!.. по пятнадцать утречком продавала... Беритя – даром вить!..» Торговка, смуглая, сухопарая, красивая цыганской ли, казацкой красотой – иссиня-черные кудри, ярко-алые губы, красная капелька серьги в мочке, жилистая шея, высохшие воблой хитрые воровские руки, и на безымянном пальце целых два обручальных кольца: свое и мужнино, – тянет ко мне, к лицу моему, на ладонях, заскорузлых и сухо-изрытых, как кора осокоря, черный, круглый, огромный, тяжелый, пахучий икряной каравай: кого хочешь, выбирай!.. Пущай мамка не жмется!..

Мамка – жена художника. У нее в кошеле то густо, то пусто. Такая жизнь. Такая песня. Широкая, на всю реку. Может, за круг паюсной икры... твою брошку отдать?.. – это не я предлагаю, мама, это глаза мои говорят, кричат. Тихо. Достается кошелек. Выходит, у нас денежки еще есть. Значит, папа продал картину! Ура! И у нас будет икра! Этот красивый черный жернов! Я буду отрезать по кусочку, по щебеньку... по прозрачной ма-аленькой пластиночке, ведь это очень, оч-чень дорогая еда...

...сфумато. Да, эта дивная, синеватая призрачная дымка. Как все легко и радостно обволакивается ею. И раскосое, с бровями вразлет, лицо татарина, наклоненное над ним. И белеющие во тьме наволочки, мятые снежные комки сбитых простыней. Неужели все в палате еще живы. Может, это уже Царствие Небесное, и он уже возлежит на пиру. Раньше люди, когда ели, возлежали. А почему же тогда его апостолы сидят за столом вокруг Учителя. Как он качался в деревянной люльке, рядом с железными лесами, расписывая стену. Свежая штукатурка так резко пахла. И краска, растворенная скипидаром и белым маслом, стекала по стене живыми потеками, как слезы. Или кровь. Красная – как кровь. Судьба художника такая: пиши свое – своей кровью. Иначе, если будешь обмакивать кисть в чужую кровь, – твое созданье не выживет. Оно умрет быстро и навсегда. А если ты себе вскроешь жилы и свою кровь на стену ливанешь – ну, тогда можешь успокоиться; это еще может выжить. При условии, если храм, расписываемый тобой, не взорвут. Если он не разрушится и не сгорит в пожарище новой войны, уцелев во всех прежних войнах.

«Что тебе принести, Коля?.. – услышал он, как из тумана, голос татарина. – Ведь ужин разносили... Может, поешь чего-нибудь?.. Чего бы ты хотел?..» Он медленно повел головой на подушке – вбок, еще вбок. Ничего не хочу. Потом разжал губы. Татарин приблизил ухо. Он прошептал: пирога. Хочу пирога. Поел бы пирога горячего. Татарин беспомощно огляделся. Эк хватил, пирога!.. Если б поварихам на кухне заказать, ну, может быть, они бы и теста нашли, и начиночку какую заложили... А теперь – поздно... поздно...

Он опять закрыл глаза. Увидел новую картину. Он еще такой не писал. Старый город, и Солнце заливает – из черпака густо-синего, радостно гудящего ветром: «Весна!.. Весна!..» – неба – деревянную резьбу хохлатых промерзших домов, их темные от людских слез, сырые на ветру доски, битые рыжие стекла – и слепили они осколками детские глаза! – последний мятый – ватой – снег на коньках крыш, ветхие застрехи и кучи воробьев и голубей на них, и он понял, что город – это огромный деревянный храм, где под ногами у прихожан – снег, где под куполом – сине, а старые доски ниш и апсид прогнили и вольно, через дырки, пропускают горний, Фаворский свет. И дочь его стоит в сем храме на полу босиком ли, в сапогах – не все ли ей равно, – стоит и крестится на санный, на машинный след, на мертвый – в синем небе – голый осокорь, на красные лапки голубей, похожие на кресты, и на настоящие, в полнеба, кресты – ослепительного золота! – Рождественской церкви, – она тоже внутри весеннего деревянного храма! она меньше неба, Солнца, крыш, половодья!.. она даже умещается вся на дочериной ладони, и она видит ее всю, как Моцарт – симфонию, как пирожок за пять копеек, с повидлом, – с синими луковицами, усыпанными поддельными самоцветами, лалами и золотыми полумесяцами, с лепниной, изображающей гроздья винограда, с красными резными каменными карнизами, с черными пчелами прихожан, клубящимися у летка теплого, пастью разверстого входа, – Господи, какая же благодать все Твое, и за что это ему – и живая, скользящая синь рыбы-Волги внизу: плывет куда-то на юг, нереститься, несет на ледоходной хребтине ветра и снега!.. – и пересыпанные солью последнего, грязного снега заволжские дали – слой рыже-золотого, слой небесно-зеленого, слой мышьего, слой грязно-белого, слой дрожаще-

голубого: мир – это Пирог, это большой Пирог, и благодарю Тебя, Господи, что даешь мне вкусить от края сего Божьего Пирога, насытиться им, наплакаться над ним вдосталь, – и – дашь силы?!.. ей, его несмышленой дочке, никакой не хозяйке, еще под стол пешком ходит, еще мать ей пальтецо из старого, прошлогоднего, на вырост перешивает!.. – испечь его, заново смесить, смешать, всыпать новые дрожжи в старое, древнее тесто, влить свои пряные слезы, вдунуть свой великий восторг перед грядущим Пирогом и упоение Им, незримым, будущим, чтобы тесто закрутилось, взошло, чтобы дочь, теряя дар речи, вытирая со лба и лица обильно текущий пот, совала Его, Пирог, все глубже и глубже в раскаленный зев, прикладывала – все в масле, крови, ржавчине, дождях – прожженное огнем полотенце ко рту, считала часы и минуты, трогала корочку сломанной спичкой, протыкала насквозь: когда испечется?.. когда?.. – и, наконец, голая и разъяренная перед голыми, ржущими, жрущими, пьющими на похмельном пиру, ждущими ее Пирога, – голыми, обожженными, в саже и синяках, рабочими руками вытаскивала из гудящего огненного нутра Его, главное и бесспорное свое Яство, слепленное и выпеченное ею из биения телесного теста своего, из сласти-горечи души и крови своей, – «примите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов; пийте Ея вси, сия есть Кровь Моя, за вы проливаемая...»

Аллилуиа!

Свечи в церкви пахнут теплым медом.

– Хочу пирога... и меда, – сказал он слабым, неслышным голосом, беззвучно, и татарин понял его, закивал: меда, как же, да, у меня есть, в банке, в тумбочке, жена принесла!.. зять сам гнал!.. а кураги тебе неохота?.. тебе жена принесла, тоже в баночке, вон у тебя на тумбочке стоит... меда именно?.. на, покушай... на, сердешный...

Он почувствовал, как в рот ему, в сгнившие зубы, втыкается ложка, и из нее на язык, в глотку льется сладкое, нежное, душистое. Мед. Вот что последнее дано ему вкусить. Он хотел рыбы; он хотел пирога; он их не получил, зато получил мед, – а уж как он любил в жизни живых пчел, суетящихся в изготовленьи своей древней амброзии. И Христос любил сотовый мед. Вот, он перед Уходом своим ест пищу, что ел Учитель; это хороший знак. Он проглотил глоток меда, улыбнулся татарину, не открывая глаз, и по его впалым щекам из-под закрытых век потекли жаркие слезы, прожигая борозды на коричневой сморщенной коже – два соленых прозрачных резца, прорезающих на живом лице панихидную кириллицу Смерти.

Мед мне дают в болезни, с ложечки. Хвостик у ложечки витой, серебряный. Мед, бело-желтый, засахаренный, выковыривается – сугубо для больного чада – из толстостенной банки, куда был налит стариком-пасечником, бородатым старовером, на зимнем Мытном рынке. Заметеленный Мытный, нищенка сидит в сугробе, с костылем. В ее шапке просверкивает медь. Мы идем через густоволосую метель в ряды, где написано над головами торговцев: «ЦВЕТЫ. МЕД. МОЛОКО». Там стоят бабы в белых нарукавничках, с Гималаями творога на лотках, с лопаточками в красных от холода пальцах, с бочонками сметаны, в которой торчком стоит ложка, и перетаптываются угрюмые морщинистые староверы с топазовыми слитками меду на жестяных пластинах, в бидонах и банках. Зима, и мух нет, не жужжат они. Мороз. Мед течет на морозе тягомотно и клейко, нескончаемо; бесконечно. Его не нацедить. Слежу – птичьим зраком – как образуется, вслед за каплей, свисающий с деревянного черпака медовый волос еле видимой толщины. Вот и он оборвался. «Вам придется еще лимон приобресть!.. Лимон к медку-то!.. От всех скорбей!..» Берем и лимон. Меня заставляют есть его с кожурой. Скорби, где вы?

Хвороба настигает за грехи мои. Лежу пластом, горло обвязано марлей, махрами, жаркими платками. Хорошо, сладко болеть. В болезни тебе прощают все обиды. В болезни тебя кормят с ложечки. От меда ноют сладко, поют за щеками зубы. «Доченька, вот я ставлю мед и чай на табуреточку, около кровати. Захочешь пить – попьешь. Не уронишь?.. Ты слышишь меня?..»

Я слышу – слышу – все слышу – только уже в бреду, в сонной горючей красноте. Красные круги плывут перед глазами, красные нимбы – над плывущими во тьме головами: это же картина, это икона «Церковь воинствующая» из Третьяковки, у нас такая репродукция в кожаной папиной

папке есть. Слышу позвякиванье ложки в чашке – чай остыл – долей ей, Коля – у нее сильный жар – ох, надо бы в больницу – я врач, я сама справлюсь – какой ты врач, ты голый врач – Николай, не смей меня оскорблять – дай же ребенку градусник – не видишь, она вся малиновая – еле дышит – как бы отека легких не было – что ты мелешь – лучшие средства народные – липовый цвет – малина – мед – мед – от меда все пройдет...

...а ангелы с красными кровавыми нимбами из «Церкви воинствующей» все плывут и плывут, все держат копья наперевес, собираются проткнуть остриями кого-то плохого, неверующего, – Фому Неверующего, быть может. Боженька, Ты есть. Ты в отцовой книжке «Біблія въ рисункахъ Гюстава Дорэ», 1897 года издания, разрешено Св. Синодом и Московской Патриархией. Ты слышишь меня. Ты не дашь мне умереть. Я люблю Тебя, но я не хочу к Тебе на небо. Рано мне. Это не мое время. Не бери меня. Мне страшно умирать. Я же не воскресну, как Ты, золотой. И Фома Неверующий, тряся козлиной белой бородой, улитой мелкими слезами, ни за что не вложит свои персты в мои распахнутые, как красные окна, рваные раны.

«Лапонька!.. Лапонька!.. Она спит...»

«Я сделаю ей куриные котлетки...»

Как это прекрасно – сидеть в подушках, горло обмотано, смазано чем-то гадким, на коленях, на одеяле – кружевная салфетка, и на салфетке – тарелка с куриною котлеткой (как из старинных романов!..), а в ней торчит косточка, ну прямо Диккенс, а мать даже не садится рядом, она стоит в проеме дверей и умиленно глядит, как спасенный ребенок ест.

– Можно добавки?..

– У курочки только две ножки... Пошла на поправку!..

Еще не скоро осмелюсь я испечь свой Пирог.

Еще – ой, не скоро – я своему ребенку в глотку буду глядеть, молоко кипятить, мед от днища банки трясущейся от страха рукой отколупывать.

Еще меня самое – пекут, и подхожу я тестом на опаре, и румянюсь со всех сторон, и Адамова, Евина глина обжигается в печи, то оглашенно пылкой, то смертно ледяной.

Еще не стою я на коленях – в снегу, в комьях мерзлой грязи – перед отцовой могилой, затерянной в декабрьских полях. Не чую в гортани, сведенной судоргой позднего рыданья, под праздным, вельми много болтавшим чушь языком, жалкий столовский студень со свеклой закрашенным хреном и черствые – дурные – «с котятами!..» – сиротские пирожки поминок, их черный рис, их казенный компот, их ртутно горящую в зеленых глупых бутылях, слепую водку, от которой немеют лоб и пальцы, как от хирургической анестезии, – хоть режьте, ничего не почувствую, – нет, чувствую, все – с болью. С кровью. С любовью. Чувствую все, вижу. Светлую улыбку отца в гробу; «он – в Раю!..» – глухо, сотрясаясь от сухих слез, шепчет мама. Красный кумач и трубную медь зимних похорон. И то, как на ремнях могильщики опускали гроб в ямину, а земляные срезы были рыжи, золотисты, – как красивый, из ведра, на солнечном Мытном рынке, огромный груздь, – и я рванулась вперед, сжала кулаки и твердо подумала, жестко, что вот ЭТИМ, только ЭТИМ все и кончилось – вся жизнь, огромная, дымная, залитая Солнцем всклень, шумная, любовная, вкусная, с поцелуйчиками – после стопочек муската либо хереса – в сладкие вишневые губы матери моей, с полночной рыбной ловлей, с художническими пьянками-гулянками, когда всего откушавшие и хлебнувшие – и грибков, и зельца, и расстегаев, и перцовки – заросшие лесными бородами художники, с пылающими безумьем глазами, орали на весь опьяневший с ними вместе подлунный мир:

«Только Евдокимов,
Только Крюков длинный
Могут четвертную вам достать!..» –

на мотив: «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза», – с писаньем в мансардах питерской Академии, в заваленных древними креслами и гнилыми – на растопку печей – до-

сками подкрышных мастерских – нагих замерзших натурщиц, и одну из натурщиц звали Фрина, и у нее от отца родился ребенок, – брат мой, брат мой, стал ли ты художником на этой земле?!.. лишь художник на земле счастлив и свободен!.. – с игрой на гитаре, перебором ее медных струн, от которых холодело и плыло молодое сердце, с рожденьем беспутного сына – весь в шалого отца пошел!.. – с оплакиваньем уходящих женщин, с рожденьем дочки – долго жданной, после внематочной присмертной беременности второй жены, и с дочкиным крещеньем, совершенным просто от отчаянья, когда младенец орал, не смыкая рта, безостановочно без малого целых два месяца, и ее, чтобы Дьявола в ней унять, понесли крестить в осеннюю грязь, и бабушка с завернутым кокончиком на руках поскользнулась в грязи и упала, чуть не раздавив крохотного живого червячка, а в церкви батюшка зажал ребенку нос и на вопль матери: «Не окунайте!.. Простудится!.. Заразится!.. Ангина, дифтерит!..» – нарочно окунул ее с головой в ледяную купель трижды, как и положено по Закону, а прогундосив: «Крещается раба Божия Елена...» – поднес к губам младенца чайную ложку кагора, а она ртом ложку-то ухватила и кагор весь заглотала, и все люди в церкви выдохнули: «Сомлеет!..» – и она спала потом без просыпу двое суток, как хороший, в миру, мужик-пьяница; вся великая, смелая, хулиганская, с драками и праздниками, с Новыми Годами и Днями Рожденья, с укусами гадюк, упавших с дерева в сапог, в густых лесах, с дрожаньем мелкой дрожью на дочкиных концертах, когда она училась на фортепьяно, а после на органе, – люстры, свечи, зал, рев органа под родными, любимыми, хрупкими пальцами, и где-то далеко, на последнем ряду, чтоб не видно было, как он любит, как страдает и гордится, – плачет лысый, с серебряными крыльями волос вокруг медной коричневой лысины, старик, – а ведь он похож на святого Николу, на Николая Чудотворца, как его обычно малюют на иконах по канону, как две капли воды похож, как это никто раньше не догадался!.. – вся проеденная, пропитая, промотанная, продутая в бумажные и деревянные трубы, вздернутая на рыбацкие лески и бельевые веревки, проспанная до полудня, проспоренная, профуканная в азартные игры до полуночи, похмельная поутру, проклятая, возлюбленная, трижды, по староверу протопопу Аввакуму, благословенная жизнь кончится у всех только ЭТИМ, вот ЭТИМ, когда на ремнях тяжелый молчащий гроб в могилу опускают, а вся жизнь – там, внутри гроба: маленький комочек, почти зародыш, ссохшийся, нежный, любимый. Он внедряется в чрево земли. Он будет там расти.

Он упокоится там, Господи.

И я никогда не узнаю, какую еду...

Он проглотил мед и слабо шевельнул рукой, и этот жест означал: уйди от меня, человек, оставь меня наедине с собой. Все. Я не хочу никого.

В палате было темно. Тьма обступала. Тьма обнимала нежно и неуклонно. Морозные узоры вились, цвели по стеклу – стоял лютый декабрь, а он раздумался о весне, зачем. Увидел внутри себя синее небо. Синий цвет. Да, как он любил синий цвет. Он всегда разбавлял белилами густой, почти черный ультрамарин на палитре, и из-под кисти вырывался сноп синих лучей, и он гроздьями, ляпами бросал, швырял синие лучи на белый грунтованный холст. Когда он умрет, никто не займется его холстами, – пронизала яркая, грубая мысль. Никому не будет нужна синяя кровь сердца его. Эти нарисованные синие озера и реки; эти синие купола с золотыми крестами и звездами над слепяще-синими снегами – как много раз он писал их с натуры. И по памяти, бывало.

Нет, весна еще далеко. Он умирает зимой, ледяною зимой. Лютость зимы безгранична. Он так и знал, он предчувствовал, что уйдет зимой. Плохо хоронить зимой, трудно. А на поминках все набросятся на водку, будут согреваться, согреются и будут, краснорожие, смеяться, а не плакать. Как все просто, Боже. Как все страшно. И его жена, с которой он прожил тридцать лет – или больше?.. – поднимет граненый стакан и скажет громкую речь, благодарность выскажет: спасибо, мол, что пришли, помогли, простились, почтили память. А где будет дочь?.. А дочь будет тут же. Как много своей крови, и красной и синей, и белой и золотой, он взбрызнул в нее. Неужели она его не повторит?! Не сделает того, что он не смог, не успел сделать?!

Она сделает. Он верит в нее. Она забудет обиходить его холсты, но она продолжит то, что он начал. И доведет его дело до конца.

Ах, дочь, родная, обернула бы ты мое бездыханное тело в кусок такой ткани, чтобы... Он содрогнулся. Смертный не может помыслить о своем воскрешении – таком, какое было у Господа. Плащаницы не будет тебе, смертный. Я же трудился, работал, изнемогал во Имя Твое! – почти крикнул он молча, приподнявшись на жесткой больничной подушке на локтях. Неужели Ты меня не сможешь воскресить?! Меня! Меня! Только меня!.. Пусть я грешен, да. Пусть я и пил горькую, и буянил, и говорил одно людям, а делал другое; пусть я обманывал; пусть я изменял жене, пусть от моего семени беременели разные случайные женщины, и красотки и нищенки; но я работал, работал как вол, напрягал мышцы, видел внутренним виденьем то, что не всякий художник на земле видит!.. Я отработал Тебе, Господи!.. Есть, правда, еще один грех... Я – убивал... ибо я – воевал, Господи... А убить на войне – это разве грех, Господи?!.. Разве грех?!.. Я же защищал свой народ... я врага не пускал внутрь моей святой земли!.. Но, Боже мой, как я помню это тело на укрытой снегом земле... эту кровь на снегу... этот раскрытый хрипящий рот, эти содроганья – он дергался... я убил его в упор из автомата... я... расстрелял его... и другого, что выбежал из лесу навстречу мне... Я защищал Москву, Господи!.. Нас всех, моряков, с Северного морского пути бросили под Москву, в леса, во Ржев, в Волоколамск, и, Господи, как мы бились, знаешь только Ты, и сколько там парней полегло, ведь мы были мальцы-моряки, ведь мы не умели воевать на суше, но, сцепив зубы, мы шли в атаку, и это Ты хранил меня, сохранил для жизни...

Он заскрежетал зубами, повернул голову, уткнулся лицом в пахнущую его потом подушку. Все верно, Бог не воскресит его, ведь он убивал. Воскрешают только святых. Он не святой. Он просто побыл на свете сначала мальчонкой, вкусив голод и холод, затем моряком, матросом на кораблях в северных жестоких морях, затем солдатом, затем художником; еще он побыл мужем и отцом, и это уже очень много, должно быть – вон Микеланджело, несчастный, так и не побыл на земле ни мужем, ни отцом. Он сподобился счастья – живописать в храме, расписывать храм бешеной и веселой, нежной и молитвенной кистью. Он малевал вечные сюжеты. Художник и создан Богом на земле для того, чтобы малевать вечные сюжеты. Если художник продает себя рынку, разменивает себя, как медную монету, продавая слащавую дуроту безмозглой, жаждущей развлеченья толпе за большие деньги, он перестает быть художником, он превращается в торговца. Не бойся, договаривай: в проститута. Ты не стал проститутом, Николай. Ты остался художником. Ты зарабатывал деньги на жизнь в церкви, корчась в деревянной люльке под куполом, над железными кольями лесов. Ты малевал виденье пророка Иезекииля. Ты, слезши с лесов и похлебав картофельный постный суп, принесенный тебе прямо в трапезную почтительно потупившими глаза монашками, открывал огромный том с золотым обрезом в черном кожаном переплете и читал, шевеля беззвучно губами:

«И бысть на мнъ рука Господня, и изведе мя в Дусъ Господни, и постави мя средъ поля, се же бяше полно костей человъческихъ,

и обведе мя окрестъ ихъ около, и се многи зъло на лицы поля, и се сухи зъло.

И рече ко мнъ: сынъ человъчъ, оживутъ ли кости сія; и рекохъ: Господи Боже, Ты веси сія.

И рече ко мнъ: сынъ человъчь, прорцы на кости сія, и речеше имъ: кости сухия, слышите слово Господне.

Се глаголет Адонаи Господь костемъ симъ: се азъ введу въ васъ духъ животенъ,

и дамъ на васъ жилы, и возведу на васъ плоть,

и простру по вамъ кожу, и дам Дух Мой въ васъ, и оживете, и увесте, яко Азъ есмь Господь.

И прорекох, якоже заповъда ми Господь.

И бысть глас внегда ми пророчествовати, и се трусъ, и совокупляхося кости, кость к кости, каяждо к составу своему.

И видехъ, и се быша имъ жилы, и плоть растяше, и восхождаше, и протяжеся мъ кожа верху, духа же не бяше в нихъ.

И рече ко мнъ: прорцы о дусъ, прорцы, сынъ человечь, и рцы духови, сія глаголетъ Адонаи Господь:

от четырех ветров прииди душе, и вдуни на мертвыя сія, и да оживутъ. И прорекохъ, якоже повелъ ми, и вниде в ня духъ жизни, и ожиша, и сташа на ногахъ своихъ, соборъ многъ зѣло».

Перед ним, перед его закрытыми глазами легла та желтая, изъеденная червем, обильно заляпанная на протяженьи столетий воском страница Библии – зрительная память художника хороша, крепка, что на цвет, что на тексты. В его сознаньи старинные буквы проявились, замерцали красно, будто написанные киноварью, кровью. Да, ведь и Библию писали кровью. Потому она так долго и живет; и будет жить; нет! Не только кровью! Духом, духом писали! Вот кости составились, восстали из могил, ожили, – а что бы были они, мертво гремящие, если б не Дух?!

Дух. Куда уйдет его дух. Близок переход. Он надеется: окунется во тьму, а там его вынут из тьмы, как... как Лазаря. Он не Лазарь. Лазарь был братом Марфы, которую Учитель ценил; и Марии, которую Учитель любил. Скольких женщин любил Учитель?.. Многих. Плох тот мужчина, что не любит многих женщин. Но одна должна быть. Одна-единственная. Так заповедано. Да прилепится жена к мужу своему... Он поморщился. Вот, пирожок разламывается надвое, и просфора разлепляется. Все разъединяется на свете, все. Даже то, что казалось высеченным из одной глыбы мрамора.

Лазарь был в пеленах. И пелены развернулись. И пали на холодную, мерзлую землю. А разве не было так, что из могил восставали? Из штабелей расстрелянных; из трюмов затопленных барж; из катакомб, где осажденные прятались, забыв давно про хлеб и воду. А если он просто уснет, а потом оживет?! Там, в гробу... Он застонал, представив это. Господи, он не думал, что так страшно умирать. Он никогда не был готов к этому. Ни там, на войне; ни на обледенелой палубе сторожевика «СКР-19», где, лежа около пулемета, он скусывал зубами с палубы соленый, горький лед; ни в лесах подо Ржевом, под Москвой, где под градом огня он, скрючившись на дне траншеи, не молился Господу: оставь мне жизнь!.. – а смачно, грязно, страшно матерился, руганью отгоняя, убивая смердящий страх. Он неистово хотел жить.

И сейчас – хочет?!

Тьма подошла ближе. Тьма навалилась на него. Его лицо исказилось, он попытался отбиться. Он вытянул впереди себя руки, поднял над одеялом. Открыл глаза. Больные спали. Палата погрузилась во мрак, прорезаемый из-за зальделых окон вспышками поздних трамваев, белым мертвенным огнем уличных фонарей. Один. Ни жены, ни дочери. Ни сына. Ни других детей. Один, как тот древний мужик... как Иов. Смотри-ка, он даже имена вдруг вспомнил их всех, бешеных стариков – Иезекииль, Иов. Значит, он скоро переступит порог и очутится рядом с ними. Совсем рядом, близко. Слабое утешенье. Ему неохота ТУДА. Он же не знает, что ждет его ТАМ. А если он страшный, непоправимый, непростительный грешник, и ТАМ и вправду есть геенна огненная, и он будет гореть, гореть в Аду, гореть вечно, как вечно горят в ночи рыбацкие костры на излуках?!

Его татарин спал, похрапывал. Человек живет. Храпит. Сопит. Ворочается. Плачет. Усмехается. Ругается. Пьет ночью воду из стакана. И стакан вдруг вываливается из руки, падает на пол, летит медленно, непоправимо. Не остановить.

Иов, сидящий при дороге. В рубище, покрытый песью, паршой... проказой. С протянутой рукой. С шапкой, лежащей у его колен: для милостыньки. Снег сечет его, ветер бьет. А он все сидит при дороге с протянутой рукой. И он счастлив, ибо он – живой. И он никогда не станет мертвым. Ибо он вступил в разговор с Богом; он попытался воспротивиться Богу; и ни на один миг он не переставал любить Бога, даже когда Бог испытывал его медленным умираньем. Так, значит, сейчас, когда он станет умирать, он должен всемерно благодарить Бога. За то, что он жил на свете. За то, что он умирает теперь. Ибо Бог – Истребитель. Ибо вечен только Он. И, любя Его, ты причастишься Его. Ты останешься жить. Рядом с Ним. В Нем.

Как?! Как это может произойти?! Не знаю! Не верю! Как!

Сильная, невыносимая боль обхватила его крепко. Не отпускала. Он задохнулся. Хватал воздух ртом. Я рыба, я вытащен на берег. Я выпростан из сети. Меня сейчас зажарят на костре. В пищу Богу моему. Ведь Он проголодался, Бог мой. Ведь Ему нужна душа моя. А куда уйдет тело мое?! В пищу червям... червям!..

Червям на пищу... о, это невозможно перенести...

Он застонал громче. Со стоном усилилась и боль. Она выросла неизмеримо; она проткнула его тысячью кинжалов. Вот она, тысяча гвоздей Распятья. Каждого, каждого в свой черед распинают. Он вдруг все понял. Неистовым светом высветился весь темный ранее мир. Каждый, кто умирает, должен в полной мере ощутить то, что испытывал Господь на Кресте. Каждый человек идет по земле своим Голгофским Путем, и у каждого в конце Пути – Лысая Гора, лысый земляной череп, и седые волосы вьюги, несомые ветром, летят по нему. Земля ведь тоже думает, Николай. Она думает так: сколько же людишек живет и копошится на мне, и как же они мне надоели. Хорошо еще, хоть умирают. А то я б от них задохнулась. Рыбу мою ловят... в водоемы мои гадят... взрывают меня, мнут гусеницами танков, кровью поливают – и думают: любовь взойдет... Идиоты. Любовь взойдет от любви. Не от крови.

Нет! Не воскресит! Грешен...

Какая мука. Какая огромная мука смерть. Вот она какая, его Голгофа. Пустая палата. Храпящие рты. Острый лекарственный запах. Одиночество. И высокая ледяная звезда за морозным окном, и золотая Луна, равнодушно глядящая на последние земные минуты его.

Так было. Так будет. О, какая боль. Господи! Подержаться бы за что-нибудь! Нет ничего под рукой.

Он, ища вокруг себя руками, схватил, сжал, рванул край одеяла. Слепо шаря, схватился за никелированную решетку кровати у себя над головой. Скорей бы кончилась эта дикая боль. Надо прочитать молитву. Он зашевелил губами, и тут все его длинное, долгое, как вся его жизнь, тело выкрутило, как прачка отжимает белье; он весь выгнулся в дикой судороге, и понял, что оскалился, что прикусил себе язык от боли, и лишь Луна видела, как сверкнули во тьме его старые пожелтелые зубы. Усмешка Смерти. Луна ответила ей. Он схватился за решетку изголовья другой рукой и выгнул спину, как в столбняке. Вся его жизнь пробежала перед его глазами. Растаяла во тьме. Осталась только боль. Великая боль – и великая тьма, что надвигалась со всех сторон, брала в кольцо, как охотники настигают загнанного собаками волка. Один! Он умирает один. Такая судьба. А ведь все могло быть иначе. С родными не так страшно. Девочка... ее глаза, ее нежные пальцы...

Пелены. Пелены. Заверните меня в пелены. Может, я и сам силен. Я излучу сиянье. Я испущу свет. И пройду светом сквозь плащаницу свою. И воскресну сам. И никого мне не надо. Не надо мне Бога. Я сам! Сам!

Что ты делаешь. Гляди, какая боль идет по тебе огромными волнами, смывает тебя. Один ты не справишься. Ты хочешь уйти, а если ты не будешь молиться, то убьют и унесут тебя. Туда, где такая боль будет длиться вечно.

Вечно?! Разве есть вечность?!

Он опять схватил воздух ртом, зубами, как зверь хватает кусок последнего мяса. Они все! Те! Те, кто умер до него! Раньше него! Их убивали! Там, на аренах, в цирках, и весь амфитеатр глядел, как в грудь вонзали трезубец, как лев наседал на несчастного его брата, вбирая орущую голову в пасть, и зубы смыкались на висках, на темени, и кости хрустели, и кровь лилась! Вот им было страшно, да! Горящие живые факелы на крестах! Верую, Господи, и вечно буду веровать! Их сжигали живьем во Имя Господне, ты, жалкий раб, маловерный смертный! Ты мог бы так, как они?!

Бог, родимый... прости... я же не знаю, каково это... и я больше никогда, никогда не пройду Этот Путь, ибо он – последний... помоги мне!.. укрепи...

Он отцепил руку от блестящей стальной решетки, поднес, дрожащую, к лицу. Хотел перекреститься. Рука уже не повиновалась ему. Он только успел приложить сложенные щепотью пальцы ко лбу и к груди, а до правого плеча кисть уже не донес. Кисть. Живая кисть. Сколько холстов... сколько стен, храмов, фресок, церквей... какой черный, угольный фон, на таком фоне надо бы фигуры все прописать золотом, чтоб они горели, выступая из мрака, и нимбы намалевать тоже ярко-золотые, сусальные, чтобы входящие во храм сразу озарялись вышним светом, поднимали головы, крестились... крестились... он уже... не успел...

Мука мученическая подошла, подкатилась от ног через живот к его голове. Голова вспыхнула. Он, не открывая глаз, увидел – во тьме палаты разлилось гордое золотое сиянье. Радость. Сколько радости. Да, ему удалось все же это написать. Не сфумато. Не дымку. Не горький туман. Этот яркий, горний золотой небесный свет, сияющий невыносимо, победно. Через боль. Сквозь муку и скрежет зубовный. Сквозь навалившиеся, властные руки Тьмы, обнимавшие его любовней и крепче всех женщин, что когда-либо неистово, радостно, страстно, слезно обнимали его, встречаясь на миг, прощаясь навсегда.

Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?

Я вскочила, помню, в ночном купе скорого трансъевропейского экспресса, мчавшегося от Парижа – через Лион – Страсбург – Саарбрюккен – Нойштадт – Прагу – Чоп – Ужгород – в Москву, столицу нашей сошедшей с ума окончательно Родины. В купе было зачем-то три полки – одна над другой. Попутчика не было; муж улегся внизу, я – всегда любила этот птичий насест – вспрыгнула на верхнюю полку. Ночь, за кормой железного корабля осталась Злата Прага, ее башенки и мосты, ее бронзовый Рыцарь с золотым мечом, стоящий под мостом в реке, во Влтаве... Мы везли домой картины – муж написал их везде: в Париже, в Лионе, в Праге. Он запечатлел Европу, Европа побыла немного его натурщицей. Европа поработала, она старательно позировала художнику, и художник сосредоточенно писал ее, не скрывая ни ее возраста, ни ее морщин, ни ее высохших каменных рук. А вот глаза у нее были юные – зеленые, как Сена, синие, как Влтава, безумные, как безумная бурная Рона в обрамленьи кудрявых виноградников.

Муж спал. Поезд шел. Я проснулась.

Я проснулась оттого, что в наше купе вошел отец.

Он вошел в том пальто, в котором ходил зимой – в пестром, как перепелиное яйцо, с воротником из темной цигейки; на затылок сдвинул шапку – все ту же, мохнатую, белесую; и от него все так же хорошо пахло, приятными мужскими духами, счастьем и теплом, как всегда, когда я целовала его и прижималась к нему. Он стоял у двери и не приближался ко мне. И я прижала руки к груди и заплакала.

– Папа, – сказала сквозь слезы, – папа, что ты пришел?!.. Зачем ты пришел?!.. Ты же знаешь, как я тоскую по тебе! Как я люблю тебя! Ты же видишь, папа, как я стараюсь все в жизни делать, продолжая тебя, во славу твою! Я знаю, что ты не успел! Я успею! Я сделаю все, все...

Слезы захлестнули мое лицо соленой волной. Я посмотрела на лицо отца. Он тоже плакал. Я видела – слезы блестели во тьме купе, вспыхивали, когда поезд проносился мимо ярких станционных фонарей. Он так же, как я, прижимал руки к груди, и я видела пятна масляной краски на этих любимых руках, когда-то носивших меня, отиравших мне лицо от дождя и от снега. Отец, я хочу омыть тебе руки, омыть тебе ноги. Поедем домой. Я вскипячу воды, налью теплой воды в таз, сяду и стану мыть твои руки и ноги, всего тебя. Там, под землей... ведь грязно?!.. слякотно... и душно, и темно...

Он, плача, сказал:

– Мне плохо. Плохо мне, доченька моя!.. оттого, что ты страдаешь... что я чувствую, слышу твою тоску по мне... и не знаю, как тебя исцелить... чем утешить тебя... нет утешенья... нет...

Все во мне сжалось. Все во мне стало сплошной сталью, железом.

– Мне так жалко тебя! – крикнула я ему шепотом, глядя ему в лицо и не осмелясь взять его за руки – я боялась, ведь он был покойник. – Я все время вижу, как ты умирал, там, один, в больнице... Меня преследует это виденье... Будто бы это я сама умерла, я, а не ты... Это я, а не ты, хочу облегчить участь твою! Плохо в земле, под землей! Это я, я облегчу участь твою... Чем, милый?!..

– Я не в земле, – прошептал он. – Я хочу, чтобы ты поняла – я не в земле.

Поезд трясло, мотало на стыках рельсов. Огни бешено проносились за окнами. Мы въезжали из Европы в Россию, в безумную азиатскую страну.

– А где же ты?!.. – Я не могла дышать. Я видела – его фигура качается, тает в призрачном тумане ночного купе, за тускло светящимся зеркалом на двери. – Где же ты... скажи!.. Чтобы я

могла молиться за тебя с радостью, а не со слезами... Я устала плакать о тебе, отец. Скажи мне – где ты?!..

И он внезапно улыбнулся, просветлев бледным лицом, и оторвал от груди руки, и протянул ко мне, и сказал. Его губы пошевелились – я видела. Но я не разобрала слова. Я не услышала его последнего слова, а он уже, напоследок осенив меня крестным знаменьем, попятился и вошел в зеркало, и глядел на меня уже из зеркала, оттуда, из отраженья сущего мира, и мне показалось – он стал не дальше, а ближе ко мне, и я въявь видела на его лице уже не слезы, а улыбку, и я потянулась к отраженью с вагонной койки, и коснулась дрожащими пальцами холодной поверхности зеркального стекла. А он все отходил, отходил вдаль, и мне казалось – он приближается, приближается ко мне, он обнимает меня, я в кольце его рук; и, когда он стал в зеркале совсем маленьким, исчез, растаял в ночном серебряном тумане, я поняла – он со мной, во мне, он стал уже не моим отцом, а сыном стал – глубоко во мне, во чреве. Это я теперь вынашивала его. Это я теперь должна была родить его, а не он меня. Я оглянулась. Деревья мелькали в вечной погоне за несущейся железной повозкой. Луна висела над миром спокойная, нежная, струя золотые слезы на укрывшие черную землю белым платом снега. Белый траур – траур Царей. Каждую зиму земля надевает Царский траур, хороня святых своих. Мой отец, Николай, ты тоже святой. Твои кости восстанут, оживут. Я насыщу их духом. Я наполню их жизнью, обволоку дочерней любовью своею.

Я упала лицом в вагонную подушку. Муж спал. Он не видел моих слез. Он не слышал, как я разговаривала с отцом своим, побеждая смерть.

А Луна похожа на нимб. На светящийся золотой нимб. Или на серебряный. Над невидимым ликом, над летящим духом.

Я тогда перекрестилась дрожащей рукой. Сложила руки на груди – так, как складывают их в гробу. Улыбнулась. Поняла: ничто не кончается. Душа плачет и длится. И тоска наша – тоже вечна.

Владимир ГЛЕЙЗЕР

Легкая жизнь

Только на седьмом десятке я понял, что прожил необычайно легкую жизнь. Не то, что трудностей не было, были. И руки-ноги ломал, и от другого непохожего больно было. Даже умирал пару раз, но это-то совсем не больно. Приходишь оттуда в сознание, перед глазами белый доктор фокусируется, спрашиваешь, языком еле ворочая, шо це за дило?, а он глазки закатывает и мытым пальчиком спиральку в воздухе закручивает. Всего-то!

А жизнь легкая потому, что, по сути, была бесцельной. Прихотей – хоть отбавляй, а целей не было. Точнее, не было средств на эти цели, а на прихоти были. Поэтому генпланов для себя не чертил, а значит, и выполнять их не стремился. Ногти не кусал от досады, слюной не давился от зависти, слез с горя не лил. Веселился больше нормы социалистического общежития, а жизнь шла как бы сама по себе, а я по ней почти без остановок. И с удовольствием!

Но была у меня с малых лет одна мечта, несбыточная по определению.

Детство мое было безоблачным, но безденежным. И то, и другое имели один источник и две составные части – заводскую кассу и моих родителей. За чистое небо над головой – я им до конца их жизни (да и моей тоже) безмерно благодарен. А по финансовой линии – испытываю сомнения. Оба родителя были инженерами: папаша – главным, а мама – рядовым. Так что и доход семьи был среднеинженерным. Да и состав семьи был среднестатистическим – 4 человека, двое детей. Да и дом, в котором мы жили, был из середины статистики: 26 квартир на 52 инженера и техника. Заводской дом ИТР: жилплощадь – служебная, за малым исключением директора завода и секретаря парткома – коммуналка, мебель – кровати, столы, стулья – все с жестяными номерками, под роспись управдома в амбарной книге. Домоправителя Иван Иваныча в жеванном чесучовом френче и когда-то белой фуражке боялись: а вдруг стул покалечишь или стол поцарапаешь? Не беда, но позор на общем собрании – летом во дворе, зимой – в дворницкой.

Беда была, когда коллега управдома по непритязательному досугу, облезлый как головой, так и одеждой фининспектор шастал без предупреждения по квартирам. Чаще всего мытарь шел на звук швейной машинки «Зингер». А не частным ли предпринимательством, гражданочка, занимаетесь, а положенных налогов в казну не платите, закон тем нарушая. И замерял площадь найденных тряпок умножением на бумажке показаний портняжного сантиметра – влезает в норму семейного потребления на душу населения или нет! Мамаши наши жарким потом покрывались, а вдруг?

Не было в нашем доме ни снабженцев, ни буфетчиц, ни «воров в законе» – то есть советских «миллионеров». Не было и рабочих и колхозников – конституционных советских нищих. А все остальное было. Кроме денег. На мороженое – два раза в неделю (палочка эскимо – 11 коп.), на газировку – 3 копейки с сиропом, 1 – без, да на кино – 20 копеек на дневной сеанс. И то не всем давали!

Но самая унизительная, по моим тогдашним представлениям, мальчишечья обида – это стиранная-перестиранная одежная бедность среднего класса. Ее отличие от мерзкого тряпья усугубляло проблему: улицы, а еще больше базары и вокзалы были в те послевоенные времена просто

Владимир ГЛЕЙЗЕР родился в 1944 году в Саратове. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики. Автор многих статей, эссе, памфлетов, рассказов. На сцене саратовского драматического театра и киевского академического молодого театра шли его пьесы-сказки для детей. Два издания выдержала книга «Записки пьющего провинциала». Публиковался в журнале «Волга». Живет в Саратове.

напичканы нищими. Как профессиональными – с насиженными местами, так и залетными. Но эти убогие люди в бутафорских лохмотьях жили своей, в чем-то неповторимой жизнью по амбициям своей амуниции. В которой, наверное, были и смех, и слезы, а может, и любовь? Но сколько в ней, уж точно, было неповторимого артистизма!

Каждое воскресенье я ходил в кружок «Умелые руки» в близ расположенный Дворец пионеров, и каждое воскресенье наискосок от места моего назначения я останавливался посмотреть и послушать необычайный уличный кабаре-дуэт. Два насквозь пропитых инвалида в драных тельняшках под аккомпанемент трофейного аккордеона «Вельтмайстер» исполняли гнусавыми голосами весь по тому времени модный песенный репертуар. У одного нищего не было правой руки, у другого – левой. Работали они в паре, тесно прижавшись друг к другу обрубками. Через оба торса был натянут на подтяжках упомянутый музыкальный инструмент, и инвалиды бойко играли на нем в две целых руки! На деревянном футляре перед вельт-мастерами лежала просаленная бескозырка. Пустой никогда она не была. Зимы были суровыми, и на это время дядя Миша и дядя Коля (таковыми были синие татуировки у них на пальцах) исчезали. Появлялись они где-то под Первое Мая, и на мой вопрос радостного ожидания: «А где, дяденьки, вы пропадали?», гордо отвечали старому знакомому: «Где-где, в сочах-кичах на гастролях!»

Так вот, ни голод, ни холод, ни теснота, которые в том или ином качестве присутствовали в жизни почти всех известных мне тогда жителей СССР, так не выворачивали наизнанку душу чисто вымытого, вполне накормленного, аккуратно постриженного под челку мальчика, как сравнение своей лицованной-перелицованной одежды не с экзотической униформой нищих, а с теми «шмотками», что носили сверстники и однокашники по престижной школе другого, не похожего на твое, происхождения. Не буду уточнять какого, но не инженерного, а тех, чьи родители могли дополнить свое госбюджетное довольствие гвоздями, болтами, гайками, красками, керосином и спиртом с верстаков, кладовок и опечатанных складов их поистине бездонных народных предприятий. Из того, что, кто лицемерно, а кто и презрительно, называли «закрома Родины». В нашем доме из этого ряда предметов повседневного быта в неограниченном количестве имели место быть только огрызки конструкторских карандашей «Кохинор». Маленьким я строил из них игрушечные избы и колодцы.

С годами я понял принципиальное отличие между бедными и нищими: первые – все разные, а вторые – все одинаковые, единственная цель которых – нажива. И больше не числом, а умением. Бедность, конечно, не порок, но и не профессия! Тогда я не знал ученого слова – менталитет. В бурные девяностые, как и тысячи других, я ушел «в бизнес», в котором познакомился со многими, ранее не известными мне типажами, казалось бы, все родом из всеобщего бедного детства. Так вот, по своему «менталитету» наиболее преуспевающими дельцами стали те, кто по сути своей (не по материальному положению!) были цепкими и удачливыми нищими!

Но это я умничаю, прикрывая бездумную ностальгирую. А дума, она же несбыточная мечта, тогда у меня была. В формулировке – «открытый счет в банке». То есть, не абстрактно много денег, а возможность тратить их в любое время и в любом количестве. В голожопом инженерном окружении, жившем от зарплаты до зарплаты, бытовали невероятные легенды об образе жизни «почти как они интеллигентных» деятелей отечественной культуры. Более того, некоторые из этих небожителей были не такими уж и дальними родственниками наших «заводчан». Например, папин заместитель и собутыльник дядя Изя Вайсбейн был чуть ли не родным племянником знаменитого Леонида Утесова! Бывал у него в доме, о чем (должен заметить, с большой иронией) любил рассказывать. «А почему у вас с Утесовым фамилии разные?» – спрашивал я. «Фамилии-то у нас одинаковые, малыш, а разные – псевдонимы. У нас в Одессе под своим именем только дюк Ришелье живет». Так вот, в отличие от нашего дяди Изи его «дядя Ледя» жил вообще без материальных забот, потому что у него был «открытый счет в банке»! Теперь я уже как бы знаю, что это такое, а тогда и представить себе не мог! А по рациональному родительскому воспитанию никогда не стремился познать непознаваемое, или по-песенному «сказку сделать былью и преодолеть пространство и простор». И от отсутствия в моем идеологическом репертуаре этой песни

веселой было мне легко на сердце всю жизнь! Смеялся над собой, ерничал над другими, гардероб не часто менял, но одежку никогда не штопал и не перелицовывал, недоедал дома, а не в гостях, но не нищенствовал: научился выпивать как истинно английский джентльмен – без закуски и много! И ни разу – до упаду.

Сижу как-то уже совсем взрослым на дачке своей, на пологом волжском бережке со вчерашним собутыльником, с которым все алкогольные запасы, как обычно, к утру уничтожил. Чаи безалкогольные гоняем с кофеями. Мне-то хорошо, я, слава генетике, продажной служанке буржуазии, бессиндромный. А товарищ (между прочим, не бомж, а доктор наук с хорошей биографией) с похмелья башку ладонями жмет. И говорит в отчаянии: «Вовка, а в чем смысл жизни, кроме опохмела? Я серьезно».

Ничего я ему не ответил, чифирек глоточками попиваю, босой ножкой камушки в речке шебуршу. Потому что ответ-то доктор сам дал – в опохмеле, конечно, в опохмеле! Только понимать его надо в расширительном, а не базарном смысле! Именно этот весьма болезненный синдром и позволяет умному понять, что он, как дурак, вчера спьяну натворил. Чтоб разобраться в последствиях и сделать какие-никакие выводы.

Пример – беспохмельные коммунисты изменили мир, а он, в отместку, им. А потом случайно из газет и телепередач выяснилось, что все первоначальные капиталы в нашей стране нажиты преступным путем к коммунизму. А уж потом – большой дорогой в капитализм.

Вообще-то, измена – это вовсе не предательство. И вообще, все наши страдания не от измен, а от подмен. Подмените ум хитростью, три четверти клиентов не заметят! Подмените свободу осознанной необходимостью, получите генералиссимуса с нечеловеческим лицом. И себя в сухом остатке, типа лагерная пыль.

История – это не борьба классов за окончание школы. Это просто один из гимназических предметов. Более эмоциональный, чем химия, но менее поэтичный, чем математика. Ее учат, но она ничему не учит. История – если и правда, то не вся правда. А не вся правда – уже подмена, вид изощренной лжи.

«Я поведу тебя в музей, – сказала мне сестра».

Я и пошел. В том самом детстве. Зря ходил. Не понравились мне навсегда эти огромные цветные иллюстрации к неизвестным мне произведениям. Лак сверкал в золоте рам. Это потом я узнал, что такое «лакировка действительности», и уразумел, что и недействительность тоже давным-давно залачена. Для нас, юных атеистов-пионеров, сюжеты были не только непонятны, но и чужды по существу, так что и картинки к ним производили впечатление всем известной полукилометровой статуи тов. Сталина на канале Волга-Дон: большое, дорогое, но ненужное.

А нужное – это другое: легкая жизнь. И она прекрасна, как неангажированное искусство. И не надо ее лакировать и выставлять напоказ в подробностях – потяжелеет до неузнаваемости!

Евгений ЗАУГАРОВ

Зимняя серия

* * *

– Как не люблю я это время,
Ноябрь, начало Декабря...
– Ты прям стихами говоришь.

* * *

Понадобился чёрный колорант.
Заходишь в магазин – ещё светло,
выходишь – потемнело.

* * *

На экране телевизора появился Максим Галкин.
Неужели прошло уже две недели
с тех пор как я видел его в прошлый раз?

Максим Галкин доставляет зрителю удовольствие,
так как одним своим появлением подтверждает то,
что «вчера» ничем не отличается от «сегодня».

* * *

Истинно то, что движется без усилий.
Например, катящийся камень.
Когда же его движение прекратится,
то, если не прилагать усилий,
он будет покоиться вечно.

* * *

Кинотеатр «Пионер».
Так это же четырёхстопный ямб,
невольно скажешь пятистопным ямбом.

* * *

КОГДА Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО ТЫ
МОЖЕШЬ ПРОЧЕСТЬ В МОИХ ГЛАЗАХ,
ЧТО ТЫ МНЕ НАДОЕЛА,
Я УХОЖУ.

Евгений ЗАУГАРОВ родился в 1966 году в городе Миассе. Закончил химический факультет Саратовского университета. Публиковался в журналах «Волга», «Дети РА», «Василиск», «Воздух».

* * *

В фильме «Зелёная миля» есть такой эпизод:
негр-экстрасенс возвращает к жизни мёртвое существо.
Вспоминается также, как он избавляет от боли
страдающего человека. В реальной жизни
такого не может быть, потому что не может быть никогда.
Как жаль, что этого не может быть никогда!
Потому что, во-первых, от страданий никто никогда не избавит,
а во-вторых, впереди ожидает смерть.

* * *

Трусливо совершая дрянь и глупость,
при этом не чувствуешь никакого
к себе уважения.

* * *

Ночью выпало огромное количество снега.
Наутро всё это начало интенсивно таять.
Улицы стали практически непроходимыми.

Переходя дорогу, двигаешься как попало.
Справа, лениво расталкивая снеговую кашу,
медленно едет грязный автомобиль.

Это внедорожник BMW или LEXUS RX-300,
только вот что-то он не выглядит оптимистом.
Из какого болота он вылез, бедный!
Какой у него хмурый, жалкий и кислый фейс!

Обычно автомобиль смотрит на человека,
решётка радиатора обнажена как зубы,
всем своим видом он выражает угрозу.
А этот как бы и не автомобиль вовсе.

Тем временем автомобиль приближается.
Внутренний голос предупреждает об опасности.
Дескать, мерс это смерть, берегись!

Но в этом голосе нет повелительной интонации,
он соответствует внешнему виду автомобиля.
Спрашивается, что делать в таких случаях?

Окружающий мир настолько однообразен!
Серое небо, грязный снег, монотонный шум.
Кажется, ничего уже никогда не произойдёт.

В самом деле, чего такого произойдёт,
если этот пассивный мерс тебя пизданёт.

Александр ПЕТРУШКИН

* * *

гулит метро гулит до миллиметра гулит хоть голуби остались в зоопарке
ты ничего не выучил уроки остались в школе – школы не осталось
ты корочкой подмерзшею покрытый крошишь свои пока пустые руки
и у пальто осталось только горло а в горле гули гули с хлебом звуки

а спустишься под землю в переходы и там читают книги вне прохожих
течет трамвай с собою не похожий собаки это небо небом роют
они прозрачны тонкие собаки – из них построят в дерево ступени
гулит метро гулит по миллиметру и ждёт ямщик когда его заменят

* * *

горячая и мутная река
она течет как огнь издалека
издалека как бабочка летит
и машарыгин с небом говорит
он падает разводит руки-суки
от сук не деться – есть соснора только
насколько ты готов на сто настолько
что речь взбивает воздух брешут в гугле
что гул небесен – тили тили тесто
горячая и мутная невеста
летит от небеси за каплей капля
а машарыгин с небом говорит
как столп и дым почти почти стоит
издалека из пятен подзаборных
его восьмиугольный вертолёт
идет по небу говорит заводит
пустынна речь что нам его речёт
горячая и мутная река –
дай бог пройти его дурные руки
издалека он падает до дна
но рцы еси до аз до юз до твердой буки

насколько ты готов?
на сто на сто

Александр ПЕТРУШКИН родился в 1972 году в г. Озерск Челябинской области. Поэт, культуртрегер. Куратор поэтического семинара «Северная зона». Издатель поэтических серий «24 страницы современной классики», «Антология РЕАльной литературы», «Поэзия северной зоны». Публиковался в журналах «Знамя», «Воздух», «Волга-XXI век», «Транзит-Урал», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «Уральская новь», «Нева» и др. Автор книг «Оборотень» (1998), «Улитка дыхания» (1999), «Флейта Искариота» (2002), «(В)водный ангел» (2004), «Анатомия. Стихи последнего года» (2005), «Я полагаю, что молчанья нет...» (2007).

* * *

крохотное небо назывные буквы
подсадила мама кума на копейку
посчитаешь – сдохнешь от любви и муки
но читают в хате по солдату швейку
но читают в хате кружевные окна
умирая нежно от красивых сук
хавает ребёнок у родного голубя
из трёхпалых резаных
тёмно синих рук

Женщина сорокалетняя

привкус чего-то актуального наверное литературы
снобизма (идитынах) крики панаехали тут всякие дуры
всякие всякие

целую тебя за ушком

в избушке между кладбищем и небом целую то кладбищем то небом
то есениным то женщиной сорокалетней
летней

трогаю мну обдираюсь ботвою до крови
типа дайте мне грантса дайте водочки и любови
слова нет – остаётся твоё тело

тёплое и страшное

за окном светает от неактуального снега

* * *

молчи молчи молчи молчи
то с правой то с другой руки
здесь есть река но изреки
ножа не видно не дыши
застыл как зябнущий незверь
не птица но себя сильней
прозрачней видишь как внутри
двора тебя все мужики
стоят не дышат а вверху
летает непрозрачный куб

он говорит – что говорит
молчание звонарь болит
и ходит по гнедой дуге
трам-пам-парам с бре-ке-ке-ке
молчи молчи молчи молчи
но выйдя в тело мужики
взлетают как с одной руки
из глубины слепой реки
свинцовый куб во мне летит
молчи молчи мне говорит

* * *

изнанка речи на забор
водозабор

три слова матерных и на
всё е страна

без пафоса и без теней
плывём по ней

и густо густо огород
стучится в рот

откроешь дверь со всех петель
читай тетерь

в глухой стране один слепой
он за тобой

и говорит за нас рука
(но далека)

ты обернёшься и вернёшь
по рылу ложь

изнанка речи тишина
вползёт под нож

какая мягкая земля
примериваешь на себя

и траляля

* * *

рукою тронула не той
которой длинной

жить приучилась в смерть – постой
у шконки глинной

свинцова жизнь но жестяной
шажок в автобус

верняк негордый шестерной
смотри увозит

смотри выносят говорят
о чьей-то светлой

а за окном – два фонаря
под глазом третьей

на четверть выбитый сквозной
по праву зуба

и голубь с телом говоря
ждёт лесоруба

В. Н. Семенов, Н. Н. Семенов

Лошади в старом Саратове

Главы из книги

1. Извозчики легковые и ломовые

Несмотря на то, что в 1887 году в Саратове была открыта конная железная дорога по четырем самым ходовым направлениям (о них подробно мы расскажем ниже), спрос на извозчиков был практически не поколеблен. Наоборот, с каждым годом он увеличивался – даже с пуском электрического трамвая в 1908 году потребность в индивидуальных средствах передвижения не уменьшалась и, стало быть, число легковых извозчиков неуклонно возрастало. Если в начале 1890-х годов их было около тысячи, то в 1914-ом городская управа зарегистрировала 3200 извощичьих экипажей. И это при наличии 1200 собственных выездов у состоятельных жителей Саратова.

Городской конный парк делился на две категории – легковых и ломовых извозчиков. Работали они или индивидуально или от хозяина, занимавшегося извозом и содержавшего и животных, и приданные к ним транспортные средства.

В Саратове легковые извозчики применяли только одноконную запряжку. Они были самой многочисленной группой. В езде использовали просторные, но грубой работы экипажи, с надколесными железными крыльями, колесами, ошинкованными железом, что вызывало при езде по булыжной мостовой грохот и дребезжание. Сбруя применялась рядовая, сделанная из простого черненного сыромятного ремня, без металлического набора и украшений. Дуга легкая, круглой формы, выкрашенная в черный, как и экипаж, цвет. У экипажа был съемный верх, оборудованный подъемным приспособлением, применяемым для защиты пассажиров от непогоды. Местом извозчика было переднее сидение на козлах экипажа. Он был неприкрытым при любой погоде, одет обычно в черный армяк, подпоясанный красным поясом, на голове – шляпа, напоминающая низкий цилиндр с расширением кверху.

Конский состав у обычных легковых извозчиков был пестрым и разнообразным, от простых беспородных лошадей до нарядных и вполне приличных рысистых помесей. Все извозчики были зарегистрированы в полиции и в городской управе и имели специальные номерные знаки в виде металлической пластинки небольших размеров, окрашенной в желтый цвет с черными цифрами. Крепился знак на задке экипажа или саней с наружной стороны. Другой номер в виде овальной бляхи из белой жести крепился сзади на поясе извозчика.

Зимой экипажи заменялись легкими на железных полозьях санками с выгнутым передним щитком, защищающих пассажиров от комьев снега, отлетающих от копыт при быстрой езде. Полостью из толстого и грубого сукна закрывались ноги пассажиров. В санки, как и в пролетку, свободно помещались два пассажира, чаще называемые седоками.

Среди легковых извозчиков выделялись т.н. лихачи. В их экипажи запрягались чистопородные рысистые лошади, отбегавшие на ипподроме или не получившие заводского назначения из-за имеющихся пороков и недостатков экстерьера, но всегда нарядные и представительные. И резвые, что позволяло прокатить пассажиров с «ветерком». Экипажи лихачей были более комфортабельными, с колесами на резиновых ободах или на «дутых» (пневматических) шинах. Отличительной чертой этих экипажей была отделка: крылья изготовлены из лакированной кожи, подушки и спинки сидений обиты дорогим сукном, от пыли пассажиры прикрывались кожаными фартуками.

Виктор и Николай Семеновы – саратовские краеведы, авторы многих книг об истории города («Саратов купеческий», «Саратов дворянский» и др.), авторы многочисленных публикаций в журнале «Волга».

Сбруя была нарядной и легкой, с металлическим набором и украшениями. Зимой лихачи закладывали рысаков в полированные красивые сани с меховой полостью, прикрывающей пассажира до пояса. На рысака с захватом оглобель набрасывалась цветная сетка, предохранявшая пассажиров от комьев снега, летящих из-под копыт рысака. Кроме защитных свойств сетка использовалась как своеобразное украшение лошади и всего выезда лихача.

Одежда лихача почти не отличалась от одежды обычных извозчиков. Но шляпы у них были лакированные, армяки, фасонисто сшитые из добротного сукна, пояса и перчатки обычно белые. Номера отличались по цвету. С красными цифрами на белом фоне они были хорошо видны издалека и служили своеобразным предупреждением пассажиру, что этот извозчик по его высокому рангу требует значительно большей оплаты.

Были еще ночные извозчики, которыми становились обычно крестьяне из окрестных деревень. Они обслуживали город зимой, когда полевые сельскохозяйственные работы прерывались. Сани и сбруя у ночных извозчиков были невзрачные, часто самодельные. Одеты они были как придется, но лошади у них были в хорошем теле, бойкие и резвые, что позволяло быстро добраться из одного конца города в другой быстро. Но ночной извоз был, как представляется, дороже, ибо был связан с неудобствами и частенько с опасностью.

Извозчики различались не только по внешнему виду, запряжками и лошадьми, но и по социальным признакам. Ночные, как указывалось, были крестьянами-сезонниками, приезжавшими в город на заработки в зимнее время как на отхожий промысел, весной к началу сельхозработ они возвращались в деревню. Легковые извозчики, как правило, были тоже крестьянами, но были прописаны в городе круглый год и приезжали домой в деревню лишь по большим праздникам. Обычно они имели собственную запряжку и относились к категории кустарей-одиночек. В отличие от них лихачи в большинстве были наемными рабочими, выезжавшими на лошадях хозяина-предпринимателя.

В Саратове такими хозяевами, занимавшимися извозным промыслом, были Иван Корольков, Яков Воробьев, Василий Терехин. Они содержали целые конюшни, оснащенные всем необходимым, и нанимали работников, обслуживающих лошадей, транспортные средства, упряжь и т.д., а также непосредственно извозчиков. В конюшне Королькова, например, владевшего домом и дворовым местом на Ильинской улице, содержалось 24 лошади. Были среди них и легковые и ломовые извозчики, которые работали по договорам или по разовым заказам с солидными клиентами. Например, с мельницами Шмидтов и Рейнеке – здесь постоянной статьей извоза было зерно (транспортировалось на мельницу) или мука (транспортировалась на склады или в мучные лавки). Каждый нанятый извозчик обязывался ежедневно привозить хозяину к известному часу определенную сумму выручки, недостача в которой вычиталась из его заработка. Если перерабатывал, то хозяин смотрел «спустя рукава» на небольшое присвоение излишков, причем угадывал их приблизительную сумму по состоянию возвратившейся «на двор» лошади. «Конь в мылу», «потный» – значит много пробежал за день, если сухой – все в порядке, не «калымил». Следили также хозяева, как конь «за корма» возьмется, не ляжет ли и т. д. Все эти признаки позволяли безошибочно определить добросовестность работника. Содержали хозяева, помимо обычных экипажей, также кареты для свадебных церемоний и дроги для траурных.

Стоянки легковых извозчиков находились в наиболее людных местах, на площадях, у базаров, на пересечениях центральных улиц. Одна из них – на Соборной площади, против здания консерватории. Были также стоянки на углу Никольской и Сергиевской (Радищева и Чернышевского), у гостиницы «Россия», у железнодорожного вокзала, у волжских пристаней (в навигационное время), на Митрофаньевской площади (у Крытого рынка), у Пешего базара, близ Товарной станции и т.д.

Сильное негодование в стане извозчиков вызвало решение городской управы устроить в городе конную железную дорогу.

2. Конная железная дорога

Газета «Саратовский листок» от 30 апреля 1887 года сообщала:

«Наконец, конно-железная дорога в Саратове существует. Сегодня состоялось ее открытие. В парке дороги, где сосредоточено главное управление, соборным духовенством был отслужен молебен, на котором присутствовали: управляющий губернии, чины администрации, гласные городской думы, представители печати и масса публики. После молебна и окропления святою водой зданий нового учреждения, строители дороги предложили приглашенным гостям, по русскому обычаю, хлеб-соль в актовом зале Радищевского музея, любезно уступленной для того городским управлением. От парка до Театральной площади приглашенные проследовали в вагонах дороги, расцвеченных флагами. Во время завтрака в зале музея играл оркестр Кутаисского полка. Первый тост был провозглашен управляющим губернией А. А. Тилло за здоровье Государя Императора и вызвал единодушное ура, повторившееся много раз. Оркестр заиграл народный гимн «Боже, Царя храни», который был пропет под аккомпанемент музыки всеми участвовавшими. Затем были сказаны речи: г-ном управляющим губернией и г.г. Ахшарумовым, Славиным, Кропотовым, Кошкиным и Немировским. Тосты были предложены за успех нового дела, за согласие предпринимателей и города, за здоровье недавно оставившего Саратов губернатора А. А. Зубова (которому послана телеграмма), за городских представителей, за строителей и управляющего дорогой и за инициатора ее устройства Л. П. Блюмера...»

«Центральное депо железно-конной дороги, как известно, находится на Московской площади, против исправительного арестантского отделения. Здесь воздвигнуты довольно солидные сооружения: два двухэтажных деревянных корпуса – один для больницы, другой для управления дороги, сарай для вагонов и другие постройки. В настоящее время по рельсовому пути идет ежедневное и постоянное пробное движение и, как видно, все уже готово для того, чтобы движение по Московской и Большой Сергиевской улицам сделалось фактическим. Все дело теперь, как мы слышали, останавливается за приездом одного из акционеров кампании этой дороги, которого ждут на днях. По приезде его немедленно будет совершено подобающее молебствие, рельсовый путь будет освящен, и затем последует официальное открытие движения».

Этой публикации предшествовала длительная и тщательная подготовительная работа. Проложены рельсовые пути, построены многочисленные помещения для разных служб, закуплено и доставлено разнообразное оборудование, материалы, животные, нанят необходимый штат работников. В числе прочих приобретений указаны: 30 одноконных вагонов, окрашенных зеленой и желтой краской (на 20 пассажиров каждый), 4 платформы, 100 лошадей (по 140 рублей за голову), сбруя (из расчета 15 рублей на одну лошадь).

Движение конки открылось 1 мая 1887 года по Московской улице (от Старого собора до вокзала железной дороги) и по Б. Сергиевской (от Московской до Александровской, ныне ул. Горького). В объявлениях об открытии конки говорилось, что «вагоны будут отправляемы с оконечных пунктов с 7 часов утра до 10 часов вечера через каждые 10 минут». Плата за проезд определялась для первого класса 5 копеек (внутри вагона), и для второго – 3 копейки (на площадке).

Устройство конно-железной дороги породило массу вопросов у обывателя, дотоле незнакомого с порядками на общественном транспорте. В газетах спрашивали: «Будут ли останавливаться вагоны в пути для принятия дам и детей или ссаживания оных?» Или: «Как поступить, если за билет уплачено, а пассажир ехать раздумал?» На эти и другие сомнения управление дороги терпеливо разъясняло:

– «вход и выход из вагонов допускается только с задней площадки – дабы не пугать лошадей».

– «курение табаку и провоз собак и других животных, как то: овец, свиней и домашней птицы – воспрещается».

– «ввиду обязанности выполнять санитарные правила просьба не плевать внутри вагонов».

– «пассажир имеет право взять с собой в вагон вещи и съестные припасы в количестве, не стесняющем других пассажиров».

Скоро конка стала привычной и необходимой деталью городского быта. Жители Саратова

быстро усвоили преимущества общественного транспорта и охотно им пользовалась. Газета «Саратовский листок» резюмировала через два месяца после открытия конки: «С проведением по улицам Саратова конно-железной дороги извощичий промысел временно ослаб. В вагонах конки можно видеть лиц самых зажиточных классов, которые раньше пользовались исключительно услугами биржевых лихачей».

Спустя год в Саратове открылись еще 2 линии конки – Константиновская (к товарной станции от «Пассажа») и Ильинская (от Московской до Б.Сергиевской и далее до Улешей). Всего на всех линиях первоначально было задействовано вагонов – 25, лошадей – 109, кондукторов – 38, кучеров – 50, форейторов – 10. Последние работали на пристяжных лошадях, которые «добавлялись» в упряжку на Ильинской линии, при движении вагона вверх к Митрофаньевскому базару (где ныне Крытый рынок). Общая протяженность маршрутов по всем четырем линиям составила суммарно 16,34 версты.

В дальнейшем, в связи с удлинением некоторых линий и увеличением числа пассажиров, число вагонов возросло до 69, а лошадей – до 306. Такое большое поголовье размещалось в конюшнях на углу Московской и Астраханской улиц, где помимо денников имелись все необходимые вспомогательные службы: ветеринарная, кузнечная, слесарная, склады для материалов и амбары для фуража. В этом же месте помещался и «вагонный парк». Основную массу лошадей составляли нечистопородные рысаки, годные и под седло, и в запряжку. Это были крепкие и выносливые рабочие лошадки средних размеров в оптимальном возрасте от пяти до 15 лет, привыкшие неустанно трудиться и послушно исполнять команды кучеров. Часть поголовья составляли мерины.

В течение рабочего дня лошадей подкармливали – «на оконечных пунктах» стояли кормушки с овсом и баки с водой. Вагоны в Саратове использовались небольшие – в расчете на 20 пассажиров. «Империалов», то есть вагонов с верхней пассажирской открытой площадкой – как в Москве и Петербурге – в нашем городе не имелось. Тянули вагон либо пара лошадей, либо одна, если маршрут пролегал по ровной местности. На передке вагона размещалось сиденье для кучера, керосиновый фонарь, в темное время освещавший крупы лошадей, и колокол с подвязанным языком – для сигнала зазевавшимся прохожим, собакам и нерасторопным городским извозчикам. Все линии, естественно, были засыпаны навозом, уборку которого производило управление конки – для этой цели курсировали по городским маршрутам специальные грузовые экипажи с погрузчиками, вооруженными лопатами.

Условия работы на конке были довольно тяжелыми. Кондукторам, кучерам, рабочим приходилось трудиться по 17 часов в сутки при зарплате 15-25 рублей в месяц, что соответствовало жалованью квалифицированного рабочего. Администрация дороги предусматривала кормление сотрудников, для чего при управлении имелись столовая и четыре кухарки. Питание предоставлялось при выезде на маршрут и после окончания рабочего дня. Содержался при управлении и врач – «для бесплатного осмотру и назначения лечения».

Конка проработала в Саратове 20 с небольшим лет. Эра овса как двигательной силы общественного транспорта закончилась в 1908 году, когда на смену растительной пище пришло электричество. В октябре 1908 года по линиям конки и по другим вновь проложенным маршрутам побежали новенькие бельгийские трамваи.

3. Пожарные команды, конная полиция и военные части, квартировавшие в Саратове

Пожарная служба всегда была важным городским подразделением – в старом Саратове борьбе с огнем придавалось большое значение, ибо страдал от возгораний город на протяжении всей своей истории. Известно, что уже в 1754 году существовал здесь пожарный обоз, ведший борьбу с огнем заодно с жителями, прибегавшими на очередной пожар кто с топором, кто с ломом, кто с ведром. Успехи в деле пожаротушения во времена этого обоза, то распадавшегося, то снова возобновляемого, были более чем скромными. Саратов неоднократно выгорал дотла. В регулярное и обученное аварийное пожарное подразделение данная служба оформилась к середине XIX века.

В 1854 году были построены по проекту губернского архитектора К. В. Тидена типовые каменные здания четырех пожарных частей в Саратове – двухэтажные массивные сооружения с высокой каланчой, где в ожидании сигнала тревоги круглосуточно пребывали пожарные команды и готовые к выезду экипажи с необходимым инвентарем: лестницами, насосами, шлангами, баграми. Дежурные на каланче зорко оглядывали окрестность днем и ночью, высматривая столбы дыма или очаги пламени. Заметив что-либо подозрительное, звонили в находившийся при них колокол, днем вывешивали аварийные шары на каланче, а ночью – фонари. Их сочетания означали масштаб бедствия. В случае большого пожара объявлялся «сбор всех частей», и на место происшествия со всего города мчались пожарные команды.

Срочный выезд всегда производил впечатление на обывателя – особенно, если случалось это ночью. На козлах сидел, откинувшись назад и упираясь ногами в передок, возница, тоже в пожарной робе и блестящей каске. Вытянув руки вперед, он всем телом осаживал лошадей в тройной запряжке. Лошади были наезжены идти в упор вожжей и непременно галопом. Подгонять их не приходилось, надо было только сдерживать. Впереди пожарных линеек с оборудованием и бочками с водой скакал верховой и звонил в специальный колокол, держа его повыше – этим предупреждались нерасторопные прохожие и экипажи. В темноте зажигались смоляные факелы и вставлялись в специальные кронштейны на передке повозок. А командовал все этим брандмейстер в чине полковника – должность почетная и в городе известная. Чаще всего он лично присутствовал при тушении пожаров, отдавая команды и при случае вдохновляя подчиненных примером.

В глазах обывателей пожарная служба была образцовым подразделением – смелые, расторопные и всегда готовые к тяжелой и опасной работе люди. Подтверждением «порядка в пожарных частях» был популярный в городе пожарный оркестр, регулярно участвовавший в городских мероприятиях – на званых вечерах в Благородном и Коммерческом собраниях, на катке, в музыкальной раковине в Липках, на вокзале при проводах или встрече именитых персон.

Первая пожарная часть располагалась около сада Липки (здание сохранилось, но без каланчи) – здесь запряжки лошадей были исключительно светло-серой масти. Вторая часть находилась на углу Полицейской и Введенской улиц (ныне Октябрьской и Революционной) – сюда подбирали только вороных коней. Третья часть была на горах, возле Духосошественской церкви, где традиционно пожарные тройки формировались из рыжих лошадей. А в четвертой части – на Ильинской (ныне Чапаева) улице, у Митрофаньевского базара, использовали только гнедых.

Не любая лошадь подходила в пожарную команду, и их покупали по ярмаркам и конным заводам, подбирая не только по масти, но по темпераменту, резвости, силе, экстерьеру. Шея, например, должна быть с лебединым изгибом, а выступка – игручая, так называемая пассажная.

Авторитет пожарников обусловливал сочувственное к ним отношение городского населения и всяческую помощь со стороны добровольцев на месте пожара. К горящему дому сбегалась вся округа, и каждый почитал за честь и долг принять посильное участие в ликвидации пожара – спасая вещи погорельцев или их самих, подтаскивая воду и песок. Особую славу обретали те обыватели, действия которых на пожаре отмечал сам брандмейстер и подавал прошение городским властям о награждении отличившихся. В этом случае последний осаждался толпой репортеров и их усилиями становился на время подлинным героем дня...

Имелись небольшие конюшни и при полицейских частях – на рубеже XIX–XX веков их (частей) было семь – ответственных за разные городские кварталы. Службу полицейские несли преимущественно «в пешем строю», но при чрезвычайных ситуациях использовалась конная полиция вкупе с казаками. Так было, например, в декабре 1905 года, когда бастовавшие рабочие местных промышленных предприятий устроили массовый митинг на Институтской площади (в районе ул.2-й Садовой), на котором призывали к свержению самодержавия. Только путем применения военной силы забастовку удалось прекратить. При этом с обеих сторон были жертвы.

Полицейские лошади использовались и в запряжках. По казенным надобностям разъезжали по городу в пролетках полицейские и жандармские офицеры. Транспортировались на телегах и долгушах необходимые грузы от товарной и пассажирской станций, отправлялись к отходу поезда срочные донесения в столицу и в Москву, необходим был грузовой транспорт и при специальных полицейских операциях. Наиболее вместительной была полицейская конюшня на Констан-

тиновской (ныне Советской) улице в квартале между Александровской (Горького) и Вольской улиц. Здесь содержалось до 30 голов лошадей. А рядом – на Крапивной (ныне Шевченко) – располагалась конюшня губернской жандармерии. Причем обе эти конюшни были не только стойловыми, но и случными, т. е являлись конными минизаводами с необходимым ветеринарным оборудованием и штатом.

Рядовые полицейские лошади чаще были смешанной породы (дончаки, рысаки, кабардинцы, стрелецкие и т.д.), но всегда находились в хорошей форме, будучи сытыми и ухоженными, готовыми к работе в любое время и в любую погоду.

Большое поголовье лошадей находилось в штате квартировавших в Саратове воинских частей. В мирное время в начале XX века здесь располагался в старых и новых казармах в привокзальной части города личный состав трех пехотных полков – Асландузского, Башкадыкларского и Карского. При них имелись многочисленные необходимые службы и помещения – склады оружия, боеприпасов, обмундирования, провианта, фуража и, конечно, вместительные конюшни на Аткарской, Губернаторской (ныне С.Разина) и Цыганской улицах. Использовалось конское поголовье преимущественно в запряжках, транспортировавших приданное полкам снаряжение и боезапас, а также пролетки с офицерами. Отдельные командиры, имея соответствующую склонность, предпочитали ездить верхом. Лошадей закупали специальные команды ремонтеров по областям традиционного коневодства (в левобережных казахских улусах, в донских станицах, в калмыцких степных селениях). Обязательным условием, помимо хорошего здоровья и работоспособного возраста, был рост каждой особи в холке не менее 140 см.

В числе военных подразделений, бывших на постое в Саратове, была также артиллерийская бригада, размещавшаяся в казармах Деконского на Ильинской площади. Понятно, что состоящие в штате бригады лошади были призваны транспортировать тяжелые орудия в запряжке, как правило, из шести лошадей. Это были животные из породы тяжеловозов, могучие и неутомимые битюги весом свыше 700 кг, работящие и послушные, заботливо обслуживаемые целым штатом конюхов, ветеринаров, ездовых.

Конюшни артиллерийской бригады размещались на недалеком Плац-параде (на пересечении улиц Вольской и Белоглинской). На этой небольшой площадке устраивались периодически строевые учения бригады, собиравшие все окрестное население, которому интересно было посмотреть на всевозможные упражнения и перестроения конных батарей под командой своих образцово выглядевших офицеров-командиров.

С началом второй мировой войны количество войск в Саратове резко увеличилось – здесь формировались маршевые батальоны, проходившие подготовку перед отправкой на фронт. Кроме того, здесь еще в 1911 году в ближнем пригороде открылось кадетское училище (недалеко от нынешнего района СХИ). Естественно, эти обстоятельства привели к увеличению конского поголовья, но количественно его оценить трудно. Хотя нетрудно представить, что условия содержания животных в этот период значительно ухудшились по причине нараставшего хаоса в снабжении и всевозможных нехваток. Последние касались не только животных, но и людей.

4. Конюшни при казенных и частных учреждениях

Естественно, имели небольшие конюшни городская управа и губернское правление, а также такие важные для города и губернии организации как казенная палата, окружной суд, тюремное ведомство, городские образовательные и здравоохранительные структуры, ассенизационный обоз и т.д. Как правило, лошадки содержались в постройках на хозяйственном дворе и обслуживались принятыми на работу конюхами и возчиками. Породистые лошади здесь были редкостью, скорость перемещения по городу особого значения не имела, а тяжелых грузов возить не приходилось. Так что основу незначительного конского поголовья в казенных гражданских организациях составляли лошадки смешанной породы и средних достоинств, так, обычные работяги, гнедые или рыжие, привыкшие к городским условиям, смирные и послушные, передвигавшиеся легкой рысцой, а чаще шагом.

Одной из подобных служб, содержащихся за счет городской казны, был ассенизационный обоз. Канализацию саратовские городские власти начали устраивать лишь в 1910-х годах. К 1917-му только незначительная часть жилых и казенных зданий в центре города была оборудована необходимым сантехническим оборудованием. А основная часть жителей Саратова в начале XX века пользовалась деревянными нужниками во дворах, сооруженными над выгребными ямами. А грязную воду, скажем, после стирки было принято тогда выливать на проезжую часть улицы.

На первых порах выгребные ямы очищались самими хозяевами. На собственную телегу закатывалась бочка, а то и две, и, обвязав нижнюю часть лица платками, наемные работяги черпаками и лопатами выгребали накопившиеся отходы. Процесс сей был неупорядочен – каждый хозяин делал эту черную работу по мере надобности – и утром, и днем, и вечером, распространяя вокруг нестерпимое зловоние. Дворовые собаки скулили от удушья, не зная куда деваться, а обыватели с ругательствами хлопали окнами и дверями. Случалось, что ежедневно все окрестное население страдало от губительного запаха из чьего-либо двора и подчас решалось на какие-то акции протеста. Чаще всего это был громкий скандал (нередко с мордобоем), учинявшийся соседу, надумавшему вывозить отхожие накопления в явно неподходящее время, скажем, во время похорон или, еще хуже, свадьбы. Бывало, дело доходило до околоточного.

В 1881 году городская управа приняла постановление «Об очистке ретирад», предписывающее производить оную процедуру только усилиями городского ассенизационного обоза. В обоз принимались извозчики с собственными транспортными средствами, соответствующим образом оборудованными.

Предписывалось иметь резиновые сапоги, фартук, рукавицы, и «маску для закрытия носа и рта». Обоз осуществлял очистку ретирад только в позднее время, «за два часа до полуночи» с назначением каждому кварталу города определенных дней, сообщаемых загодя. Ассенизаторы работали при керосиновых фонарях, а потом, выстроившись в колонну, двигались по строго отведенным, постоянно меняемым каждый раз, улицам за город. Когда двигался сей обоз по темной улице, то двигалось вместе с ним и зловонное облако, но уведомленные о городской ретирадной операции, обыватели были к этому морально готовы и стоически терпели неудобства.

Самовольная очистка выгребных ям категорически возбранялась, и нарушители могли подвернуться штрафу – «за безпокойство соседям самочинным вывозом назьма». Работа ассенизатора была хорошо оплачиваемой и попасть в обоз по очистке ретирад было непросто. Учитывалась и личность принимаемого извозчика – чтоб ловкий был и непьющий, и к запахам стойкий, а лошадь его – не старая и спокойная, телега – крепкая и с оборудованием в наличии. Так что те, кто работал в обозе, за свое место держались – несмотря на грязь и постоянное зловоние – как-никак 20 целковых в месяц получали. Одно неудобство испытывали они постоянно – все знакомые и соседи в глаза и за глаза обидным словечком их называли – говночистом.

Понятно, что на такой работе использовались тихие, спокойные, чаще пожилые, но сохранившие работоспособность лошадки. Всего в обозе в начале XX века работало от 50 до 70 ассенизаторов.

Более многочисленную и разнообразную группу животных имели на своем «вооружении» частные и акционерные предприятия. Можно представить, какая нужда в извозе имелась у таких крупных фабрично-заводских производств как паровые мельницы Шмидтов, Рейнеке, Бореля, чугунно-литейные заводы Беринга и Чирихиной, масленка Шумилина, табачки Левковича и Штафа, торговые дома Бендера и Шерстобитова и другие. Правда, надо отметить, что часто владельцы подобных мощных организаций прибегали к услугам имевшихся в Саратове ломовых обозов, заключая с ними соответствующую сделку на извоз, скажем, зерна или муки, бочек с маслом или олифой, тюков табачного листа или ящиков с махоркой. Но без собственных лошадей, тем не менее, обойтись хозяину большого дела было затруднительно, а скорее невозможно. Надо было иметь приличный собственный выезд, транспорт для домашних хозяйственных надобностей, экипаж с хорошей лошадью для экстренных неплановых нужд, наезженную двойку или тройку для поездок в загородную летнюю резиденцию или в сельскую местность для отдыха на охоте и рыбалке.

Нельзя сбрасывать со счетов и потребности в извозе крупнейшей в регионе промышленной организации Рязано-Уральской железной дороги, чье правление находилось в Саратове, а также многочисленных именитых пароходных обществ «Кавказ и Меркурий», «Самолет», «Русь» и других, чьи пристани и дебаркадеры в навигационное время осаждались многочисленными пассажирскими и ломовыми извозчиками.

5. Кумысный промысел

Жителям Саратова хорошо известна зеленая зона на северо-западной окраине Саратова, на приподнятом плато Лысой горы, именуемая Кумысная поляна. Точных данных о времени появления этого названия нет. Можно предположить, что осваивалась эта территория где-то в середине XIX века. Известно, что под Саратовом местные татары выращивали табуны лошадей. Содержались они на вольных кормах, уход за ними был минимальный. Выращивание молодняка обусловливало необходимость наличия в табуне большого количества кобылиц. Вот здесь-то и возникла своеобразная служба на Кумысной поляне, занимавшаяся дойкой ожеребившихся кобыл и приготовлением из кобыльего молока кумыса.

Кумыс – кисломолочный напиток беловатого цвета, полученный в результате молочно-кислого и спиртового брожения при помощи специальной ацидофильной палочки и дрожжей. Первыми готовить кумыс научились кочевые народы казахских и монгольских степей. Технологию приготовления кочевники веками хранили в тайне. Как сообщает историк Геродот, скифы настолько боялись утечки информации о кумысе, что ослепляли всех невольников, кто был знаком с его производством. Кумыс признан полезным общеукрепляющим средством. Вкус его – приятный, освежающий, кисловато-сладкий, пенистый. Напиток этот был хмелящим (от 3 до 8 градусов), терпким. В дальних казахских селениях он подчас употреблялся взамен алкоголя. Правда, для достижения необходимого эффекта его надо было выпить много.

Свойства этого напитка давно и хорошо известны человеку. Содержит он целебные и питательные вещества, позволяющие врачевать, продлевать годы активной жизни. Особенно эффективным был признан кумыс при лечении распространенной ранее и неизлечимой болезни чахотки (туберкулеза).

В конце XIX – начале XX века на Кумысной поляне функционировало небольшое хозяйство, производившее кумыс. На участке огороженной территории были построены конюшни и необходимые подсобные помещения, где опытные умельцы приготовляли кумыс. Промысел был сравнительно небольшой, содержавший всего до 30 дойных кобылиц. Сюда часто приезжали на собственных экипажах горожане, дабы напиться вдоволь кумыса и захватить домой четверть-другую для больных родственников и знакомых. Наиболее популярным местом продажи кумыса в старом Саратове были Липки. Здесь стоял специальный киоск, к которому в летнее время по утрам приезжала с Кумысной поляны запряженная лошадкой телега с флягами. И слабые здоровьем горожане тянулись сюда с собственными стаканчиками, чтобы под ближним навесом или на лавочке под кустами сирени вкусить целебный напиток в тишине и благодати городского сада. Зимой торговля перемещалась в лавку на Верхнем базаре.

Продажа кумыса в центре города поддерживалась медицинско-санитарным обществом «Капля молока». Общество таким способом вкладывало свою лепту в дело борьбы с туберкулезом. При этом цены на кумыс в Липках были явно заниженными, т.е. торговля здесь не носила коммерческий характер. Кумысный киоск был такой же приметой городского сада (чаще говорили – бульвара), как и лотки с мороженым, павильон-читальня и музыкальная раковина.

Вся эта налаженная работа по производству и продаже кумыса рухнула в1918 году и больше не возобновлялась.

6. Частные владельцы верховых и упряжных лошадей

В личном пользовании лошади находились либо у хозяина, который на этой самой лошади зарабатывал себе на хлеб (а своей подопечной на овес), либо у состоятельной персоны, склонной

к спортивному коневодству, находившей в общении с конем эстетическое удовольствие. Первая группа в разных ипостасях рассмотрена выше, поэтому поговорим о второй. Она была незначительной по причине высокой стоимости породистой лошади (а только такая могла удовлетворить изысканный вкус знатока) и ее содержания.

Большими любителями и ценителями лошадей были представители знаменитой саратовской династии немецких мукомолов Шмидтов. Один из основателей торгового дома «Бр. Шмидт» Петр Петрович в 1895 году выстроил на Никольской (ныне Радищева) улице обширную усадьбу с главным жилым корпусом, обращенным фасадом на Волгу, и многими подсобными помещениями. Все было сделано добротно и солидно – из красного огнестойкого кирпича, с железной крышей, асфальтом, водоотводами, собственной электростанцией и телефоном. Среди служебных построек выделялась одна, высокая и вместительная, выходящая створными воротами на Никольскую улицу, породившая у обывателей вопросы о ее назначении. Ибо внутреннее помещение не походило ни на что знакомое. Несколько комнат-бюро, балкон с сидячими местами, а основной объем – пустой вместительный зал с узкими окошечками поверху, с земляным полом, усеянным толстым слоем песка и опилок. Как выяснилось впоследствии, это был манеж для тренинга и выездки породистых и экзотических лошадей, покупаемых хозяевами для верховых прогулок в загородной резиденции и окрест, для разъездов в запряжке по городу, для катания детей. Для последней цели Шмидты приобретали миниатюрных шотландских пони, на которых юное поколение в раскрашенной колясочке совершало прогулки по аллеям обширного поместья в Разбойщине.

Случаев покупки Шмидтами спортивных лошадей и участия в конных состязаниях в архивных документах не зафиксировано. После революции вся недвижимая собственность Шмидтов была национализирована. В главном жилом комплексе на Никольской улице был устроен дом работников народного просвещения (знакомый многим поколениям саратовцев Дом Учителя), а манеж отошел для нужд спортивного ведомства, и в нем вот уже долгие годы размещается спортивный зал, где ныне обретается школа юных самбистов.

А вот представители другого могущественного мукомольного клана Рейнеке «засветились» на покупке элитных спортивных лошадей. В 1909 году газета «Саратовский листок» сообщала, что братья Артур и Владимир Рейнеке приобрели чистопородного американского рысака за 18 тысяч рублей. Заметим, что даже тогдашнее чудо технического прогресса автомобиль стоил намного дешевле.

В Саратове братья Рейнеке купленного рысака на состязания не выставляли, предпочитая участвовать в бегах на «приличных» ипподромах Москвы и Петербурга. Каковы были их успехи в соревнованиях, нам неизвестно.

А вообще конные экипажи, обслуживавшие хозяев крупных торговых домов, заводчиков и первогильдийных купцов, отличались безупречным внешним видом: сытые, вычищенные, красивые и сильные лошади благородной масти (серые, вороные, караковые), расчесанные гривы и хвосты, нарядная сбруя с блестящими металлическими бляшками, крытые черным лаком пролетки с откидным верхом и на резиновом ходу, экзотически одетые кучера в цилиндрах и белых перчатках – так выглядели парадные запряжки мукомолов Шмидтов, Рейнеке, Борелей, Скворцова, Богословского, Степашкина, заводчиков Беринга, Селиванова и Чирихиной, фабрикантов Шумилина и Левковича, мануфактурщиков Бендера и Шерстобитова. И не только внешне были представительны и красивы выезды богатых людей. Их лошади были наезжены, резвы и выносливы, пролетки оборудованы рессорами, в любой момент в них можно было укрыться от дождя и непогоды, управление лошадьми было профессионально умелым, без криков и ругательств, а движение экипажа спорым и равномерным.

Естественно, содержались такие лошади в идеально-комфортных условиях, под постоянным наблюдением ветеринара: вычищенные денники, заботливые конюхи, высококалорийные и разнообразные корма, легкий тренинг, прогулки, умеренные рабочие нагрузки.

Высокопоставленные персоны предпочитали, в большинстве своем, езду в запряжке – так удобнее, и приличнее, и привычнее, и, пожалуй, безопаснее. Только единицы, особые ценители

верховых лошадей и любители острых ощущений, позволяли себе показаться на виду у обывателей на оседланной скаковой лошади. Таким был в Саратове присяжный поверенный Александр Иванович Скворцов.

Он родился в 1877 году в Саратове в богатой купеческой семье. Отец его был владельцем многих экономий в губернии, а дядя – Н.В.Скворцов – хозяином мукомольной мельницы и маслобойной фабрики. Оба предприятия размещались в районе Полтавской площади (ныне Детского парка).

После окончания юридического факультета Московского университета Александр Иванович вернулся на родину, работал адвокатом. Имел хорошую практику, слыл преуспевающим человеком. Выгодно женился на Вере Петровне Бестужевой, дочери первогильдийного саратовского купца, чем приумножил семейный капитал. В 1902 году был избран гласным городской думы, где слыл либералом. Речи его на заседаниях думы часто попахивали крамолой – самодержавие А.И.Скворцов не признавал и относил себя к левому крылу думы, смыкавшемуся больше со взглядами эсеров.

Вместе с другими видными гражданами (Славиным, Экснером, Араповым и традиционно – женой губернатора) был членом директората Саратовского музыкального училища, а впоследствии – и консерватории.

Приблизительно в 1907 году А.И.Скворцов выстроил прекрасный богатый особняк на пересечении улиц Введенской и Гимназической (ныне Революционной и Первомайской). Добротное двухэтажное строение с красивой облицовкой под светлый кафель, изящно разукрашенное с фасада экзотическими рельефными и барельефными деталями (головой сфинкса и изваяниями птиц), искусно вырезанной массивной дубовой парадной дверью, оно имело неповторимый облик. Под стать внешнему великолепию была богатая внутренняя отделка здания и его меблировка.

Самые высокопоставленные особы города были постоянными гостями Скворцова, радушного хозяина и хлебосола. Между прочим, неоднократно бывал в роскошном особняке и Александр Федорович Керенский, будущий премьер-министр Временного правительства, а тогда еще совсем молодой адвокат, практиковавший в Вольске. Как и многие состоятельные люди в то время, Скворцов держал собственный выезд: наемный конюх, он же кучер, заботливо ухаживал за двумя породистыми лошадьми, помещенными в просторную конюшню при доме (в советские времена ее приспособили под проживание людей). Одна из лошадок использовалась в запряжке, другая была верховой. Как бы поддерживая свою репутацию ценителя прекрасного и большого оригинала, Александр Иванович, оседлав свою любимицу – английскую кобылу Жозефину, – частенько гарцевал на городских улицах под любопытными взглядами знакомых и незнакомых людей. Как свидетельствовали очевидцы, очень любил Александр Иванович пускать кобылу в галоп по Московской улице, обгоняя попутные трамваи (а позже автомобили), чем приводил в восторг наблюдавших сие действо мальчишек и досужих обывателей, а особенно извозчиков. Естественно, революция не принесла Александру Ивановичу ничего хорошего. После разгона Учредительного собрания, а потом и с началом гражданской войны Александр Иванович примкнул к антибольшевистским организациям. Губернская чрезвычайная комиссия уличила бывшего гласного в связях с крупным контрреволюционером Гришиным-Алмазовым, был выписан ордер на арест Скворцова. Однако, предупрежденный, он сумел скрыться.

Летом 1919 года Александр Иванович сел на пароход, отбывавший вниз до Астрахани, надеясь оттуда проникнуть на территорию, контролируемую Белой Армией. Известно, что Губернская ЧК «вычислила» маршрут движения Скворцова, и в Астрахани, прямо на пристани, он был арестован. Вскоре там же он был расстрелян по приговору военно-революционного суда. Перед смертью ему разрешили передать сообщение для семьи.

Судьба легендарной кобылы-красавицы Жозефины осталась неизвестной. Прекрасный особняк Скворцова, занятый другими людьми, долгое время медленно разрушался – сыпалась штукатурка с облицовки, трескались барельефы, ветшали оконные рамы и двери. Но в 1990-х годах дом этот обрел небедного хозяина в лице крупной строительной фирмы «Кардан», благодаря чему здание волшебно преобразилось. Отремонтировано оно внутри, проведены ремонтно-восстановительные работы снаружи. И гордая голова сфинкса по-прежнему украшает угловой фасад.

Скончавшаяся в 1981 году 95-летняя жительница Саратова Магдалина Ивановна Черкасова, хорошо знавшая семью Александра Ивановича, утверждала, что в облике сфинкса запечатлена супруга хозяина дома Вера Петровна Бестужева. О ее судьбе мы не имеем никаких сведений. Известно, однако, что двое сыновей Александра Ивановича еще в 1980-х годах здравствовали и проживали в Москве.

Из прочих групп лошадей, которых тоже можно назвать частными, нам осталось упомянуть о животных в составе цыганских таборов, которые были постоянной приметой жизни старого Саратова, особенно его приволжской части. Каждую весну со стороны Алтынки въезжали в наш город крытые брезентом телеги и брички, запряженные разномастными лошадьми смешанной породы (т.е. беспородными) и наполненные нехитрым кочевым скарбом и шумной оравой смуглых, пестро одетых людей самого разного возраста – от младенцев до замшелых седобородых старцев. Это очередной цыганский табор вставал в Саратове на временный постой. В его составе обычно находилось 40-50 человек и 10-12 лошадей. Располагался он, как правило, на берегу Волги, либо в районе Глебучева оврага, либо за Улешами. Разбивались шатры и палатки, разводились костры. Лошади распрягались, спутывались и бродили по ближнему пространству. Начиналась будничная трудовая цыганская жизнь. Мужчины торговали на Верхнем базаре своими нехитрыми железными поделками и конской сбруей, ездили на Казачью площадь, присматривались там к продаваемым лошадям, выставляли на продажу собственных, бились до хрипоты за нужную цену, вели приватные разговоры с лошадиными барышниками – с надеждой на какую-либо поживу, случалось, воровали оставленную без присмотра лошадку и исчезали с ней из города. Если попадались на краже, то подвергались чаще народному возмездию – избиению с членовредительством.

* * *

Под напором технического прогресса лошадь как хозяйственная, транспортная и военная единица, в основном, потеряла свое значение. Примерно к 1970-м годам ликвидирован был последний гужевой обоз в Саратове, а цыганские таборы или стали оседлыми, или кочуют на автомобилях. В городских условиях производственное назначение лошадей проявляется в очень незначительном объеме. Существует здесь немногочисленный отряд конной милиции (базирующийся на местном ипподроме) – вот, пожалуй, и все. В сельской же местности лошадь вполне еще востребована – и в личном, и в коллективном хозяйстве. Объясняется это простотой ее содержания, использованием в летнее время подножного корма, необходимостью извоза небольших и нетяжелых грузов, соблюдением экологической безопасности.

Ныне значительное конское поголовье содержится только на ипподроме, что свидетельствует о сохранении значения лошади и неослабевающем интересе к ней в спортивном коневодстве. Ныне на ипподроме 5 конюшен на 198 конемест. Содержатся и испытываются здесь лошади коневодческих хозяйств, а также частных владельцев. Последних год от года становится все больше. При ипподроме есть конно-спортивная школа, для которой выделено 15 лошадей и в которой занимаются 30 ребят.

В небольшом объеме используются в Саратове лошадки для развлекательных целей. Это катание детей на миниатюрных экипажах, запряженных пони, такие мероприятия проводятся в местах большого скопления горожан (площадь перед зданием цирка, площадь на 3-й дачной остановке и т.д.). Есть также в некоторых зеленых зонах (городской парк, например) временные пункты проката верховых лошадей, а также проката в экзотических экипажах. Но все это находится в руках немногих частных предпринимателей, и стабильным явлением в городе это не назовешь.

Ну и конечно, небольшая конюшня функционирует при саратовском цирке, где размещаются и содержатся участники конных цирковых представлений, которые имеют место почти в каждой программе.

Иван СОЛОВЬЕВ

Большевики ушли? Стратегия интеллигенции. 1918-1919 годы.

Летом 2008 года, готовя сообщение по историографии гражданской войны, я пришел к следующему заключению. Большинство авторов не дает оценку, не делает анализа событий. Работы описывают события почти столетней давности, причем факты, приводимые в книгах, могут быть сами по себе захватывающими. В очень интересной по подбору фактов книге «Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году» *(СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006)* автор ее, И. С. Ратьковский, освещает ход событий так: после Октябрьской революции на Украине гайдамаками был замучен брат известного революционера Пятакова, в близкой к Петрограду Финляндии начались расстрелы сочувствующих коммунистам рабочих, после покушения на Ленина и убийства Урицкого был развязан массовый красный террор. ЧК замучило столько-то, а деникинско-колчаковская контрразведка – столько-то. Число жертв аккуратно сведено в таблицы. Террор порождает террор. Без анализа и оценки это превращается в рок российской истории.

Некоторые авторы не удовлетворяются концепцией фатума, рока. По их мнению, власть комиссаров победила, потому что их поддерживала основная часть населения страны. Это старое заключение советской историографии на сегодняшний день прописано и в школьных учебниках.

Здесь тесно переплелись между собой два мифа. Первое: победить можно, только опираясь на большинство населения. Второе: большая часть населения поддержала красных.

Сейчас для всех ясно, какую роль играют в жизни экономики деньги. Это кровь хозяйства. Пришедшие к власти в 1917 году люди так не думали и решали эту проблему по-особенному. Большой интерес представляют воспоминания работника Государственного банка С. Евгеньева с характерным названием: «Строители земного рая. Из недавнего прошлого» *(«Архив русской революции Издаваемый И. В. Гессеном». – М.: Терра – Политиздат, 1991-1993 гг. В 22-х тт. (далее ссылка на это издание будет даваться: АРР, с указанием тома и страницы). Т. 20.)*. При победе большевиков банк был переименован в Народный банк РСФСР.

Евгеньев работал в главной конторе на Неглинной при трех начальниках-комиссарах. Первый был Попов, которого автор характеризует как человека честного, но в жизни «сильного чудака». У главного управляющего советским банком не было никаких идей по поводу работы вверенного ему учреждения и никаких специальных знаний. Попов ждал победы мировой революции в 1919 году и не считал свою деятельность банкира важной. Когда наступал Юденич, деньги были отправлены в Казань. Он долго медлил с возвращением их назад. В итоге они достались чехам. Историк Готье в своих воспоминаниях считал, что после потерянных 657 миллионов в Казани и отданных по Брестскому договору 200 миллионов немцам «у большевиков вряд ли осталось более 300 миллионов». *(Ю. В. Готье. Мои заметки. – М.: Терра, 1997. С.181)*.

Финансовые и экономические взгляды большевиков разъяснил работникам банка сам нарком финансов Крестинский, о чем в своих воспоминаниях пишет Евгеньев. «Крестинский начал развивать передо мной теорию социалистического производства и распределения с полным уничтожением всяких денежных знаков как несовместимых с новым социалистическим строем вследствие присущего им классового характера. Ввиду этого деньги будут уничтожены и заменены новым измерителем денежных благ. Таким измерителем является труд, слагающийся из оп-

Иван СОЛОВЬЕВ – саратовский историк, предприниматель, участник междисциплинарного научного семинара «Пространственно-магистические аспекты культуры» при Саратовском государственном университете (см. «Волга», №3, 2008. С.202).

ределенного количества трудочасов и создающий в конечном результате ту или иную ценность. Поэтому нет никакого основания тревожиться по поводу быстрого обесценивания денег, так как к тому времени, как деньги совершенно перестанут приниматься в обмен на реальные блага, советское правительство сумеет окончательно организовать производство и распределение. Чтобы облегчить эту задачу, правительство по предложению его Крестинского намерено в ближайшем будущем объявить беспощадную войну частной торговле и целиком принять на себя задачу о полном содержании трудящихся» *(Евгеньев. Указ.соч. С.31)*.

«Я отчетливо понимал, пишет Евгеньев, – что нахожусь среди ненормальных людей и что применение этой теории в жизнь принесет много страданий». Следующей главой Центробанка был Пятаков, затерроризировавший своим хамством за 2 месяца своего руководства весь персонал. Пятаков не так глубоко проникся идеей бесполезности денег. Видя их обесценивание, хотел заменить их железными монетами. С этой целью большое количество железных вывесок уже снималось по всей Москве и отвозилось в специальное помещение на хранение. Происходило это до тех пор, пока грамотные люди не объяснили Пятакову, что производств этих денег будет дороже их самих.

Третьим по счету комиссаром был Фюрстенберг-Ганецкий. Одна из самых загадочных фигур Октябрьской революции. В 1917 году, мы помним, газеты вышли с заголовками: «Ленин, Ганецкий и К° – германские шпионы». Ганецкому партия дала задание искать деньги на мировую революцию. Как известно, содержание банковских сейфов, в которых напуганные революцией люди держали свои драгоценности, был объявлено национальным достоянием и национализировано. Два банковских работника Познер и Гоц в специальной комнате выковыривали драгоценные камни из оправ. Затем к Ганецкому приходили люди, и им передавались драгоценные камни. Эти люди уезжали за границу и меняли камни на валюту, которая нужна была большевикам в борьбе с мировой буржуазией. Естественно, с деньгами назад, в голодную Москву, возвращались далеко не все.

Под руководством этих деятелей банки и финансовая система, переживавшие и без того не лучшие времена, окончательно дрогнули. Московский обыватель Окунев фиксирует в своем дневнике от 8 ноября 1917 года: «На улицах расклеен указ военно-революционного комитета о свободной выдаче в банках без ограничений сумм по чекам только на выдачу жалования служащим и рабочим, а также воинским частям, все же прочие ограничиваются ста пятьюдесятью рублями в неделю. Такая чепуха свидетельствует о полном убожестве новоявленных администраторов» *(Окунев Н.П. Дневник москвича. 1917 –1920. В 2-х тт. – М.: Военное издательство, 1997. Т.1. С.109)*.

На Неглинной за получением денег выстроились гигантские очереди. Люди стояли несколько дней, часто возникали скандалы и драки. И только выстрелы охраны в воздух остужали толпу. Печатный станок работал не переставая, но денег не хватало. «Сами государственные учреждения устраивали форменные налеты на банк, забирая всю кассовую наличность. А особую энергию проявил в этом московский Совдеп, отправлявший вооруженные отряды глубокой ночью... Вооруженные матросы, угрожая немедленным расстрелом, забирали мешки с деньгами и оставляли расписки на клочках бумаги, скрываясь до следующего налета» *(Евгеньев. Указ. соч. С. 298)*.

Особое пространство для коррупции создавал декрет, национализировавший содержание банковских ячеек. В провинции эта процедура прошла довольно быстро. Алексис Бабин в своем дневнике от 7 декабря 1918 года сообщает: «Моя хозяйка присутствовала при составлении описи ее собственного сейфа. Ей удалось в продолжение этой процедуры стащить свои собственные золотые часы» *(Дневник гражданской войны. Алексис Бабин в Саратове. – «Волга», 1989 , №5. С. 117)*.

Совсем другое дело в столице – Москве. Здесь народу было побольше и сам он побогаче. В декрете о национализации ячеек говорилось, что если содержание ячейки меньше какой-то суммы, то владелец может получить содержание ячейки назад. «Секретариат банка оказался завален прошениями на выдачу семейных реликвий. Тяжелые, мучительные сцены разыгрывались в секретариате. Разоренные, запуганные люди с раннего утра наполняли громадную приемную, справляясь о судьбе поданных ими прошений. Однако прошений было слишком много, а рассмотрение

их происходило слишком медленно. Несчастные люди унижались и плакали, совали служащим взятки, что вызывало постоянные недоразумения, и, наконец, молча уходили, чтобы явиться на другой день» *(Евгеньев. Указ. соч. С.305)*.

Ганецкий, который к этому времени возглавлял банк, простых просителей не принимал, зато отношение к просьбам больших людей было совершенно иное. Если посетитель предоставлял письмо от Каменева, Зиновьева, Луначарского, Горького и других функционеров, содержание ячейки ему выдавалось без оценки стоимости. Постепенно это стало достоянием общественности и превратилось в неплохой бизнес. Люди были готовы отдать часть содержания собственной ячейки, чтобы хоть чего-нибудь себе вернуть. Особенно много ходатайств было от Луначарского. «Этот сообразительный и толковый комиссар, – пишет Евгеньев, – вечно нуждающийся в деньгах, широко использовал свое комиссарское звание для извлечения буржуазных ценностей. Он действовал, конечно, не сам, а через своего брата, московского присяжного поверенного – личность довольно темную и бездарную. Этот милый братец являлся своего рода посредником между буржуем и сановным братцем».

Банковско-финансовые мероприятия уничтожили накопления городского населения, сильно ударили по его благополучию. Однако даже те «продвинутые», кто успел вынуть свои деньги из банков, не могли быть спокойны. Их сбережения могли быть конфискованы по закону. Их съедала инфляция.

Новые страдания и испытания несла городским обывателям хлебная монополия с запретом торговли. Идея нормирования продовольствия и более широкого спектра товаров была получена большевиками не только из классики марксизма. Она оказалась апробированной германской военной экономикой времен Первой мировой войны. Не только большевикам, но и многим современникам казалось, что распределительная экономика Германии работает эффективно. Правда, принципиальную разницу в организации России и Германии современники чувствовали довольно хорошо. Пришвин точно подмечал в дневнике 1920 года: «Организация держала германский народ – насилие держало российский». Побывав в Берлине в конце 1917 года, известный евразиец Н. Н. Алексеев первоначально был удивлен, когда в ресторане ему без карточки не дали мясо, а в кофейне отказались выдать второе пирожное, которое по германским законам было сверх нормы. Однако уже через несколько дней Алексеев понял, что в действительности все не так, как на самом на деле: «Я дал сто марок почтальону и через два дня получил из Бранденбурга по почте пакет с маслом. По спекулятивным ценам и обходным путем можно было достать все. Германия, оказывается, жила двойной жизнью, – одна тощая жизнь военного социализма, другая – сытая жизнь спекуляции. Через неделю-другую я был уже своим человеком в Берлине. Я знал, в какой ресторан нужно зайти и за какой стол сесть, чтобы в любое время без всяких карточек съесть сколько угодно мяса и хлеба. Война и военный социализм разложили быт Германии. Обход закона и тайная торговля стали обычными явлениями» *(Алексеев Н. Н. Из воспоминаний.– АРР. Т. 17. С.177)*.

Запретив торговлю и продолжив ужесточение хлебной монополии, власть вела население к тяжелым испытаниям. Нужно заметить, что хлебная монополия существовала еще во времена Временного правительства. Но у Временного правительства была налаженная под это структура – кооперативное движение. С помощью кооперации Временному правительству за 7-8 месяцев своего существования удалось заготовить в 1917 году 360 миллионов пудов зерна. За предыдущие 8 месяцев царское правительство заготовило всего на 5 миллионов пудов больше *(Давыдов А. Ю. Нелегальное снабжение российского населения продовольствием и власть. 1917–1921. Мешочники. – М.: Наука, 2002. С.18)*. Известный российский экономист Кондратьев в своем труде «Рынок хлебов» указывал, что реально большевистское правительство могло распределить около трети необходимого населению хлеба *(Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. – М.: Наука, 1991)*.

Благодаря этим действиям властей, цены на хлеб стали быстро расти уже в 1917 году. Даже в хлебопроизводящей Саратовской губернии положение с продовольствием становилось опасным. Алексис Бабин в своем дневнике скрупулезно фиксирует увеличение очередей у хлебных магазинов

в ноябре 1917 года. К концу декабря положение стало критическим. «31 декабря 1917 года. Утром я прочел большевистскую листовку на заборе относительно намечаемых обысков частных домов города с целью изъятия сокрытых от властей запасов продовольствия. Обыск будет производиться строго по разработанному плану между 9 часами утра и 5 часами вечера» *(Указ. соч. С. 120)*.

Еще хуже была ситуация в Москве. Норма потребления хлеба по карточкам сократилась до одной четверти фунта. Георгий Соломон в своих мемуарах «Моя жизнь среди красных вождей», живущий в это время в гостинице «Метрополь», где проживала в это время средняя большевистская номенклатура, пишет: «Надо отметить, что «Метрополь» был в сферах, не знаю почему, не в фаворе, и потому пайки там были слабы, значительно хуже, чем, например, в Первом доме Советов, где и пайки были обильнее, и обеды гораздо лучше... Все пайки были крайне нерегулярны. Например хлеб. Каждому полагалось в соответствии с разрядом определенное количество хлеба в день (от четверти фунта до фунта), правда, плохого, ржаного хлеба, недопеченного и со всякими примесями: соломы, щепки, песка. Но часто проходили дни и недели, а хлеба не давали. Жители «Метрополя» голодали, волновались и, наконец, обращались к спекулянтам на Сухаревку, Охотный ряд» *(Г. Соломон. Среди красных вождей. – М.: Современник – Росинформ, 1995. С. 142)*.

Возникла парадоксальная, но характерная для Советского государства ситуация: населению было запрещено заниматься самообеспечением, его обмен вещей на продовольствие назывался спекуляцией, что грозило серьезными неприятностями, а государство обеспечить население не могло, хотя и декларировало это. Но желание выжить брало свое, и, несмотря на запрет, население несло свои оставшиеся пожитки на черный рынок, меняя на продовольствие. Причем с рынка питались все, включая комиссаров и чекистов, которые сами его запрещали и разгоняли. В народе шутили: «Национализация торговли означает, что вся нация торгует».

Даже железные люди старой закалки, такие, как сама баронесса Врангель, мать черного барона, вынуждена была заниматься торговлей, в советской транскрипции – спекуляцией. Баронесса под своей фамилией работала в большевистском Питере в городском музее Аничковом дворце и ходила в солдатских мужских сапогах. «Я променяла их как-то за клочок старого солдатского сукна в два с половиной аршина. Такими гешефтами все тогда занимались. Сперва как-то было стыдно, а потом так привыкли, будто всю жизнь это и делали» *(Врангель М. Д. Моя жизнь в коммунистическом раю. – APP. Т.3. С.200)*.

Голод был тяжелой, но не последней проблемой, организованной новой властью городскому обывателю. Болезненным и унизительным являлось, как это названо в «Собачьем сердце», уплотнение. «Появился жесткий декрет, регламентирующий выселение из квартир, – писал Готье в своем дневнике от 13 сентября 1918 года, имея в виду постановление Моссовета о порядке реквизиции жилых помещений и движению имущества. – Это не что иное, как обставленный правилами грабеж». Московский обыватель Окунев сообщает: «Теперь в редком доме нет вселения и выселения. То было бессистемно, теперь жилищные комиссии производят это по всем правилам искусства: разбили квартирующих на шесть категорий, подразделяемых на параграфы, причем шестая категория литер Б имеет в виду: буржуа, ликвидирующих свои дела и живущих спрятанными капиталами. У них отбирают все и выдается походный паек: пара белья, подушка, одеяло – то есть, что полагается красноармейцу, уезжающему на фронт» *(Указ. соч. С.216-217)*.

Помещения требовались не только беднякам, вселяющимся в дома богачей, но и массе вновь образованных учреждений. Киевский юрист Гольденвейзер писал в своих воспоминаниях: «Учреждения растут как грибы, плодятся и размножаются. Все организуется, реорганизуется и вновь организуется: для всего нужны новые и новые помещения. Из Харькова вскоре после занятия Киева большевиками должен быть переселен новый Совнарком и иже с ним: по этому поводу в Киев были присланы квартирьеры с поручением реквизировать, кажется, три тысячи комнат» *(Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний. – APP. Т.6. С. 237)*. Тот же Гольденвейзер рассказывает нам, как все это происходило. «Огромный дом, в котором мы жили, оказался первой жертвой комиссии по стратегическому переселению буржуазии. Эта комиссия и руководящие ей стратегические соображения были каким-то вопиющим издевательством над здравым смыслом. Во

главе ее стоял восемнадцатилетний стратег Шейнин. Через несколько дней наш домовой комитет получил приказ о выселении. Приказ гласил, что жильцы первых трех этажей должны в течение 24 часов оставить свои квартиры. Взять с собой разрешалось по две смены белья на каждого члена семьи, по одной ложке, вилке и ножу, все остальное было предписано оставить в квартирах».

Массовая кампания уплотнения захлестнула всю страну. Под ее развитие кто-то решал свои жилищные проблемы. Интересны воспоминания Соломона о жизни в большевистском общежитии «Метрополь». «Конечно, всякие возлюбленные начальства (соткомы) и лица, живущие в «Метрополе» по протекции, были хорошо забронированы и их не могли касаться». Однако старого чиновника бывшего министерства торговли и промышленности С. Г. Горчакова, оставшегося на советской службе, жившего в «Метрополе» с женой, замужней дочерью и ее ребенком, отправили прямо на улицу. Не спасло Горчакова и то, что оба его сына были в Красной Армии, а один получил даже орден Боевого Красного Знамени. Даже личное заступничество высокого большевика Красина не спасло. Как любая большевистская кампания, уплотнение тоже было доведено до кошмарного абсурда, который местами переходил в гротеск. Работник военного комиссариата в Петрограде М. Смильг-Бенарио повествует, как председатель Охтинского совета начал борьбу за большое старинное здание, построенное еще Екатериной. Председатель совета был одновременно и военным комиссаром и решил забрать помещение под казарму для мобилизующихся красноармейцев. Здание, за которое велась борьба, с екатерининских времен было больницей, и с екатерининских времен это была больница для умалишенных *(Смильг-Бенарио. На советской службе. – АРР. Т.3. С. 154-155)*.

Апогея компания достигла в ноябре 1918 года, что констатировала сама большевистская газета «Известия»: «Переселяет комиссия по несколько раз всех, кто так или иначе попадает к ней в руки, при этом не разбирают: под один ранжир подгоняют буржуазию и советских работников, ответственных и безответственных, рабочих и коммунистов. Переселяют, выселяют и уплотняют абсолютно всех без разбора».

Дворников в ревизуемых домах не было. Всю работу во дворах и на улицах по очистке, сгребанию снега, грязи и мусора должны были производить интеллигенты, в советской транскрипции – буржуи. В порядке трудовой повинности направляли на работу по разгрузке и перегрузке вагонов, на рытье окопов, на рубку дров в лес. С распространением эпидемии холеры и тифа городские обыватели должны были рыть для умерших могилы.

Окунев в дневнике от 13/26 июля 1918 года широко цитирует газету «Правда», которая громит буржуазного сынка: «Ты воспитан и вскормлен чужим трудом, ты благодаря преступлениям своего отца вырос в довольстве и неге, ты хочешь продолжать преступный путь своих предков, поэтому ты враг рабочих и крестьян, которые хотят уничтожить всякое порабощение и всякую нужду. Я тебе не могу доверить винтовку, но я тебя использую как рабочую силу. Я поэтому призываю своим декретом от 20 июля тебя в тыловое ополчение для черной работы под присмотром тех, у кого в руках есть винтовка. Вот тебе лопата, вот щетка, а если ты уклонишься от ополченской службы, я тебя разыщу и предам суду трибунала, который будет тебя судить как изменника, а имущество твое и твоих родных я конфискую и употреблю в обеспечение семей красноармейцев» *(Указ. соч. С.205)*.

Смильг-Бенарио, работник Центральной комиссии в Петрограде, рисует широкую картину деятельности трудовой комиссии. Интересен его рассказ, как командующий 6-ой армией Гитис потребовал прислать на нужды северного фронта в Вологду партию рабочих на рытье окопов и строительство блиндажей в количестве 500 человек. Председатель Петроградского Совета Зиновьев рекомендовал в случае нехватки рабочих арестовывать на Невском буржуев и присылать на работу в Вологду. Автор повествует о широких злоупотреблениях и взяточничестве в руководстве комиссии. «Удручающее впечатление производили на меня председатели районных комиссий. Это были в большинстве грубые, жестокие, невежественные люди, которые не умели как следует хотя бы подписать свое имя, и некоторые не имели, конечно, никакого понятия, как организовать все дело. В особенности вспоминается мне личность председателя Выборгской районной комис-

сии товарищ Абрамов. Этот товарищ Абрамов имел лицо типичного алкоголика и преступника. Впоследствии Абрамов был назначен председателем Центральной трудовой комиссии. По-видимому, сам Зиновьев считал, что такого сорта деятельность годится лишь преступникам» *(Указ. соч. – АРР.Т.3. С.166)*.

Даже не касаясь проблемы красного террора, понятно, что городское население не могло уверовать в грядущий коммунизм и серьезно боялось умереть с голоду, не дождавшись победы мировой революции.

Рабочий класс в 1919 году фактически перестал существовать. Чтобы не умереть с голоду, подавляющая его часть воевала на фронтах гражданской войны или ушла в деревню, с которой не прерывала своих отношений. Наиболее активная часть занялась мешочничеством, спекуляцией или кормилась каким-нибудь ремеслом.

Дикая экономическая и политическая линия новых властей вызывала у городской интеллигенции отвращение и ужас и гигантское неверие, что власть с такой политикой может долго продержаться. Все мемуары полны разговоров о сроках крушения нового режима. Но время шло. Домашние вещи, которые можно было поменять на продукты, таяли. Необходимо было что-нибудь предпринять.

Каковы были возможные стратегии городской интеллигенции в этот момент?

– уехать за границу, эмигрировать. Этим путем пошла верхушка интеллигенции с деньгами и связями.

– попытаться сыграть в орлянку с судьбой и стать торгашом-мешочником. Но частная торговля была запрещена, продовольствие конфисковывалось в дороге, опасность в разы превышала выгоду.

– стать ремесленником и продавать результаты своего физического труда: складывать печки, чинить башмаки, ремонтировать одежду и т.д. На это способен был далеко не каждый. В своих воспоминаниях работник провинциальной кооперации Д. И. Нацкий из Маленькой Лебедяни рассказывает: «Мы решили поставить железную печку (чугунную купить было нельзя). Эту печку нам поставил слесарь Угумнов. До революции он имел в Лебедяни скобяную лавку. Некоторое время он служил в райпотребсоюзе, но потом его уволили как бывшего торговца. Когда я пришел к нему заказать печку, Угумнов спросил меня, сколько я получаю жалованья. Услышав мой ответ, он сказал: «А я этим молоточком много больше заработаю». Дело было в 1919 году, и Нацкий работал совслужащим *(Нацкий Д. И. Мой жизненный путь. – М.: Издательство государственной публичной исторической библиотеки России, 2004)*.

– был героический путь: встать на борьбу с новым режимом вооруженным путем. Лишь небольшая часть интеллигенции пошла на это. Это был героический поступок: нужно было бежать на юг, на Дон, где был основной очаг сопротивления. Подавляющее большинство было на это неспособно и приняло участие в забастовке служащих, бойкотирующих захват власти большевиками. Продержалась забастовка несколько недель. Причем в феврале 1918 года Готье сообщает по поводу этих событий в своем дневнике: «Вчера я узнал из нескольких источников, так что сомнений не остается никаких, что из полутора миллионов пожертвований, которыми располагал стачечный комитет городских служащих, один миллион был украден» *(Указ. соч. С.115)*.

Еще любопытнее обстояло дело в провинции, в Саратове, где из солидарности со столичными служащими библиотека не работала один день, а университет два дня. Эти события фиксирует в своем саратовском дневнике Алексис Бабин: «1 декабря 1917 года утром я обнаружил двери заведения, где обычно давал уроки английского языка, закрытыми. Пришедший на мой звонок швейцар объявил, что вчера вечером директор отдал приказ не пускать никого в связи с однодневной забастовкой сотрудников всех общественных учреждений, проводимой в знак протеста против своеволия большевиков и по отношению к государственному самоуправлению и местной печати... Из школы я пошел в университетскую библиотеку, где намеревался скоротать утро, но и она была закрыта. На доске объявлений висело послание, подписанное ректором. В нем он сообщал, что понимает чувства студентов, объявивших забастовку и со своей стороны поддерживает их своим

приказом приостановить занятия на один день». Бабин рассуждает и недоумевает: «Русская склонность отвечать на любое угнетение и проявление бесчеловечности отказом работать, по-моему, сродни русской неспособности сделать чего-либо для избавления от несправедливости».

2 января 1918 года ситуация американцу ясна, и он выносит свой приговор: «Триста тысяч саратовцев находятся в полной власти трех или четырех тысяч вооруженных негодяев. Наша так называемая интеллигенция ни на что не способна. Ее мысли, сила духа столь же немощны, как и мускулы. Нельзя надеяться, что она окажет сопротивление» *(Указ. соч. С.121)*.

Все описанные стратегии требовали от человека поступка, на который он не был способен. Оставалось последнее: идти на службу к власти, которую боялись за ее жестокость, ненавидели за ее несправедливость, презирали за ее некомпетентность. Специалисты всегда продавали свой труд, но после 1917 года разница стала принципиальной. Раньше можно было продавать свой труд богатым людям. Теперь капризность работодателя объяснялась тем, что он был единственным на рынке. Этим работодателем было советское государство.

Окунев в своих дневниках фиксирует массовое возвращение служащих на работу мартом 1918 года. «Городские и банковские служащие становятся на работы. На саботаж средств нет» *(Указ. соч. С.163)*.

Любопытны воспоминания Владимира Борисовича Лопухина, до 1917 года камергера и действительного статского советника, кавалера многих орденов, директора департамента общих дел МИДа.

В октябре 1917 года Владимир Борисович отверг предложение Троцкого остаться в МИДе. До убийства Урицкого Лопухин пытался заняться коммерцией. Большинство не уехавших высокопоставленных бюрократов после октября 1917 пытались, используя свои связи в России за границей организовать, как бы их сейчас назвали, консалтинговые фирмы в надежде на посредническую деятельность между оставшимися в первые месяцы после переворота предпринимателями, советским правительством и иностранными капиталистами. Сам Лопухин получал зарплату в московском обществе «Экрос», организованном его московскими родственниками, где он работал в качестве экономического консультанта. В Питере он организовал собственную фирму «Гермес» с покупкой статуи одноименного божества и арендой помещения. Обстановка была еще не совсем ясной, и некоторые бывшие, не потерявшие деньги в банковских вкладах, финансировали предприятие. «Так, один только инженер Чуев, разбогатевший на крупных подрядах, упираясь и не видя для себя никакого интереса, не веря в успех дела предприятия, уступая настояниям входивших в общество бюрократов, рассудив, что кто знает, может еще пригодится, отвалил паевых пять тысяч рублей» *(Лопухин В. Б. После 25 октября. // Минувшее. Т. 1. – М.: Прогресс – Феникс, 1990. С. 61)*. Все эти предприятия, возникшие в Москве и Питере, после убийства Урицкого подверглись красному террору. После разгрома дутых консалтинговых фирм Лопухин задумался о будущем. Иллюзий не было: социально-экономическую ситуацию он обрисовал точно: «Прежде кроме правительства работу давали богатые люди. Теперь их не стало. Предложение работы сосредоточилось в руках одного правительства. К нему только осталось обращаться всем ищущим труда, за исключением лишь работающих на определенную клиентуру специалистов, занимающихся либеральными профессиями» *(Там же)*.

В это время в Петрограде начались вспышки холеры. За две недели декады июля 1918 года в больницы города поступило 6228 больных холерой. Постановление о мобилизации буржуев на рытье могил и захоронение трупов было опубликовано 14 июля. Лопухин решил не рисковать. В эти дни он встретил на улице своего старого знакомого, бывшего старшего делопроизводителя Министерства иностранных дел Андрея Владимировича Сабанина, который прозрел раньше Лопухина. «Довольно покобенились и поголодали. Пора приниматься за дело. Но работать как следует можно только по специальности. Предложу свои услуги наркоминделу». Через несколько лет Лопухин устроился через своего школьного приятеля Бонди к бывшему генералу Апушкину, ставшему при большевиках управляющим делами железнодорожной продовольственной организации помощником управляющего.

Сущность новой власти в динамике ее развития показал юрист Гольденвейзер в вышеупомянутых киевских воспоминаниях. Большевики устанавливали свою власть в Киеве четыре раза. Первый период – захват власти большевиками в 1918 году – он называет «романтическим периодом молодости». Это был жестокий, но яркий спектакль с расстрелом офицеров, притеснением местного населения, революционными песнями и яркими, зажигательными речами. Сейчас бы это назвали революционным драйвом. Второй период – до захвата города деникинцами в 1919 году – Гольденвейзер называет «временем зрелости» новой власти. «Пребывание советской власти в Киеве в 1919 году совпадает с эпохой ее полного расцвета. Размах строительства был у нее еще неудержимо широк. Никакие досадные сомнения в осуществлении затеянных нововведений еще не появились. И большевики строили и строили. Строили они учреждения. Ничего иного они и тогда не были в силах создать. Но учреждения создавались поистине без удержа» *(Указ. соч. С.247)*. Третий период – после ухода добровольцев в 20-ом году – автор называет «большевистскими буднями». «С первых же дней прихода большевиков в конце 1919 года было видно, что они полиняли и выдохлись. Исчезло увлечение юности и энергия зрелого возраста. Наступила усталость». Очевидно, что к 20-ому году то благосостояние, которое было накоплено обществом до 1917 года, закончилось. Все было разрушено, уничтожено, проедено. «Советские учреждения обрели свой характерный облик – собрание недоедающих и озябших людей с подавленной волей, в апатии и праздности. Наступившая зима наложила этот видимый отпечаток на внешность советских канцелярий. Эти полупустые комнаты с железными печками, эти люди, сидящие за своими столами в пальто, платках и перчатках, эта наносимая с улицы грязь – все это сливалось в картину необычайно стильную, но бесконечно унылую. Поржала после прежней расточительности скудость во всем – в бумаге, в мебели, в перьях, в пишущих машинках. Почти в каждой комнате торжественно разрезался и делился между присутствующими дурной черный хлеб – пресловутый паек – символ советского существования» *(Указ. соч. С. 275)*.

Гольденвейзер пишет, что большинство интеллигенции пошло на службу к советской власти в периоде зрелости. В большом фаворе у коммунистов была просветительная часть. Каждое уважающее себя учреждение имело или «культпросвет», или «агитпросвет» отдел. Сюда и метнулась, выражаясь современной терминологией, интеллигенция. Наиболее богатым было военное ведомство. «Народный комиссариат по военным делам, окружной военный комиссариат, губернский военный комиссариат – все имели свои просветительские школы, читальни, кинематографы и клубы» *(Указ. соч. С.247)*.

Сам автор на короткое время устроился в юридическое отделение Киевского совнархоза, где к тому моменту было уже пять юристов. «В юридических отделах бюрократическая экспансия, составляющая неизбежный атрибут социалистического хозяйства, выкристаллизовалась особенно явно и особенно явно доходила до полного абсурда. Раз все советские учреждения главным образом обслуживали своих служащих, то их юридические отделы, естественно, должны были заниматься главным образом оказанием тем же служащим юридической помощи. Наш юридический отдел и был бесплатным консультационным бюро для сотрудников совнархоза» *(Указ. соч. С. 243)*. Отсиживать полагалось сначала 7, а затем, после введения военного положения, 8 часов. «При полной невозможности заполнить это время, мы, как гимназисты, читали принесенные из дома книги. Мы скоро усвоили себе чиновничью психологию, защищали свои штаты и ставки и не жаловались на отсутствие работы» *(Там же)*.

Нарком внешней торговли Георгий Соломон в своих воспоминаниях рисует эффективность работы наркоматов в самой Москве при решении общественных государственных вопросов даже при поддержке решения этих вопросов бюрократами высокого уровня. Военному ведомству было необходимо огромное количество лент для пишущих машинок. Составленные сметы для закупки этого товара за границей были огромны. Проконсультировавшись с инженерами-специалистами, Соломон посчитал, что изготовление лент для всей России возможно почти домашним способом. Через несколько дней инженеры показали готовый образец. Стоивший всего 67 рублей. Для изготовления требовалось около трех пудов льняной пряжи, около 10 пудов краски и несколько сот

пудов бумажной макулатуры. Наркомвнешнеторг Соломона не имел права производить товары, но он, заручившись поддержкой Чрезвычайной комиссии по поддержке армии, во главе которой стоял Рыков, получил разрешение на производство опытной партии лент. Чтобы получить необходимый материал, нужно было обратиться в ряд ведомств. Всего, пишет автор, их было около 80. Льняную пряжу можно было получить в Главльне, бумагу – в Главбумаге, краску – в Главкраске; нужны были и другие ингредиенты, рассыпанные в небольшом количестве в других ведомствах. Для получения льна Соломон обратился в Главлен, где начальником сидел старый большевик Ногин. После созвона и «перетирания» вопроса было согласовано решение, что Ногин наложит положительную резолюцию на просьбу Наркомвнешнеторга. Был послан инженер в Главлен с соответствующей бумагой. Инженер вернулся через 4 дня и сообщил, что поручение он не выполнил. Несмотря на то, что Ногин подписал бумагу немедленно, три инстанции под ним требовали дополнительных документов, а четвертая инстанция, та, от которой непосредственно зависела выдача просимого льна, не нашла оснований, на которых Главвнешнеторг может получить лен. Кроме того, четвертая инстанция заявила о своем несогласии с технической экспертизой в связи с тем, что ленты надо ткать в несколько раз шире, а потом в бобинах разрезать на ширину, требуемую машинкой. Инженер возражал, что резаная лента, пройдя один раз через машинку, будет в ней застревать. Соломон опять звонит Ногину. Тот недоумевает: ведь он же поставил разрешающую резолюцию, обещает «наскипидарить» работников, чтобы дело двинулось. Ободренный его уверениями, Соломон просит инженера одновременно двигать дело в Главкраске и Главбумаге. Через несколько дней Главвнешнеторг получает входящую от Главльна с отказом на получение льна, подписанную Ногиным. «Не может быть! – кричит Ногин в трубку. – Это значит, что они мне подсунули, я и подписал. Эти сволочи просто не хотят, чтобы вы исполнили работу». Одновременно Главвнешнеторг вел оживленную переписку с Главбумагой и Главкраской. «Около двух месяцев прошло, а я так ничего и не добился, – пишет Соломон. – Впрочем, нет, добился: через два месяца после начала этого дела мой инженер неожиданно по доносу Главбумаги был арестован по обвинению в намерении спекулировать макулатурой... Пришлось хлопотать о вызволении его» *(Указ. соч. С.214)*. А между тем, по рассказам инженера, огромное количество макулатуры гнило под дождем и разъедалось грязью во дворе Главбумаги.

Анатомию работы советского учреждения – Главка, сложившегося сразу после прихода к власти большевиков, в 19-20 гг. описал Рапопорт, полтора года работавший управляющим отделом в Главном лесном комитете. Здесь циркулировали сметы и отчеты на миллиарды рублей. В ведении управления состояли все предприятия по механической, а также кустарной обработке дерева по всей России, включая Украину, Сибирь и Кавказ. Общее число предприятий Рапопорт определил около 2000. «Еще более гадательным, как пишет автор, являлось число рабочих на этих предприятиях. В отчетах фигурировали цифры от 44 000 до 200000 работников. В 1919 году общий отчет по промышленности в Совнаркоме делал Ларин. Он обратился в Главк, чтобы ему предоставили сведения по следующим пунктам: число заводов, работающих и неработающих, число рабочих и служащих, количество потребленного сырья и технических материалов, количество выработанных лесных материалов, истрачены суммы денег. В качестве премии на каждого участника обещали два фунта сахара и четверть чая. В статистико-экономическом отделе Главлескома нашли сведения только с 5 заводов. В толстых делах управления также ничего не нашли. Отчет был составлен «логическим путем». Взяли приблизительное количество заводов, интуитивно определили число работающих станков, путем умножения на 25 – число рабочих, и таким же «гениально» простым путем получили все нужные цифры. Главку подчинялись Гублескомы и Гублесы в губернских городах, уездлескомы в уездных городах. На местах, как меланхолично пишет автор, было еще лучше, чем в центре. Так, Владимирский Гублеском присылал в Москву отчеты. Когда появились сомнения в их даже приблизительной правильности, то при проверке за 1920 год оказалось, что подавались сведения с предприятий за 1916 год, причем предприятий давно сгоревших.

Руководство Главка имело весьма смутное представление о работе отрасли. Когда в 1920 году выяснилось, что потребность в обработке древесины огромная, один из руководителей Главлес-

кома Кабанов решил вопрос просто: «Ну что же, придется приказать построить надлежащее количество заводов». «Надо знать, – пишет Рапопорт, – жалкое стояние существующих заводов, полное отсутствие материалов и технических сил, чтобы вполне оценить эту фразу» *(И. Рапопорт. Полтора года в советском Главке. – APP. Т.2. С. 100)*.

На верху системы управления в главке и н местах стояли проверенные революцией коммунисты. «Для коммунистов не требуется никакого стажа, кроме партийной принадлежности. Во главе Украинского Лескома стоял студент одного из первых курсов медицинского факультета Малюта. До своего нового назначения в короткий срок проваливший лесозаготовительную кампанию на Урале, во главе Гублескомов стояли и стоят слесаря, сплавщики и даже шарманщики – председатель Витебского Гублескома Плющев, вовремя сбежавший с казенными деньгами». *(Указ. соч. С.103)*. В низу советского учреждения стоят канцелярские служащие. Из них довольно большой процент составляют «советские барышни», механически переворачивающие бумаги, ничего в них не понимающие, чрезвычайно голодные и злые от своих мизерных зарплат, постоянно опаздывающие на работу.

Сдавшаяся большевикам интеллигенция пришла в конторы ответственными служащими. Их зарплата мало отличается от зарплат «советских барышень». «Но к двум возможным выходам – умереть с голоду или спекулировать – для высших и средних служащих присоединяется третий – злоупотребление по службе, и по этому пути пошло громадное большинство» *(Там же)*.

Коммунистический режим пытался упразднить личную заинтересованность, связанную с частной собственностью. Но заинтересованность эта неизбежно направляется в нелегальное и часто вредное для самого производства дело. «Нет ни одной сметы, ни одного проекта, ни одной хоть сколько-нибудь существенной бумаги, за которой не скрывался бы чей-нибудь движущий ее частный интерес, не имеющий ничего общего с интересом социалистического производства и обычно ему совершенно противоположный», – решительно пишет Рапопорт. Только непосвященный видит в снегопаде бумаг полную бессмысленность. «Так как каждая бумага рождает целую переписку ряда учреждений, то наблюдатель иногда не сразу может определить, за какой из этой цепи бумажек скрывается личный интерес и в чем он состоит; но стоит вглядеться повнимательней, поговорить с участниками переписки, и вы неизбежно увидите где-либо тот же скрытый двигатель личной выгоды» *(Там же)*.

«Мутки» начинаются с составления годовой сметы завода или целого Гублескома. Главлеском отпускает по смете громадные суммы денег. Дать отчет можно совсем по-разному. Например, доставку можно оформить как за 20 км и за 50. Получается громадная экономия в расходах, о которой центр не может знать. Посылать проверить каждую бумажку, отправляемую из центра в регионы, возможностей нет, и, наконец, когда приезжают проверяющие, «это тоже только люди, которые хотят есть». Формально все в порядке. На расходах по доставке леса на завод имеются расписки крестьян-возчиков в получении денег и продовольствия за возку.

При строительстве или реконструкции регион получает из центра – конечно, не безвозмездно – такое количество материалов, которого хватит на несколько объектов. При правильно организованной работе предприятие может строиться годами, а материалы переходят с казенных складов на нелегальный черный рынок, где их опять покупает отдел снабжения реконструируемого предприятия.

Гублескомы прифронтовой полосы получают приказ сворачиваться при наступлении противника. Слух может оказаться ложным. При эвакуации теряются документы. Гублеском обращается с запросом в Москву о посылке новых пил, топоров, продовольствия, денег.

В области частных подрядов на заготовку дров ничего не делается без взяток. «Берут при подписании договоров, берут за отвод лесных площадей, берут – за выдачу авансов, берут за отпущенное продовольствие и инструменты, берут при приемке дров, берут за подлоги в обмере дров – словом, всех возможностей взять не перечесть» *(Указ соч. С.104)*.

«Взятки дают не только частные лица, но и учреждения: Продросмет не отпустит Главлесу пил, Наркомпрод – продовольствия, Главкожа – кожи без смазки». «Кроме денежных взяток, распространены и подношения натурой. При гигантской дороговизне в столице несколько фунтов масла, мешок муки намного ценнее пачки советских денег».

«Берут и совершают злоупотребления целыми организациями, товариществами, берут и в одиночку. Все отлично понимают друг друга с полуслова и даже без слов; атмосфера взяточничества всецело царит в учреждениях. Соблюдаются правила: не пойман – не вор. Пока служащий не попадется на удочку агента-провокатора или не проворуется уже слишком неловко, ни у кого не возбуждается вопрос: каким образом этот человек, более того – коммунист, получающий максимум 25–30 тысяч в месяц, может тратить сотни тысяч за вечер на вино, карты и тому подобное?» *(Указ соч. С.105)*.

Личный интерес, по мнению Рапопорта, единственный стимул деятельности при советском режиме. «И в коммунистическом хозяйстве единственной живой и организующей силой является индивидуальный интерес. Выбитый из обычного русла, он продолжает течь под почвой и обходится производству во много раз дороже всякой «прибавочной стоимости», давая несравненно меньшие результаты» *(Там же)*.

Подведем итоги.

Социально-экономическая политика, проводимая красной элитой при строительстве советского государства, вела к полному обнищанию массы городской интеллигенции. Интеллигенция не только потеряла свои сбережения в результате национализации частных вкладов, но и вынуждена была менять нажитое имущество, чтобы не умереть с голоду. Она пережила не только физические лишения, связанные с недостатком продовольствия, ее уплотняли, гнали на рытье окопов, заставляли копать холерные могилы. Красный террор тоже не добавлял любви городским обывателям к Совдепии. Строительство новых памятников Марксу, Марату и Разину не могло компенсировать бессмысленную государственную конфискацию частных библиотек и полное уничтожение свободы прессы. Такую власть боялись и ненавидели. Но ресурсов борьбы с ней не было. Интеллигенция оказалась беспомощной и совершенно импотентной в отстаивании своих собственных интересов. Придя на службу в советские учреждения, советские специалисты находились под властью и контролем профессиональных, но неграмотных революционеров. Они должны были демонстрировать не только лояльность, но и пламенную любовь к новому режиму. Это вызывало не только ненависть, но и презрение, что отчетливо видно по воспоминаниям. Отдавая должное безбашенному большевистскому драйву, его бесшабашности, они удивлялись утопизму, глупости и непрофессионализму деятельности новых руководителей.

Николо Макиавелли в «Государе» утверждал, что любая власть держится на насилии и авторитете. Один из интереснейших современных социологов и экономистов, близкий к Валлерстайну, итальянец Джованни Арриги вернулся к идеям Макиавелли. Изучая экономику Сицилии, Арриги назвал все пространство между насилием и авторитетом серым пространством, то есть пространством коррупции. По мнению Арриги, чем больше разведен авторитет и насилие, тем больше пространство коррупции *(Джованни Арриги. Деньги, власть и истоки нашего времени. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006)*.

В 1918 году цитируемый нами Лопухин встретился на даче в Павловске с тогда уже очень старым адвокатом Анатолием Федоровичем Кони. Компания обсуждала вопрос, когда уйдут большевики. Мудрый старик заметил: «Большевики уйдут, большевизм останется».

Валентин ЯРЫГИН

Первые годы перестройки, я еду в набитом трамвае. Пьяный в дым работяга стоит на подножке и монотонно повторяет: «За Ленина? Или за Сталина? За Ленина? Или за Сталина?» И так минут двадцать. Кто-то из пассажиров не выдерживает и кричит ему: «Заткнись, достал уже!»

Меня тоже достало осторожное в те времена прощупыванье публицистами границ дозволенного. Поэтому, наверное, я откладывал эту поэму «на потом», готовя публикации саратовского «потаённого поэта» Валентина Ярыгина (1920 – 1970). Его стихи, его личность, само его творческое присутствие оказали огромное влияние на формирование целого культурного слоя, определив культурные и мировоззренческие ориентиры многих художников и поэтов, в том числе Александра Ханьжова.

Итак, «потом» настало в 2009 году, через 14 лет после первой значимой публикации (предыдущие две – в 1940-е, в боевом листке воинской части, где служил Ярыгин, и в самиздатских «Ведомостях Саратовского Мемориала»). Подборка, сопровожденная воспоминаниями Вячеслава Лопатина, была в 5–6 номере «Волги» за 1995 год, следующая – в последнем перед вынужденной приостановкой номере 413 за 2000 год.

В прошлом, 2008 году, несколько стихотворений были напечатана в 9 (47) номере журнала «Дети Ра», в 3–4 (11–12) номере «Зинзивера» опубликована поэма «Черный гость».

Теперь настал черед и этой поэмы (так и буду её называть, она без заглавия). Основной пафос её строк, писавшихся с 1963 по 1970 годы – протест против реабилитации Сталина. Ярыгин обвиняет диктатора в предательстве идеалов Октября, привлекая в качестве «свидетелей обвинения» революционеров еще времен царизма, верных ленинцев, политзэков и даже Христа, в том числе, в контексте блоковских «Двенадцати».

Перед нами трудночитаемый текст, чьи короткие хореи рвутся на середине слова, вся поэма – сплошной надрыв, протяженностью на две с лишним тысячи строк. Эта поэма представляет, в основной массе своей, образец своего рода гражданской лирики, таковой, впрочем, отнюдь не ограничиваясь. Политика тесно переплетена в ней с современностью (травлей Пастернака, например, или обращением к современникам – художнику Виктору Чудину и прозаику Борису Ямпольскому), нигилистическим космизмом, «низкой» эротикой и религиозными мотивами.

Получилось, что Ярыгин был прав, предполагая срок этой публикации: «Раз уж наш, взвинтивши нервы, / за твоё ж дарёное / крошит зубы – в двадцать первый / передайте оное!»

Так и получилось.

Олег РОГОВ

<Поэма >

I

Ох и лирика ценна,
коль другие фикусы!
Вон что, значит! Ни хрена,
значит! Значит – выкуси!
И, по-дружески, солдат –
никуда не денешь,

Печатается по авторской машинописи.

чем богат, мол, тем и рад –
вот какой тебе наш
совет, чур на ушко:
убывай по рачьи
в ту вон тьму. Там хорошо
с музою горячей.
Автор вон каких стишков –
сядь и пастерначь их!

Благодарствую за честь –
я в ответ и хамства
тоже полный, сделав жест, –
но только и вам са-
лют. Решать потомку!
Тот хоть всё – на! Вышвырни!
Я хвать – цоп мою котомку
с матерными виршами.
Раз уж наш, взвинтивши нервы,
за твоё ж дарёное
крошит зубы – в двадцать первый
передайте оное!

Но держитесь, дела ради,
перед спектром внешнего
излученья явной бляди
уплотнённо вежливо.
Нам то что все её шашни,
коли простодушливо
бандеролька наша дальше
двинута, пропущена.
Так сказать, на белом ведь
свете голосистая
самая, испокон ве-
ков глаголет истина!
Давит камера тесна!
Что ни день – удушливей!
Отдалённое весьма,
тем светлей грядущее!
В безысходной этой, серой
оболочке каменной
я дышу великой верой –
шлиссельбуржец пламенный!
Не всегда ж лишь папуасы
и тэ пэ дикарики
будут джунгли и пампасы
удобрять на шарики!
Жили! Пожили! Нажили!
Всё резвее резвые!
Где, на что не наложили,
где что не обхезали –
не вмешательствую стих! –
хоть осточертело
всем соседям нюхать их
внутреннее дело,
не увидишь, всё равно,
в мире ничего уже,
кроме схваток за гавно –
небогатых по уши!

И, ещё вот, лужа слёз
благородных налита,
поднимая тот вопрос
чуть не с миной Гамлета:
ночь и день, хоть к волкам в лес,
один-одинёшенек.
Ах! Зачем сюда я лез
между бабьих ноженек?

Существую! Всё ещё
не упаковали!
А расчёт мой – вот на что
моё упованье:
зря, штоль, вас до – до дикаря! –
чтут благоговейно
то, когда вы тех коря –
Ньютоны! Эйнштейны! –
матюкая за следы,
где блукали мистики,
волновую суть среды –
эврика! – осмыслите.

2

Отдалённым и окрест.
В пустыри и чащи.
Мол: – Всеобщее! – оркестр –
наступило счастье!
Гонят уж – доить судьбу!
Где бидон без донушка?
Э-така, ей-бо! Пусть бу-
ду я бэ бурёнушка!
Не сочтут за тяжкий труд.
Меж собой калякают.
Дай закурят и затру-
ля-ля-ля-люлякают.

Эх! Побольше б ветерку!
Доносить прекрасную
музыку – от наверху
к подмогильной – засыпью

ну и жарят! Растрясла!
Сами не без ужаса
все по хрящик, до масла
пируэтим, кружимся.
И кому б уж лучше лечь –
по оскал весёлые:
взрывы смеха, если с плеч
черепушки голые!
Кто, как я, ни па не знает –
не горюй! – намерены
нас учить скелеты с наи-
лучшими манерами.

Лично т я за темноту.
Сон ведь гонит думушка:
там её опять найду –
снова статный юноша! –
и не угадаешь ту, –
как цветут не на виду,
за заботы плюнувши,
ну ж и Дуней стала Ду-
ня, моя Дунюшка!

Вовлекает, чуть не всех
в полном оголении,
пробуждающийся секс
в столопотвореньи.
Сведения таковы,
моралисты постные,
округлили у совы
зенки ночью острые
гомосапиенсовы
друг на друге остовы!

Не замай! Пускай блеснёт
и балбес, и умница!
Здесь! Тут! Тут! Ведь тут, весь тот!
Весь тот свет беснуется!
Здесь и правда – хоть потоп! –
отовсюду слышится: –
Три креста! Аллюр! Галоп –
апокалиптический!
По Голгофе: – Топ-топ-топ!
Потолок практически
высоты, что взял наш оп-
тимизм трагический.
Победил, как говорят!
В ужас, страх повергнута
вся округа – всех подряд!
А деваться некуда.

Что ни зришь – вопи ура!
Умник! Что спокойненько
приступил, не будь дурак –
начисть до поклонников! –
начал лопать, пожирать,
кушать – есть покойников.

Вкусно косточки хрустят.
Хрумкают масолики.
Вождь рабочих и крестьян,
может быть, посолите!

3

Твёрдо себя поставивши,
раком к тебе спешим –
милый! Кровавый! – сталинщи-
ны режим.

Долго ли!
Пусть снаряжаются
в обоз живущие.
Не по пословице
про латыша
и чьё имущество,
и то казённое
игольно-ниточно –
в своё довольствие
укомплектовав
в мешок за плечь, и
в кирзухе, хроме ли
принципиальной не
имеет разницы.
По рангу каждого,
по чину – в чём ему
при том при равенстве
жить быть положено.
Ни тень сомнения!
Не то враждебные
припишут происки.
И шутки в сторону

МАРШ СТАЛИНИСТОВ

Туда сворачивай,
где снова дома мы!
Во мгле парашевой
кнутом гонимые,
дерьмом дыша –
как тут не броситься

быстрее молнии! –
коль в омут просится! –
только с надломленным
хребтом душа.
Что разглагольствовать!
Программа ясная!
Кому там нравится!
Всё в жилу, по сердцу.
Решили! Ша!
В полки геройские,
как полагается –
обвыкло! – Стройся! И
смирно, ша-
гом марш! Бесславиться!
Обратно в тот
раёк содомовый,
бесовский, сталинский
шалман вперёд!

4

Уж чем измеривши,
сказать боюсь!
Как в лужу перышком
рванул Барбюс,
чтоб дурь запенила
поток слюней: –
Чуть меньше Ленина,
зато сильней!

Он философию
развил особую: –
Не устоять
вам, контры лютые! –
и ствол орудует,
и рукоять.
Тут не шутейная
подкладь идейная –
попрекословь
такой попробуй-ка! –
здесь не метафора
прямолинейная,
стальная логика
другого автора –
иных основ.

Достойны лидеры –
воздай хвалу!
Без дури-выдури
лбов на полу.

Вот заключённые.
Река течёт.
Бредут учёные
и мужичьё.
Цэка смещённые –
к плечу плечо,
за колючьё они.
За колючьё!
Недоказнённые!
В отравь-руду
штыки казённые
ведут, ведут!
Четырёхгранные.
Гожи! Гожи.
Овчарок лаянье
До Воркуты.
До ссыльно-каторжных,
до чище мест
России-матушки
колышут крест.
Геоботаника!
Сибирь пока!
Давай затянем-ка

ПРО ЕРМАКА!

Что: – Русские любой судьбы –
сильнее мы! – сказал так громко.
Ему! Ему неистреби-
мую хвалу, хвалу споём-ка.
Подсвистнем и наверняка
мрак-тьмища эта просияет.
Ночным громам про Ермака,
громам подсвистнем, россияне.
И мы, что шли через бои,
закручиваясь, как пружины,
коварством сломаны, но и –
и мы недаром в мире жили!
Такую ж отчине-стране
мы к ней любовь, посгинув сами.
Мы к ней любовь, посгинув, не-
истребимую оставим.
Что мы – не мусор, не поймёт! –
в ум, разум будущей России
мы верим. Ну, а не поймёт –
а не поймёт, уже простили!
Про наш на этот крест удел,
что на крест этот провожали: –
Ревела буря! Дождь шумел,
лишь ветры выли, бушевали.

Но не сильнее ли судьбы! –
святою – о, которых дьявол,
которых Сталин истребил! –
святою станет, будет – слава!

Петь не приказано!
А кем, очкарь?
Здесь я, вам сказано,
и бог, и царь!
Железь Дзержинского,
куст небрить скул: –
Ты гэ грузинского
кровяный стул!
А, падла старая!
Поди сюда!
На богацарие
самосуда!
Зловонномордая
ухмылка вдруг: –
Того ведь маршала
ты, милый, друг...
Да! С белочешского!
Вблизи – вперёд!
На Тухачевского!
Поганый рот
дерётся здорово: –
И с тем в связи!
На – за Егорова!
Грызи! Грызи!
И за Котовского –
комса жирна! –
на вот! За Троцкого,
Якира – на!

Товарищ падает.
На два крестец.
Той старой гвардии
боец. Боец!
То он без кляузы
служил в Чека!
Шёл, подняв маузер,
на Колчака!
Ловил Антонова.
Кронштадец брал!
и, званья б нового,
наш генерал!
Свезут в исподнике
в одну из нор,
что вырыл родненький
могилотвор.

Генералиссимус!
Светлей, чем граф!
Ишь, как возвысился,
всех обокрав.
Жадён до славушки,
в затылок лоб!
Стрелял ты в главушки,
а славу грёб!
Другое б звание,
да под топор!
Самоназванец ты,
Иоська-вор!
Рукою твёрдою
топор поднять!
Отрепья впёр твою
под горло мать!

Честно их знаменье –
пусть каждый снят! –
с их тела пламенный
не смоешь знак.
С серпом и молотом,
пяти лучей –
кольём наколотый
у басмачей! –
не златоплатина,
мишурный хлам –
его плоть-кровь она! –
звездища – шрам.

БЛЮХЕРУ

Мамочка родная!
Глянь-погляди,
как, среди многих он,
чтя указания
пса черномордого –
ишь господин! –
вытянул ноги вон,
глянь на хозяина
Красного Ордена
номер Один.

5

Как бы, кто бы и доколь –
правду не сломаешь!
Бяку мни хоть! Власть не тронь!
Иными словами: –

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
пока не споймали!

Во едином сапоге
командарм клокочет,
хоть и знает: – Тщетно ге-
ройство одиночек!
Что Юпитер брови свёл,
лава не остыла.
Упреждая куцый ствол
браунинга, с тыла
наводимый, – на войне
обретённого осо-
бенного на беду,
но опасность нюха
не утратил! – в том углу
подведённый к стенке,
к перекованной шпане –
золотые кадры
из бандитов и ворюг
вышедшие каты! – вдруг
обернувшись круто: – Ух!
Как ты вздрогнул, ухарь!
Побелел! Стрелять в лицо,
сталинское дерьмецо,
не хватает духа!
Лишь в затылки. На, гавнюк!
Отомсти за свой испуг!
Ну, а ты, хоть глупо –
всё, родимая! Адью!
Ауфвидерзеен, гут
бай! Прощай, житуха!
По последней выдох, друг
верный мой, ни пуха...
Пюхнул выстрел. Взгляд потух.
Лужища у уха.
И кругом. Вокруг, вокруг.
Глухо. Глухо. Глухо.

***

в архангеловой не нуждаясь трубе,
сумевшие вас, пролетарии, в е-
щё небывалом поднять мятеже!
Никто помогать с небеси не слетал –
вы сами. Вы сами. Вы сами
ту, что всей буржуевой стали потве-
рже противопоставив металл –
в них – на эшафоты, под петли и пли,
в дремучие дебри сибирские – в них! –
в острожные мглистые дали
вы в этой свою добывая светлынь,
по торной во мраке шагая, тропе
и злейшей, так злейшей навстречу судьбе –
бестрепетно шли вы и шли вы, и шли.
И шли вы гремя кандалами.

За то, что вы данную в тюрьмах сырых
великую клятву исполнили, спих-
нув и двуклюва орла, и
замену его – с подъярёмных! –
у них железные цепи сорвали
и те молодые – их братья в борьбе! –
что грудью да голыми лбами
где дул – по аршину в сто дул – не сробев!
буквально как по переправе
живые по мёртвым пройдя по себе,
их ливневые – вы! – их шквальны-
е толщи огня пробивая, вы Пе-
рекопы у Врангелей брали.
За это туда вас, откуда и на
побывку к семейству домой не
приходят, где ночь бесконечно длинна,
уж заживо страшным покойником
ставший насильник и ду-
шегубец нещадный отправил.
Так пусть до столетья всё дальше пойдут
клеймя, проклиная тирана, чьей на-
прасной вы жертвою пали.

Уж тут не до подвигов – мера крута.
Все Гудерианы, утешьтесь!
Не осуществит свой ответный удар
орёл молодой – Тухачевский.
Твой предок по доблести, брат по беде
рукой вон кровящейся машет
сам Разин Степан Тимофеич те-
бе, четвертованный маршал.
Конечно, для марша по вечности ни
тому, ни другому не надо
компании краше. В грядущие дни
войдут, легендарные, рядом.

Шпионке в царицах и той далеко!
Мурлычет, на радость генштаба
немецкого, в русском Кремле «Сулико»
внештатный сотрудник гестапо.
Покуда темно, кто доподлинно, но
профессионал, дилетант ли и
как диверсанты экстра-класса немно-

гие оказался талантлив.
Уж больно бы просто:
– Как, мол, белены облопались!
Поугорели! Кем Блюхер прикончен?
Кем истреблены
Егоров, Якир, Уборевич?
Нам вот не хватает приличных словес
для верной и точной оценки
поставивших и, среди прочего, весь
цвет Красной Армии к стенке.

Как вся их когорта, как весь легион –
всяк с дикостью этой освойся! –
без шутки, один совокупный шпион
Антанту разбившее войско.
А коль про здоровый сказать элемент,
то вот он – вглядись хорошенько! –
и ковкий, и плавкий – железный Климент! –
стальной зуболом Тимошенко.

6

Трогательно, аж слеза!
И оно понятно –
как бы тут точней сказать –
голос свыше внятный: –
Загнанные! Вылезай –
Еврипиды, Данты!
В центр внимания все за-
рытые таланты!
То клопа, а то червя
подавили, Хватит!
Ночь беззвёздная черна!
Марш с таких кроватей!
И за дело! – От души,
но стараюсь – Писарь!
Всё отметь, перепиши.
До макушки лысый!
Приодеть, переобмыв! –
И как чуть женили
снова – фу-ты! Ну-ты! – мы
намертво живые.
Крепко-натвердо! На все
времена! Навеки!
Будущие по красе
чудо-человеки!

Вкруг служителей искусств,
что давно гутарят –
обсуждают, на чей вкус
жарят, варят, парят
и казался безголос,
и звался Афонею –
вон как Шостакович! Брось
свою какофонию!
За хреновость жуть как строг –
к форме прилепился! –
жучит автор этих строк
Гёте-олимпийца.
Понаведала привет
справедливость высшая!
Вместе с кукишем судьбе
в дар за дар услышу я: –
На тебе, Лауры пе-
вец Луку – Мудищева!

В общем, критика права –
пусть титаны морщатся! –
засучают рукава
тьма ваньков для творчества.

Алексей Максимыч окал
по нижегородски.
На подкваке Сталин-сокол.
Проститутка Троцкий.
Ту-хрю-хрю! – знаток пословиц –
что по поговорке:
у него слизнуло совесть! –
обожает Горький.
Проявляем мало духу,
относя лишь к дурости,
если в проблядь молодуху
дряхлый шкодень втюрится.
А в какую ж бросить миску,
что назвать пружиною,
если Сокол Василиску
служит по ужиному!
Ха-ха-ха! Смешно ужасно
перепутать – около
зашипевшего – Ужа с на
бой зовущим Соколом.
Весь былой материал
на казённой вишенке,
на малинке растерял
Буревестник – бывшенький!
Проявляем чудеса!
Его воля-сила – вишь,
про дракона прописав! –
Алексей Максимович.
А первей, первей всего: –

Гуманист! – мильоны лишь
укокошивший Ио-
сиф Виссарионович.
Что ещё провозгласил
сладковато-пресным
став из Горького, но стиль
только б – ладно! Хрен с ним!
Нискладнуха не прибьёт!
Зло ништо марала! А
с ног тут валит вонь, вот-вот,
именно – моральная!

7

Что – не витии зашумели,
благословляя, длань простёр!

И в сей момент, когда крылами...
Эх! И пожрал бы ветчины
без: – Где ж в таких священный пламень! –
И к Дуньке б! – Чем увлечены!
И поделом – серее сами!
Пыль давят нижние чины.

СОЛДАТСКИЕ ЧАСТУШКИ

Что ему не поорать
на подсмазке жирной,
попромыв горлянку: – Ра-
вняйсь! Смирно!
Насобачился! Горазд!
До скольки учили: –
Раз, два, три – четыре! Раз!
Два – три! Четыре!
От подъёма чуть промажь
и пиши пропало: –
Стройся! Двойся! Шагом марш!
Налево, направо!
Что Суворов! Те малы!
Пачка ж, вишь, Казбека! –
Взвод! Вперёд! Ура, коли
Чучелов с разбега!
Не про то споёт труба
и головка свесится!
Сядь-ка на нашу ба-
ланду на полмесяца!

Снаружи-то – доля такая: –
Коль нужно! – Эх! Весело, а-
ружьем на солнце сверкая,
наш полк уходил из села.

8

Былые их превосходительства – фу!
Серость! – Научит! Наставит!
Допетрит! Довникнет! Не честь уже фу-
ражка армейца простая!
В глазах необвыкнувших засолодит
и те поперхнуться готовы,
так он, замундиривши, зазолотит
начальствующие покровы.
На радость марухе, на горе жене
вновь мода парчи и атласы.
Вершина – порток, что на гене-
ралиссимусе лампасы.
Какую фарью вам ещё добавлять!
Та степень, те градусы лоска
как на – не из плоских! – раздетую блядь
взглянул – и приятно обжёгся!

Из редких идейных, что правил паря,
сюда б на довыучку Павла
первого, государя
рулившего слишком неплавно.
Как правило, со сквозняком в голове
на тронах гарцуют кретины.
Шедевр! Чемпион их сей выблядок ве-
ликой Екатерины!
Не скажете, что упирался Сизиф!
Так был плодовит на курьёзы,
на пакости этот с личиною си-
филитика деспот курносый.
Навряд ли б и тот баснословный баран
на новые на ворота так
воззрился бы, как этот пшибздик с одра –
как раз ведь что нужно! Как надо!
Не гачинской дробью себя торопя.
Без кукольного обряда.
Послушна! Исправна по службе! Бодра –
по голосу сердца святая раба –
держава! От стольного града
по хутор, затмивший со всем его – Тра-
тра-та-та! Тра-тра-тра-та-та!
Тра-тра! – их Романовский под барабан.
Вот на идеальный порадо-
вавшись, просипел бы удавленник:
– Па-
рядок!
Порядочек. Тихо и глухо, как склеп.
Сквозь глянец куда ни заглянешь –
не видишь: как всё провалилось, как слеп.

Не видишь сквозь глянец, сквозь глянец.
Востоку амуры-мурмуры: – Люблю!
Прижмурочка тигра – Европе.
Разящего не глядя – нам этот клю-
вастого хищника профиль.
А краше – от зависти лопайся лишь,
двурылый мифический Янус! –
есть для оргаистов с пристрастьем,
всех лиц
прекрасней то место, где анус.

9

Долой к венценосному падлу вражду!
Даешь! Мы почище ворону
видали! – всего мирового – вождю! –
пролетариата – корону!
Чуток припоздали! Немножко не ус-
пев: триумфальная арка
и – официально! – Советский Союз
лобзает сапожки монарха.

Вдали и куда ни посмотришь окрест,
как их властелин вероломный,
бесцветно – студёные злобствуют, скре-
жещут над Родиной волны.
Железные волны скрежещут, гремят.
Не в битве, упавшими, честной
от вражьих от пуль, от штыков, от гранат,
героями полнится бездна.
Звучит в потаённой тени, в полутьме
в глаза прямо глянуть не в силах
тот гаже, чем только предательский смех
стреляющих подло в затылок.
По жесту, лишь взмаху, лишь
вздрогу руки,
что отчей наименовали,
смыкают, смыкают, смыкают круги
железные волны над вами.
Так маниакальный любитель собак,
от лиц человеческих хворый,
дичающий барин своею никак
не назабавляется сворой.
Ату его! – перемежая с – Узы!
он бурклы коварные щурит,
лихие черкесские крутит усы,
заветную трубочку курит.
Лютуя, врывайтесь за каждый порог!
Всё титлом он, рангом покроет
как грузно шагающий грозный царёк –
по крови! По крови! По крови!
Лепите! Малюйте! На арфах бренча,
восславьте в твореньях новых –
с перстом Бонапарта за бортом френча! –
убийцу детей Ильичёвых.
За светлые подвиги – вечная тьма,
куда вас нередко нагими.
Вам ваши могилы бессчётные, ма-
гилы. Могилы! Могилы!
У стенки в тюремном подвале –
как не было! – скоро тот миг,
когда вас повергнут на цемент под вами
и словно сотрут – горемык!
Уж близко, уж скоро промолвит, придёт
пиита не крупного люда: –
Да будь же ты проклят из рода и в род,
царь Ирод! Иуда! Иуда!
Не спрячешь, хоть вновь с головой
окунись,
под розовой слякотью сути.
Из века, когда победит коммунизм,
грядут настоящие судьи.
Ни мстить, ни гулять на нечистой войне
булат наш не выйдет из ножен.
Мы немцев простили, но этого не
можем! Не можем! Не можем!

А нас за тупую смирённость овцы,
за век, на коленях прожитый,
о, наши товарищи, братья, отцы!
Простите! Кто может, простите!

ЗАМУЧЕН ТЯЖЁЛОЙ НЕВОЛЕЙ.

Как – может, веть! – чудится. Вою-
щий ветер несёт из ночи: –
Замучен тяжёлой неволей,
ты славною смертью почил.
Той армии Ленина воин,
чей путь мы молчаньем почтим.
Всё наново снова умысля –
эк радость, лишь пулю всадить! –
основоположник глумился –
наивеличайший садист!
Не всех-то вас без чути, груду
за грудою он посвалил.
Расстрелянные – повсюду,
кругом тебя! – были свои.
Такие ж! С тождественным знаком,
что, мол, на могильное дно

гож и без нитинки на нагом,
имея такое ж пятно
борцов за рабочее дело,
что нет ни святей, ни правей –
последняя ли прикипела
кровь – чёрная! – между бровей.
Ведь встанет же вновь неустанный!
Об этаком за веком век
уста, и что верят в Христа, и
не веруя: – Се человек!
Как будто – из полузабытых! –
обрывок романса в ночи,
И я не сдержался! А вы как?
А умные – мы помолчим.

10

Отступления.

ХРИСТОС

Всё равно даже сказка и небыль
откровения мира сего.
И какой же он горечи не пил
от железа, что вбили в него.
До бородки – рисует легенда –
затемнившей страдальческий рот,
облик русского интеллигента
из погибших, восстав за народ.
Не узрят золотые чертоги
первый шаг уже новых веков.
Он впечатал его на пороге
у беднейшего из бедняков.
Возмечтав о великом посеве,
он пришёл! А по обе руки –
провокаторы и фарисеи,
демагоги и бунтовщики!
Чернь предчувствием бедствий томима –
и трудяги, и праздная дрянь.
А над всем, дотянувшись из Рима,
иноземного кесаря длань.
Возлюбили пришедшего кротко.
Лобызали кудесника след.
Но не поняли, что это тот, кто
снова молвил: – Да будет же свет!
И одна лишь с того перепутка,
где она подымала подол,
угадает Христа проститутка,
скажет миру: – Спаситель пришёл!
Но, купив за нетрудную плату,
мелкомудрые мира сего
отведут правдотворца к Пилату,
замордованного всего.
Вот и встретили, что торопили
твой приход, возвещённый давно!
Выше средства былой терапии –
с поперечиною бревно! –
ни к чему нам такая Голгофа:
получил бы аминазин
возомнивший, что он Саваофа
и нетроганой девушки сын.

ЖИЗНИ

В своём углу, где грязный столик,
над суетою всех сует
смеётся, плача, алкоголик –
её отравленный поэт.
Сюда он нёс свои созвучья,
хотел элегии пропеть
где вечно царствует паучья,
на души брошенная сеть.
Скорее враг, а не товарищ
чем одарит поэтов плач
завоевателей влагалищ,
местечек, соусов и дач.
Как их торта не для остатка
больных, испорченных зубов
ему ласкающая сладко
хмельная женская любовь.
Его глаза к тебе стремятся,
но словно чёрная черта,
что не перешагнёшь, гримаса
и складки траурного рта.
И, как в бреду рисует Гойя,
из каждой рытвины лица
ползёт вопрос, зачем такой я
на белом свете родился.
Что не являться б вовсе лучше,
что слишком густо мир зарос,
что тесно – этакий ответик
получит он на свой вопрос.

Я ВЫСОЧАЙШИЙ В МИРЕ ЧИН

Я, высочайший в мире чин,
быть человеком удостоен
и, посреди первопричин,
философ, царь, строитель, воин.
Земля моя! И за Луной,

уже познавшей властелина,
мне равных нет! Передо мной
кирпич, цемент, извёстка, глина.
Всё мироздание вокруг,
под ноги брошенное, точно
для мускулистых цепких рук
приуготовлено нарочно.
Ещё какая голова
дерзнёт померяться с моею!
В ней, заключённую в слова,
я сущность всех вещей имею!
В ней, бесконечности самой
сильнее, формулы и числа
угрюмой вздыбились тюрьмой
так называемого смысла.
А извитая, как спираль
по положенью и по праву,
его величество мораль
шипя, цедит свою отраву.
И в этой камере сырой,
в сплошном вселенском равелине –
ты тот – мне чудится порой –
кто принесёт спасенье ныне.
Здесь, не кляня своей судьбы,
в последнем выдохе напрягши
всю свою муку, прохрипи,
что погибаешь, но что также
когда -то веруя, что бог,
больной мечтатель в Иудее,
его гвоздящим тварям смог
преподнести свои идеи.
Из гангренозных чёрных дыр
на каменистое подножье,
где встал тот крест, венчавший мир,
с тех пор струится слово божье.

БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ БРАННЫХ

Без почестей бранных опустят.
Как скинут! Но я не корю
судьбину. Всё правильно, пусть я
забытым костром догорю.
Нисколько не спорю! Дорога
моя, одно слово, худа.
По накоти вашей отлогой
я рад бы, но мне не туда.
Ты вот пообедал, полапал.
И запер сундук казначей!
А мне на орбиту парабол.
В бессонную муку ночей.
Кровать твоя сделана прочно.
Надёжен английский замок.
А мне обеспложена почва,
когда не скользит из-под ног.
Законно, ты не в отупеньи,
заснул и что персик! А тут
ступени, ступени, ступени.
Лишь к новым, лишь к новым ведут.
Где жрать, ты возводишь резонно
чертог и чулан для какья.
Лишь чокаясь, за горизонтом
бегут, задыхаясь, как я.
Уж старюсь вот без ничего я,
а мир, что никак не учтёт
богатство своё вещаное,
мне нагроможденье пустот.
Что спорить, по-своему каждый
мы правы. Разумец, не тронь!
Летит вместе с этой букашкой
весь мрак её жизни в огонь.
Не лише, ползняк недалёкий,
мгновения полнь бытия,
в погибельном этом полёте,
чем вечная плесень твоя.

Б. Пастернаку

ГАМЛЕТ

Ты прошёл, не поклонившись бесу.
На похлёбку душу не сменял.
А у нас всё ту же пилят пьесу,
только ей не видится финал.
На подмостках шлюха Клеопатра.
Ренегат Антоний мелочит.
Далеко от этого театра
поступь принца Гамлета в ночи.
Ни к чему моление о чаше.
Друг у друга задницу голя,
лицедеи – геростраты наши
продолжают свалку за роля.
Плохо, друг, с вакансией поэта.
Дребедень, что моськи втуне злы.
Божье слово ныне снова в гетто
отщепенцы в сумрак унесли.
На виду заведомая липа,
разминая новенький протез,
создаёт шумы – эффекты – импо-
тентной фрондки творческий процесс.
Любо дело, без последствий акта,

индо аж начальство пуделять,
для сугрева публики в антрактах
выводя поэзию как блядь.
Славен бог, что упася от срама,
нам таланты тех не уделил,
кто, когда идёт такая драма,
шутовской свой чешут водевиль.
Не судьба нам в царстве фарисея
жизнь прожить, как по полю пройти,
может, ветер бросит в почву семя,
обдувая камни на пути.

ЛЕНЕ

Всё это верно! И всё же неправильно,
что, мол, судьба, мол, стихийная сила!
Против кого она дуло направила?
С кем свою чёрную шпагу скрестила?
И браконьер ведь, убийца неистовый,
думалось мне предпочтёт попоститься,
чем и в тебя, дуга-радуга, выстрелить,
видя, что это живая жар-птица.
Ширьтесь, ряды матерящихся в господа!
Скверный старик. Для глумления –
нас, ведь
как уж не дома, сейчас он с погоста до-
мой завернёт – жить готовимых
насмерть.
А коль не для надругательства пущего,
непостижимо, чего же во имя
мы – ведь учтите! – рукой всемогущего
сотворены, так сказать, таковыми.
Набожный, верь! Но другого отца ищи!
Где сей небесный, дрожа над собой лишь,
сына предавший, прошёл, не оставивши
гарь да костьё, катастроф да побоищ!
И – всеблагой! – без румянца смущения
бедами шпиля любую минуту,
он – при удобной, наипаче мучения! –
то Джугашвили пошлёт, то Иуду.
А отказавшиеся от батюшки
прямо с кладбища, таков ли характер
страусов, или у наглухо спятивших
в думы о судьбах далёких галактик.
Самые умные, больше чем маги –
что не в себе и на миг разлучившись –
к аппаратуре, ловящей зигзаги
гипотетической античастицы.
А ординарность мы тоже по-прежнему –
нет должных средств для гашенья порыва! –
меньшее зло, коли тянет к безбрежному,
без духа-роздыха дуть своё пиво.
Разу не гавкнув бы, шёл с атеистами!
Но ни в Аллаха, ни в Саваофа
вместе не веруя, кланяюсь истине:
и без Христа злее наша Голгофа.
Есть у нас к приукрашательству подлое
обыкновенье, но не озолотима
боль, где утрата настолько доподлинна,
так велика и невозвратима.
А ей ничто! Разве будет осознано,
что роковая волна захлестнула.
Хрестоматийные мёртвые звёзды на
небе рассыпав, Россия уснула.

ВИТЕ

Если б ясное солнышко встало,
тмень ночную смахнуло с лица,
ободрить – всех поникших устало,
отогреть – изнемогших сердца.
Не спросил бы я, что за причуда.
Может, сам бы отвёл от беды,
в чьи-то души мигнувши оттуда,
где его золотые следы.

Б. Я. Я. – моему современнику.

И я пекусь о современности!
Но, чуть потянешься за нею,
церковка беленькая вспомнится,
покажет пруд лебяжью шею.
И вновь в зеницах завороженных
былое месяца сиянье.
Поверх квадратов огороженных,
где что-то месят марсиане.

Во всех сердцах для чудака
местечко было б огорожено,
узнай он, куда я несусь на ка-
расике свежемороженом.

Что нам моря, что ветры,
бездны, хребты, вершины!
Мы уже к самым светлым
к звёздам пути свершили.
Жизни дотла истратили,
перегорев, как в тигле,
но, лишь одни мечтатели,
мы лишь всего достигли!

Мрём без любви, без пищи мы
по чердакам, раздеты.
Нас называют нищими!
Бедные непоэты!

Поэту! Художнику! –
Буйствуй, мечась! –
прощается всё за немного.
Но где наскребышить мильонную часть
великого сердца Ван Гога.

Ни за что не упрекну!
Пусть несокрушимо
будет – Кука-ре-ку! –
глотки петушиной.
И для коих не красив –
утром, – что, не ухарь?
сей начнёт, заголосив –
мирозданье рухнет.
Потому что есмь петух! –
хоть вы и померкли –
белый свет всё не потух! –
так-то, Юмы-Беркли!

Я люблю красоту снегопада.
Застилает глаза, неся –
небо щедрое, сколько надо,
прямо в руки! – что взять нельзя.
Сыплет! Что вам чертог, что хата.
Не пришлось – посмурнела знать! –
целиком эту прелесть схапать.
Продолжай непогодой звать!

Дотерпи умельцев покалякать!
Дабы был ты – глубоко вникай:
в курсе, чтоб квакнуть про эту каку,
хрен ей! – мощь искусства велика.
При виват эмоциям – не как у
пенька! – лишь около пивка.
Плюс не псих – сам затевать атаку!
Подыши! Вне плюхи, без пинка.

Компетентен, то твой частный –
гэ на вкус! Но – а на трон,
Чу! Чью же не взбросят – власть ни
коим образом не тронь!

Потом понимает. То плохо,
что поздно. Опять не врага!
а ветеринара эпоха –
Ох! И подняла на рога!

Живём – где каждый! – чуть не с интеллектуальным потенциалом – смотрит, сукин сын,
как марсианин сосланный!

ТЕЛЕГРАММА

Белому Дому! Красной Москве!
Пры-га-я, благо-дар-ству-ем. Авели.
Стоит, Каины, что нас к е-
к оной матери ещё не отправили!

Близь – немедля зажавших! козявок –
ввысь от спеси! – принюхался нос: –
Иногда, при хороших хозявах,
человечество нужный навоз!

Как ничто ещё – пусть готова
лай – насмешка! – сказать не боюсь,
что люблю три высоких слова: –
Человечество, Правда, Русь!

Вам говорю, блюдолизам,
работающим шито-крыто,
готовым социализм
сменить на свиное корыто: –
Не смейте болтать праздно
о дружбе, свободе и счастье!
Народу нужна правда!
Чем горше она, тем слаще!
Не случайно всё наглей – подростки! –
над горючим – чересчур взрослы! –
приблатнённо цедят папироски
тёртые премьеры и послы.
Над другими высящийся, словно
над буграми кладбища Памир,
вместо – их пустого! – сквернословья
век двадцатый борется за мир.

Где покупаемся, там же и по-
совокупляемся. Каждый с любой!

Где покупаемся, там же и посово-
купляемся. Снова и снова!

Где и купаемся, там совоку-
пляемся. Сново! Воткнул!

Где и купаемся, там совоку-
пляемся. Снова! Воткнул!

Спасайся, ребята, кто может!
Нас продали! Задаром, зря значит

за нашу братскую, да и отцовскую
по-пролетарски мы красную кровь свою
алую, не сожалеючи, ру-
чьями, речками, точней оки-
янами целыми лили мы пра-...

Дела! Нередко не до сна!
Не первую начальник старший
ночь этак бодрствует с на
... у него секретаршей.

На немалюсеньком окладе.
Везде, где надо, состоит.
Супруга, секретарша-блядь и
только пенис не стоит.

В ад к чертям ..... угодник.
Помахал ..... !
Ох и вдарил греховодник
им по самолюбию.

Как простой потребитель мяса
И как тонкий при том эстет: –
Глянь, какая сокровищ масса!
Думай – чем, а не что есть – еть!

Что люблю варенье из
чёрной смородины –
прячу! – не от самих ....
Всем дают пороть они!

Всех нас! Всех нас! – голос девы.
Сведения точные –
Не ровесники, так деды.
Мы не беспорочные!

Двояка женская натура!
Когда своё изволит брать,
перед глазами тает дура
и раздвигает ноги блядь.

В такой – ихтиозавр кидайся! –
в такой момент, в такой момент
сам задувающий по яйца
Лука-Мудище импотент.

На свет вся лирика из-под рубашки.
До поду сиськи – могут понимать! –
Шире-ка! Шире-ка, девочки, ляжки!
Шире расправь-ка, ... вашу мать!

Льёт, заливает – песне вторит! –
Когда б имел златые б, – за
лишь взгляд её б он отдал горы,
вот какова у ней .....

Фармацевточки девчонки! –
что, поднявшись, – эх и дрын! –
уж и двинет вскачки-вгонки –
дай любая! – эфедрин!

Передо мной раскрыта Библия.
В сей книге грозной и святой
провидцев речь, от гнева хриплая,
разит язвящей правотой.
Спешат исполниться пророчества
и больше места не найдёшь,
где не чадит костёр, не точится
для очерёдной жертвы нож.
И не сыты персты кровавые,
успокоенья не найдут,
пока и в бога гвозди ржавые
они по шляпки не вобьют.
И кто живой, а кто покойники,
нам отвечая на вопрос,
вот, умерщвлённый как разбойники,
восходит солнечный Христос.

Все их мучения распятым
великодушно извиняя,
вновь пожелаешь вечно спать им,
неистребимая свинья!
Пока ты грош в кармане сыщешь,
а, изнурённый и больной,
ладонь протягивает нищий,
весь мир погибнет остальной.
Но ты богат, умён, красив ты.
Задобришь самый страшный суд.
Уж совершенствуются лифты,
что тебя в небо вознесут.
И там другим одни страданья.
Лишь ты по-прежнему хорош.
И мудро щедр! Для подаянья
какой помельче ищешь грош.

РОБОТ

Бесполезны любые усилья.
Человечество – свет потуши!
Ведь железу приделали крылья,
обрубив их у нашей души.

Трум-рур-рур-ру! – про милые вещи: –
Человечность! Свобода! Коньки!
А в глазах маниаков зловеще
шнур бикфордов чадит огоньки.
О, мной чтимый благоговейно,
то твоя правда, истины друг!
Кривизна мирозданья – Эйнштейна! –
захватила и выпустит дух.
Молодец, рассчитала наука!
Трёкни ночью словцо водород –
думать некому будет наутро,
кто нас похоронить соберёт.
В шалашок к Робинзону бы Крузо.
Но, увы, ни отшельник-аскет,
ни Тарзан не ускрёбся от груза
в чёрном чреве глобальных ракет.
Что титан, изготовивший гнома,
сам понять уже немощен, рад
ли таким своим детушкам, гомо
сапиенс-дегенерат?

Как бы вдруг – хлоп!, под ноги граната.
Попригнувшись, с дрожью, ждущим:
– Бу-
дущее наше! Надо, надо!
Вот и можно испытать судьбу.
Пусть же нам наш полуразум давший,
наш родитель дольше, крепче спит.
Дорвались! Шуруем! Дальше, дальше!
Подавляя страхи, пряча стыд.
И, стянув до боли, что под спудом
продолжает, возится тугим –
узелком ей ручки! – совесть судим.
Все на выхвал, тот перед другим!
Как, в больших играючи, подростки
молодецки, приблатнённо, сквер-
нословя, цедим папироски
на вершье бензиновых цистерн.
И, поняв, что вовсе не занятна
эта дурь, плюём через губу,
через ужас думушки, что надо
с пепелочком вылететь в трубу!

МАРТ

Я узнаю вас, сгорбленные люди.
Ведь не одни герои светлых книг
под это солнце выбрались сквозь лютый
озноб тех лет, прошедших как ледник.
Я узнаю и сам нередко узнан.
Но пробегаем торопливо мы.
И что один другому скажет узник
той, где гноилась Родина, тюрьмы.
Ведь если, вдруг, поговорить по-свойски
один ответ и на вопрос, где был
и что ты делал: созерцал геройски,
как уводили лучших на распыл.
Но то прошло. Ты прав, весёлый щебет,
когда от юных улицы тесны.
А мы особый ощущаем трепет
на пятый день проснувшейся весны.

11

Как опухоль, нарастая,
как неотпускающий кошмар –
дышать мешает! – мирозданья –
застрявший в глотке! – чёртов шар.
Ведь доказавшим, что души нет
совсем не грамотно – темно!
То разум с дребезгом спружинит,
то вновь жужжит – веретено.
А человек, что так глубоко
повсюду вник, ему цена: –
При нём – в придурках! А без бога
совсем не значит ни хрена.
А глянь! По-русски, в клочь – рубаха!
Шумит, осмелившись на бунт.
Крест, богомать – щепотка праха!
Осьмушки нету! Где тут фунт!

Воистину показательный! –
не падаем, а вершим,
как люди – мы – по касательной! –
полёт свой с колёсных шин.
Это вот буфет! Не тот
поезд, а мы сели –
и, куда нас чёрт несёт! –
двигаемся к цели.
Где ни земли, ни солнца
не будет – в ту без льгот,
без скидок! – тьму несёмся.
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
И на тот свет путь – в то, что:
пот ледяный течёт
с – И, фью! Нет ни чёрта! –
ни во что. Ни во что!

Навсегда уводившее чудо.
Перешагиваем тот порог

в ту страну туманную, откуда
на попятный нет нужней дорог.
По каким по формулам, собака –
чёрт с ним, кто он – господь или бес –
жизнетворец! – сплавил вечность мрака
и один – её! – мгновенный взблеск.
Здесь! – чихнув. Туда без поворота!
Знать и ей умка не занимать,
коли то придумала природа
наша, в горло, в дыхло, в душу мать.
Мы, коленом с этим злом покончив,
проводили им спиритуа-
листов, мистиков под копчик,
совершив весь нужный ритуал.

Надумали, видно, что сохнут по нём –
и рекруты, и ветераны! –
Антонов – целительным сделать огнём
для незаживающей раны.
Но, если на миг повернут времена,
пусть не забывают о том, что
все ржавые гвозди во их имена –
известные! – внижет потомство.

Лишь чуть больше грезя, но вижу, как-вот
багряные с чёрным полотна
бессчётных знамён приспускает народ; –
Вы жертвою пали – поёт вам.
Я слышу – немного! Лишь в сердце,
в упор
салютные залпы, немало
над скорбью Шопена – конечное тор-
жество Интернационала.

12

Будто то с неба десницей карающей
гневные громы на грешные головы –
траурный звон!
Чёрными, чёрными. Гулкими, гулкими.
Глыбами! Падая!
Падая –
он это!
Чей же ещё бы и грозный, и горестный
так же б сумел, на такое ж способен был?
Он это! Он это!
Он
э-
то
он!

И где, когда-либо,
вчера ли, ныне ли? –
хотя и спрашивать об этом нужно ли! –
с печалью вместе и
калёным же-
лезным мужеством
сердца наполнивши,
на рубеже
каком ином ещё
так же уместен бы,
так же бы правилен,
как бы он в э-
том именно конкретном случае,
здесь спетый мучени-
ческий: – Вы жер-
твою пали в борьбе роковой –
не псам – властолюбцам в угоду! –
до волн океанских додвинув, Невой
начатый, последний решительный бой
за жизнь, его честь и свободу! –
вы отдали всё, что могли, за него –
народу. Народу! Народу!

РЕКВИЕМ

Видно, не просто с утра пораньше, а
что-то затея, держа в голове
что-то, завёл уж и вон как старается –
дрожь инда, оторопь – так ныне ве-
тер воет! Воет ветер.
Это ветер! Он то! Э-
то ветер воет, воет.
Воет, воет, воет ветер!
Он это, он-то ведь раньше, чем прочие
все, просквозивший, обследуя всю рус-
скую ширь нашу,
знает про то, что не
лживь фарисейская суть. Где вас ю-
тит необъятная Родина,
если всех сгинувших ради неё
к жизни бездонная мудрость народа на
свет беззакатного солнца вернёт.
Может быть, над крутизною, где доблес-
тный
путь ваш оборван, покажете вы
и с Бухенвальдской сравнимые пропасти,
и как будто жуткие Гитлера рвы.
Сплошь бодряки! Ко всему попривыкли
мы!
Делаем дело, изволим шутить: –

А уж коль нравится, над горемыками
пусть надрывается, ветер шумит.
Ветер шумит! Не подпускающий близко,
что уже за-
каркали, кружатся Горя и Ужаса
спутников чёрных капеллу зловещую.
То обойдённым людской панихидою,
кинутым в тёмные ямины под
брань и проклятия своры палаческой
ночь напролёт –
с воплями и причитаньями плачущей! –
сгинувшим от
лапы насильника, перед которою
непротивленкою будет толстовскою
выглядеть и предъяви свою тот,
чья Павла Пестеля, Софью Перовскую,
Кибальчича и Ульянова вешала,
тем, что как будто вас не было вовсе у-
поминать властелином не велено –
и не в обход, не в объезд, не в облёт,
прямо ступая на все на законы, на
правила и предписанья драконовы,
как за действительно братство
и равенство,
меч обнажившей, ей и полагается,
может, единственный, что не достало, не
принакрыло, оставило вне
облака чадной удушливой одури,
не закружила всеобщая, па-
рализовавшая органы речи у
всех поголовно постыдная паника! –
кованым сталью, калившимся пламенем
вне себе равных по ожесточению
за её честное счастье боёв,
ленинцам, большевикам твердокаменным
не из-под сталинской палки казённые
тех аллилуйщиков вопли, не-
сущий вам за всё, что смели, за под-
виги ваши, герои казнённые –
светлую, светлую, добрую, добрую
до поколения,
чтобы по правде, по чести, по совести
делалось дело, советчицу вещую,
долгую, долгую,
словно тропа,
та, по которой, испытанно-правильной,
незаблудившееся человечество
шествовать будет, пойдёт и пойдёт –
не позабывшей вас Матери-Родины,
слушайте! Слушайте! Слушайте тот
голос России, единственно подлинный,
не подставной, незапроданно-нанятый,
доблести павших достойную память вам
вечную, вечную, веч-
ную память вам ветер поёт!

13

Смотри, несёт
тебе осиновый
колок история –
сам цвет, сам сок!

Тому удавочку,
здесь, видно, яд –
на Петропалочку
глядят, глядят.

Хоть и не убрано,
денёчек праздничный.
Год из годов.
Сверхвождь кверх задницей
внезапно дуба и
готов, готов.
С башкою под столом.
Дошёл, дожил!
А вдруг к апостолам
примкнуть решил?
И кодла первая,
травитель ран –
восторг, феерия! –
сюда бы с камеркой! –
всё б на экран,
только единый из
синклита целого
тех, что и сами-то –
готовых в обморок
у тела бренного
свалиться замертво! –
какой титан! –
не оробел он, а
для наивысших той
поры сановников
он виртуозно – на
вот! – исполнивши
коронный номер свой
пред потрясённых,
что вряд ли верили
своим глазам они,
взирая, глядючи

как один из ряда их
внезапно вышел и –
до правды рьян! –
прямо пишите с не-
го картиночку, ле-
пите, слово есть
всем жанрам, хроники
строчите, повести, сти-
хи, роман
творите, стряпайте,
пока ж простите, что
я дерзаю, ибо
лишь в слабой мере и
на пределе моих возможностей
то передам:
не просто пошлая
то фанаберия,
буквально пе-
ременившийся,
созрев для подвига –
конец пирам
и диким оргиям! –
длань лапу поднял он,
жест Брута делая
над батей родненьким
и патетически –
Мёртв! – крикнул Берия –
Тиран! Тиран!

На спинку надо бы.
Сомнений нет уже!
Но вдруг назад!
Как диких фетиши,
как танки надолбы
шугнул их встретивший
стеклянный взгляд!

Цирк! Но смеяться мне
охоты нет!
На днях по рации –
что это, бред? –
ему овации,
салют! Привет
ему! Ведь надо же?
Вдруг слышим в день
Победы ладушки,
аплодисьмень!
Что, мол, греховного
не больно жаркими
почтить – в связи
с деньком! – верховного
зловеще каркнули,
как будто вороны,
и тут вблизи
юнцов в их сторону
преступно харкнули
с кровкой в слези.
Слыхал, как детушки,
слезой журча,
плетут о жертвочке
вруля Хрущя?
Чтить ту правлению
и, не скользя,
быть верным Ленину
зараз нельзя!
Рукопожатьица!
Давай ещё
разок оглянемся
через плечо!
Пора не дальняя –
с приятцей взглянь!
Тирана Сталина
окровавлянь!

Как все орудия
плюс авиация –
заглушит всё! –
гремит овация,
ему салютуя –
вопя, за здравствие
превознося.
Теперь со знаменем
и сами – хитрые! –
клешнёй по клин:
столицу Гитлера,
тот город взяли мы –
под нашим знаменем
Берлин, Берлин!

Заводы, прерии!
Чего тут нет!
А вот и Берия: –
Привет, привет!
У носа прыщики –
Лаврентий наш.
Кругом все сыщики!
Готовит план.
Кишки почистить бы,
не ждя беды!
Все сионисты вы,

жиды, жиды!
Скрипач молоденький,
лунь терапевт,
в аптеках тётеньки –
для вас проект.

Под автоматами
в пинковый ваш
солёноматерный
голгофный марш.
Ножным поклоном
вечор встречай
полупокойников,
Печёрский край.

Его ведь миссия
сегодня высшая!
На этом поприще
чрез всё пройдя
с подобьем опричи –
всем своим воинством
он занят поиском
врагов вождя!
К тому не близкая,
Феликсов меч
схватила склизкая
бесчеловечь!
Где рядом львиные,
в той волосье
лицо змеиное
в пенсне, в пенсне.
Патретик Сталина
с его груди
зрачки уставил он
глядит, глядит.
Приказ великого
с его опричь: –
Что разум – выполоть!
Что честь – состричь!
Чтоб ни замыслили –
не дай созреть!
Разведай, выследи
и обезвредь!
Глуши заранее
любой подвох
всех, чьё желание –
чтоб он подох!
И чуть не с тросточкой: –
Не я бурлак!
Любой, так просто всё,
мгновенно – враг!
Не даст про Троцкого,
прервёт, дурак!
Про затуханьице
слова запри!
За них: – В бухаринцев!
Взвод – залпом! Пли!
Сыны попрятались,
хватай внучат!
Малютскуратовцы
стучат, стучат.

Виват! Да здравствует
Бурбонов лилия,
двуглавь Романовых!..

В канун империи,
на уж, душа,
от суки Берии
ура, ура.
Он гордость партии! –
о бонапартии –
он твёрдость линии! –
о муссолинии,
по неприличь:
при общем мнении –
своё не тычь! –
вторичный Ленин он,
Ильич, Ильич!

Закавказскому сычу,
мало без пятнадцати,
часом прежде, как речу
он зачнёт, уж я молчу,
таковы овации.

Ведь не из ряжеских
студёных вод
в кольчуге кряжистый
к нам вышел вождь.
Сплошь голоштанные
с дедов до чад: –
Свои всё пропили! –
кричат, кричат.
Что не поломано,
начав с колёс?
Шваль бессоломная,
а не колхоз.
Уста соколиков!
Глаза слезя: –

Сбрось алкоголиков!
Сядь во князья!

И для порядочка
заняв престол,
сел иноземочка
к нам за престол.
Что так царевича
возводит Русь,
на кочку зрения
брехать боюсь.
Вот морда! Правильно! –
иной саднёт, –
По слову Сталина
трудись, народ!
Хоть лишь и стоите
горчичных клизм,
всё ж, гады, строите
социализм!

Холопьей милости –
всё за синь съем! –
не вырос, вылез и
встал надо всем.
Всё неприличие,
всё золотей
его величие –
вождёк вождей.

Мат двуязыковый:
курок взводя,
Серго великого
хлестал вождя.
Одни предатели.
Вот, прямо страх,
фашист по матери,
враг Мандельштам.
Каб не ослабили
и ждут свой день
за ним все Бабели,
Бруно – Есень.

Не уколоться бы.
Растёт тоска...

Манёвры, марши те –
в руках войска! –
а вдруг и маршалы –
сосёт тоска.
Тревожно с подлыми,
готовьте лоб
за Омск, за Западный,
за Перекоп!
Глотай, коварные,
свинец в упор!
За командармами
бриг, див, ком, кор.

ПОДРАЖАНИЕ ПЕСНЕ

Стоим на страже
и если да-
же нас та же
возьмёт беда
и там, где ляжем
да, да, да, да
стоим на страже
всегда, всегда.

Левой, правой, левой, правой!
Через горы и леса!
Став бескровой и безглавой,
Красна Армия-краса.
На погибель не со славой,
если бы не чудеса.

А вскоре в панике –
взрывай мосты! –
Гудерианики
у врат Москвы.
Мильоны падали,
чьё имя труженик,
превыше всех,
с дерьмооружием,
с гавнокомандованьем –
без них, без тех!
При, враг, скореича
за кровь, что пролили,
других уча!
Вот как без Блюхера,
без Уборевича,
без Тухача!
Им отсалютует
дульё карателей!
Без прочих почестей,
что им положены
и так заслужены.
И вы лишь, может быть,
в соседних камерах
того же ждущие,

когда на смерть
под пули Сталина
его опричники
из лучших лучших ведь
вели товарищей
вы полушёпотом
и то приглушенным,
с рыданьем сравненным,
в последний крестный их
путь провожали вы –
прощай, любимые!
Те легендарные!
Не вспыхнут более
при вашем имени
подростки, бредючи
о ваших подвигах.
Свинцом подкошен
цвет революции –
орлы октябрьской,
гражданской соколы.

Грохочут выстрелы
в затылок – темя.
Што вам деникинцы,
иль што под Врангелем
бьют красных белые,
ишь как стараются!
И ясно, иначе
как станешь действовать,
когда такие на-
грады, премии,
пайки чекистские
за это самое
им полагаются!
Ребята славные!
Лихие, хваткие!
Франты и щёголи,
как говорится, по
завязку сытые!

Но дело Ленина,
плывя в крови,
недорасстреляно –
живи, живи!

14

До времени то неплохо.
Как во время всё учли,
гнуснейшая, взвой, Голгофа,
тварь сталинская: – Ушли!

На нас прицеленный,
мигнул глазок,
сейчас проверят нас,
ещё разок.

Зарыли правильно,
чтоб черви выели

Глаза, как Виевы,
хотят открыть
гляделки Сталины...

Вредительски сбитый, рассыпался гроб.
На башне пропели куранты
и он уж синхронно: – Коп-коп-коп, коп-коп.
Уж роется, гад аккуратный!
И вдруг закрылатит таинственный слух,
что тоже смотры и парады
ночные удумал устраивать. Ух!
И материал для баллады!
Всегда-то про них пакость сделать зачин,
а тут ведь сугубо какой не-
приятель из шляющихся в ночи
покойничков из беспокойных.
Есть жуткое место у Красной стены.
А там тот бугор, там плита та –
под ней разложившийся труп сатаны
воняет! – почти император.
Карабкается на свободу, подлец!
Из потустороннего мрака
лишь как бы, а там и полез, и полез
в генсеки – такая собака!
Потом с дезинфекцией надо туда,
такая в безлунную полночь
на свой шабашок над могилой Джуга-
швили стекается сволочь.
И – то, что уже ожидали давно! –
кряхтя, вроде древнего зиса
застрявшего, сам их верховный главно-
командующий завозился.
Безумство любви, коли речь о тоске,
что всё ещё план сочиняет
как к доброму духу – нечистого ске-
лет, оголённый червями.

15

Не во всяком приятно копаться.
Но её – ни сурьмя, ни беля! –
монастырской беру и кабацкой,

и в любом, и совсем без белья.
Зубоскаля при пытке, при порке
насмехаясь над палачом,
то святая София, то оргий
королева – ей всё нипочём!
Как ничто ей разгульные ночи,
распрямляется, как ни пригнём!
Поднимает лазурные очи
зажигающим душу огнём.
До помиг будь свята её воля!
Чуть чего – обнажаем мечи
и, ура то истошное воя,
жмём из друга: – Громче кричи!
За неё, разумеется, стоит
что на Марс, в тартары улететь,
а под кем её страстные стоны –
то её, брат, суверенитет.
Не до смеха порою наивна!
Горький юмор вопрос о цене
сутенёров, смакующих вина,
демиургов, припёртых к стене.
А землица окурка не весит,
урна с прахом когда не пуста –
затвори, как Христова невеста
навсегда эти, курва, уста!
И, ревниво за ней наблюдая,
в полумраке – через, из щели
не молю: – Без конца молодая,
видно, знаешь секрет – исцели!
Что во тьме стовекового рабства
пот свой с кровью струила, ура-
ганная, также прекрасна,
меч взметнув, зашагавшая как сво-
бода ты Делакруа.
А, пожалуй, и кончим про это!
Только муть лишь на дне взболтани
и, за полночь, а то до рассвета
хватит русской душе болтовни.
Пусть не слышит моё кукованье
монолитно-глухая скала,
не скажу, что одни рукава мне
от жилетки Россия дала.
И прошу, дорогая, прости мне,
если что где не этак сказал,
он меня равнодушьем к России,
слава господу, не наказал!

16

Не зря вы вещие,
недаром громкие!
Будто могучего
стотонким молота
к железу гулкому
его кующие
прикосновения!
Под вьюжной несвитлью
того проулочка
с красногвардейцами,
через бушующий
буран идущими,
совсем тупеющим
от злобы недругом
к чертям и демонам
уже бессчётно пе-
реадресованы –
в другую сторону,
не спотыкаясь,
одною явною,
другой незримою
рукой нацелены –
не заплутаются! –
не за
штампованным
сусальным золотом,
во всём их истине –
за коммунистами! –
идут, шагают за
Христом и Лениным!
И вот оттуда то!
От них! От имени
его апостолов
в шинельках продранных!
В края земные
и –
на всю вселенную! –
вдали и около
предельно слышимо
над морем, сушею,
горьём, пустынею –
как будто словно
у-
даря в колокол

великим мастером! –
что вдохновением
отлитый, бронзовый
шедевр гармонии,
великопраздничный
свой гул торжественный,
как говорили де-
ды малиновый –
не зря ликующий! –
трезвон вознёсшие
былым, кто ныне есть –
до отдалённейших!
Потомкам будущим!
Всем, всем, всем они
заблаговестили
над уж занявшимся
в огромном городе
Петра Великого –
не чьи-то, Блоковы,
его поэтовы! –
слова про то, как
мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем!

МАРСЕЛЬЕЗА

Слова прекрасные,
так ёмко точные –
и, соответственно
вернейшей истине! –
как раз всё то: –
Эй, сталинистики!
Пред и заглазные
друзья-поклонники
его умильные!
Сидите смирные!
Ведь дружба дружбою,
а вот итог
того, как мыслим и
всего, что чувствуем,
всё очень ясно, э-
то чётко видя о
чём вы грезите,
куда вы клоните! –
с тем несогласные
его противники –
и мы при надобе,
коль если вынудят,
в урочный срок
и, взяв оружие,
над баррикадами
из Марсельезы те
взметнём про то, что и
на ноготок
мизинца детского –
совсем, ничуть нам не
нужно златого кумира,
ненавистен нам царский чертог.
Где монархи – ух, выглядят мило! –
от любого ничуть не отре-
чёмся – его величество! – мы на
смёртном, не сплюнув, одре.
Закрасневшее, если железо
недоковано, лязгнет ещё: –
Надо! – вновь на ремень, Марсельеза!
Интернационал на плечо!
Окровавленный и опалённый,
что восставшая совесть берёт
выше флаг, шагом марш, батальоны,
марш вперёд! Марш вперёд, марш вперёд!
Сколь прекрасно мгновение это –
уж простите! – пускай запоёт
подменяющий врио поэта –
сам он лично с винтовкой пойдёт!
Нашу нам, властоманы, заботу
пусть оставят, для этого мы
в смертный наш, что – стреляют свободу! –
бой за жизнь не под сводом тюрьмы.
Что, как боеприпасы, готова
на тернистом, в их даль без оков
на пути, сколько надо, кто, кто, а
коммунисты прольют свою кровь.

Как лавина при горном обвале,
та, что всё сокрушая, растёт –
рухнув мёртвыми, но не рабами! –
похороним мы новых господ.
И, хотя не додышим, отрадно –
пусть последнюю банду кося! –
по запевшим: – Да здравствует правда! –
зашагают – по нашим костям!

Что они! Мы – понявши
всё – не сброд мы!
Так смело!
Всё семейство, весь род!
Смело, братья,
с интерна-
ционалом вперёд!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
НЕТЛЕНЕН БУДЬ ЛЕНИН, ЕЁ ВОЗГЛАВИВШИЙ!
НАРОД, СОВЕРШИВШИЙ ТАКУЮ, СЛАВЬСЯ!
ЛУЧИСЬ, НАША КРАСНАЯ ПРАВДА – ЗВЕЗДА!

17

Чернотищей флага у-
венчанная мачта.
Парусьё! Сигнала ждут,
чтобы... а пока что –
прибауточки пою! –
ибо вот ведь что я
предвкушаю, мать твою
и любую кроя,
что за явно не по у-
му их дело взявшись, ну
и садят, содят –
не заглядывая! Труд
непосильный, что ро-
няет их под юбь,
то и ладно – сорят!
Жизни, так сказать, дают!

А за что других корю,
также с мукой, стона
не держащей, сам свою
никудыть – негодь творю,
созидаю всё я, где отбросы –
на краю! – стоя, стоя, стоя.
Жребий мой на сей скале!
После упражнений
я готов, готов я ле-
теть в ту тьму вверх женей.

Что она, примерно, слаб –
свыше сил горячая! –
но, какая б ни была б,
загнанная кляча я –
на последнем рубеже –
всё же не без грусти
крикну вам: – Прощайте же!
Куры, утки, гуси!

Собираюсь! Уж пора!
Ну, им больше смысла –
ждать, чтоб эта мушкара
заживо бы сгрызла!
Просто то! Кому везёт: –
Господи, пошли вам
становиться всё и всё
более – счастливым!
Хоть и так супец хорош –
можно ко приправе! –
на остатный полугрош
только что ж прибавить!
Да! Кто примет это за
зубоскальство: али
не разинули глаза?..
Нечего мне скалить!

Публикация Алексея Голицына

Юлия ЩЕРБИНИНА

«Просто найдись...»

Характерной чертой литературы новейшего времени можно считать попытку многих современных авторов отрефлексировать речевую реальность: описать непосредственно происходящие в ней коммуникативные процессы и осмыслить уже свершившиеся факты языкового опыта.

Как в литературном произведении осуществляется рефлексия языковой действительности? Возможно ли описание явлений речи и феноменов языка в системе образных средств и литературных приемов? Каким образом на отдельном историческом срезе идеи художественных текстов пересекаются с концепциями научных – лингвофилософских, лингвистических, речеведческих – исследований? Назовем хотя бы нескольких зарубежных авторов, «заинтересованных» этими вопросами: Луиса Борхеса («Вавилонская библиотека» и др.), Милорада Павича («Хазарский словарь»), Паскаля Киньяра («Записки на табличках Апронении Авиции. Дневник патрицианки»), Патрика Зюскинда («Amnesie in litteris») и др.

В настоящей статье мы попытаемся обратиться к некоторым из опытов отечественной словесности.

Роман Дмитрия Быкова «Орфография» уже сам по себе может рассматриваться как метафора рефлексии языковой реальности средствами художественного творчества. Одну из центральных задач этого произведения можно сформулировать почти глобально: как отражение представлений национального менталитета в феноменах родного языка. Так, с одной стороны, автором наблюдаются «и в орфографии, и в управлении обществом – страшные наслоения ненужных условностей, века рабства, триумф муштры, тупой силы...». В этом отношении реформа правописания воспринимается как культурное преобразование и определяется одним из персонажей романа, Льговским, как возврат «свободы букве».

С другой стороны, так же и анархия в системе языка – прямейшим образом соотносится с анархией в реальной действительности. Причем не что-то одно влияет на что-то другое, но оба процесса характеризуются взаимопроникающей силой. Мало того: и одна, и другая стороны выступают у Быкова как две амбивалентные части общей правды о нас самих – людях прошлого и людях настоящего. Подобно тому, как враждующие в романе Елагинская и Крестовская коммуны на самом деле оказываются соединены общим подземным ходом. Подобно тому, как милый мальчик Петечка оборачивается «одновременно жалобным и безжалостным нелюдем». Победителем и, одновременно, побежденным в этой борьбе будет тот, «кто ограничен наименьшим числом условностей». Ятю, главному герою романа, удалось уехать именно потому, что удалось «не протянуть руки» своему «Петечке».

В «Орфографии» важна мысль о том, что цельность мира и устойчивость в нем человеческого существования отражены и – главное – прочно закреплены в ритуалах, важной частью которых является следование правилам правописания. Ритуальность альмеков (вымышленного автором народа), как «паутина сложнейших взаимодействий с миром», долгое время служила гарантом прочного существования альмекской цивилизации. Однако правила, как известно, создаются для того, чтобы их нарушать, а несовершенство любой человеческой общности – от огромной цивилизации до крохотной семьи – заключается в недостижимости идеала цельности и гармонии. Поэтому, по Быкову, «человек, отказавшийся соблюдать сложные ритуалы, обречен повиноваться простым». Так, быковские герои Барцев и Ашхарумова на всю жизнь оказываются прокляты невозможностью воссоединения из-за пренебрежения, напоминаем, к соединению частей подаренной им Ятем альмекской флейты, тогда как сам Ять «уходит, не успев обесцениться», и пусть частично, но сохраняет себя именно благодаря «любви к условностям и пленительным усложнениям жизни».

Другое следствие отмены орфографии – в распаде смысла слов и утрате ценности Слова: когда «слово размыто, оно больше не значит!» Ять замечает, как по воле реформаторов правописания «ставя “а„ вместо “о„», он нарушает «что-то в самой ткани мира». В этой связи вспоминается хрестоматийный пример с романом «Война и мир»: авторское написание «мiр» создавало многозначность интерпретации уже на уровне заглавия, утраченную после реформы орфографии 1917 года. Ужас и отчаяние семантического «распада» описаны автором «Орфографии» в мучениях Оскольцева, тоскливо наблюдающего, как «параллельно с разрушением тела идет разрушение сознания – гниение, зловоние, забвение слов...».

В романе Виктора Пелевина «Ампир В» развивается и разнообразно варьируется та же мысль: слова начинают выражать все что угодно, их смыслы бесконечно множатся, распадаются на осколки и тем самым постоянно ускользают от понимания. Однако именно смысловая пластичность и неуловимость сообщают словам особую энергию и созидательную силу: «Нам кажется, что слова отражают мир, в котором мы живем, но в действительности они его создают». В этой пелевинской сентенции, по сути, переосмыслена идея двух с половиной тысячелетней давности, сформулированная еще в знаменитой «Поэме» Парменида (переложение Секста Эмпирика): «Не речь служит представлением [parastatikos] внешнего мира, но внешний мир становится тем, что дает откровение [mênutikon] о речи». Выражаясь современным языком: не внешний мир создает дискурс, а сам мир создается дискурсом.

Открытие это предельно обнажило в XX столетии одну из главных трагедий Homo eloquens (Человека говорящего). «Новый век, – читаем в «Орфографии», – принес главный кошмар: что правда не одна»; более того – что «ни одно слово не лучше другого, ни одна правда не права». Таким образом, в новейшую эпоху вещи перестают быть самими собой, ибо, как справедливо рассуждает Д. Быков в своем романе, «отмена правописания превращает знакомое слово в незнакомое». Данное положение позволяет, в свою очередь, уже Виктору Пелевину в «Священной книге оборотня» сформулировать один из основных лингвофилософских парадоксов современности: «Никаких философских проблем нет, есть только анфилада лингвистических тупиков, вызванных неспособностью языка отразить Истину».

Кризис Вербальности – одно из центральных понятий романа Алексея Иванова «Блуда и МУДО» – абсолютно точно характеризует состояние современного языкового сознания и обобщает представление сложившейся речевой ситуации: «Слово потеряло способность становиться Делом, ... язык перестал быть транслятором ценностей. Остался просто средством коммуникации». Потеряв способность становиться Делом, Слово постепенно превратилось в средство внешнего самовыражения Человека говорящего. Язык из орудия общения превратился в орудие разобщения. Поэтому «теперь в каждой фразе приходилось искать подтекст, а для объяснения разговора требовался литературовед... Библейский дефолт... Слово обесценилось. На что оно нужно, если оно может обозначать все, что угодно?».

Аналогичный вопрос ставится и В. Пелевиным: «Зачем людям язык, если из-за него одни беды?» Сам же автор дает емкий и весьма точный ответ на поставленный вопрос: «...Во-первых, чтобы врать. Во-вторых, чтобы ранить друг друга шипами ядовитых слов. В-третьих, чтобы рассуждать о том, чего нет» («Священная книга оборотня»). По сути, в этом пелевинском утверждении последовательно поименованы основные деструктивные явления, расшатывающие и деформирующие кристаллическую решетку речевого пространства, приводящие дискурсивную реальность к состоянию дисгармонии: 1) ложь, 2) речевая агрессия, 3) словесное манипулирование. В романе «Ампир В» данная посылка развертывается в объяснении героем Локки смысла любого поединка: «Люди обмениваются острыми словами. Но эти слова ничего не весят. У человека во рту их много. Смысл поединка в том, чтобы придать словам дополнительный вес. Это может быть вес пули, лезвия или яда».

В «Блуде и МУДО» Алексей Иванов, помимо прочего, определяет понятие Кризиса Вербальности и как «одиночество, когда всегда сам напротив себя», суть которого заключается «в невозможности трансляции ценностей словом». Высвобождение смыслов привело к

такому способу коммуникации в сложившихся обстоятельствах, что стало необходимо «пристегивание ремнями перед взлетом в свободную беседу». Для объяснения одной из главных объективных причин Кризиса Вербальности и описания его основных механизмов писатель вводит в концепцию своего романа еще одно понятие – *Пиксельное Мышление*, определяемое как «механическое сложение картины мира из кусочков элементарного смысла». Это «мышление для бедных: максимум упрощения при минимуме объема знака».

В диалогах, размышлениях, поступках персонажей «Блуды» последовательно раскрываются и наглядно иллюстрируются сущностные признаки и свойства Пиксельного Мышления. Во-первых, это «отсутствие стимула увеличивать познания», поскольку «картинку, как в абстракционизме, можно сложить из любого количества пикселей, лишь бы их было больше одного». Например, на этом основании все действия и высказывания Костерыча, руководителя краеведческого кружка в МУДО, сводятся его коллегами, другими педагогами муниципального учреждения дополнительного образования (а именно так расшифровывается МУДО), к пикселю «краеведение».

Вторым признаком Пиксельного Мышления, по Иванову, является отсутствие перехода количества в качество, в результате чего, «складывая из пикселей картинку, на выходе все равно получаешь не картинку, а пиксель». Так, проститутка Аленушка в попытке понять поведение главного героя романа, художника Бориса Моржова, складывает его образ из следующих пикселей: «умно говорит», «носит очки», «отказывается от секса со мной». В результате Аленушка приходит к абсолютно несоответствующему действительности заключению, будто Моржов – гомосексуалист. Точно так же, старательно вычленяя и суммируя пиксели «мой первый», «непьющий», «веселый», «щедрый», «уважаемый», «работающий», Аленушка, как ей кажется, выводит из них образ «настоящего человека» Ленчика Каликина, а на самом деле создает новый пиксель, пиксель второго порядка, потому что механическая сумма, не отражая реального положения вещей, не создает и истинных представлений. Потому что к «мой первый» надо прибавить «который меня изнасиловал», к «непьющий» – «за свой счет»; «веселый» следует уточнить – «от удовольствия», «щедрый» – «когда подфартит»; «уважаемый» дополнить – «среди ублюдков», а «работающий» – «у сутенера».

Наконец, третьим свойством Пиксельного Мышления выступает «абсолютная уверенность в своей правоте», «презумпция собственной правоты». Яркая иллюстрация – рассуждения Алиски Питугиной, ставшей психологом после трехмесячных курсов в педтехникуме и претендующей в беседах с Моржовым на всезнание души человеческой.

В результате главный выразитель и проводник авторских идей в романе Моржов наблюдает, как «Кризис Вербальности лишил мир цели». А раз так, то «на хрена она нужна, если за нее можно выдать все что угодно?» Можно догадываться, что не в последнюю очередь поэтому не менее хлесткая в своих оценках современной речевой действительности героиня пелевинской «Священной книги оборотня», лисичка А Хули полагает, что «современный дискурс... давно пора забить осиновым колом назад в ту кокаиново-амфетаминовую задницу, которая его породила».

Таким образом, выходит следующее: бесконтрольное высвобождение смыслов, причем нередко – через изменение имен вещей, о правильности употребления которых, как известно, беспокоились еще древние со времен Платона, способствует обесцениванию и искажению речи и, как следствие, размножению лжи самого разного рода. Не случайно известный отечественный философ и лингвист А. А. Гусейнов определил ложь как «состояние сознания». В данном контексте нельзя не согласиться с утверждением В. Пелевина о том, что «слова подобны якорям – кажется, что они позволяют надежно укрепиться в истине. Но на деле они лишь держат ум в плену. Поэтому самые совершенные учения обходятся без слов и знаков» («Священная книга оборотня»). Почему – тоже объясняется в романе: «Так уж устроен язык. Это корень, из которого растет бесконечная человеческая глупость... Нельзя открыть рот и не ошибиться. Так что не стоит придираться к словам».

В книге А. Иванова «блуда» – это, собственно, и есть сама ложь в самых разнообраз-

ных ее проявлениях: в мыслях, в высказываниях, в поступках. Можно сказать, что, находясь в блуде, человек а) *блуждает* (т.е. безуспешно скитается в поисках хоть какого-то жизненного смысла); б) *блудит* (т.е. неизбежно грешит – телесно, словесно и мысленно); в) *заблуждается* (т.е. постоянно ошибается как в словах, так и в действиях). При этом обнаруживается следующий парадокс: расшатывание семантического каркаса слов приводит высказывание к двусмысленности, а саму языковую реальность – к своеобразному удвоению. Следствием этого и является неизбежность попадания наших повседневных суждений во власть всевозможных заблуждений, штампов сознания и стереотипов восприятия действительности. Слово оказывается незаметно помещенным в прокрустово ложе лжи...

Мартин Хайдеггер («О сущности истины») именно так и определяет «не-истину» – как «блуждание», являющееся постоянным и неотъемлемым бытийным состоянием человека. «Блуждание, – пишет Хайдеггер, – это сфера действия того круговорота, в котором ин-зистентная эк-зистенция, включаясь в круговорот, предает забвению и теряет себя... Блуждание – это открытое место и причина заблуждения. Заблуждение – это не отдельная ошибка, а господство истории сложных, запутанных способов процесса блуждания...» Эти «способы блуждания», на наш взгляд, очень точно определены и системно раскрыты в идейных концептах романа Алексея Иванова: ДП («Дешевое Порно»), ОПГ («Охват Поля Гибкости»), ТТУ («Титанический Точечный Удар»); а ряд конкретных «заблуждений» хорошо проиллюстрирован частными образами, например, ПВЦ («Призрак Великой Цели»). Писателем блестяще показано, как путь хайдеггеровского «блуждания» – этот, как мы бы его определили, *блудо-дискурс* – неизбежно приводит человека вначале к коммуникативному, а потом и к экзистенциальному тупику, пределу существования: на бытовом уровне – к ПНН («Проклятию Неискоренимой Непристойности»), на бытийном – к КВ («Кризису Вербальности»).

В результате на уровне социальном выстраивается следующая логическая цепочка: трансляция ложных ценностей – ложь в речи – распад смысла слова. «Когда номенклатура и быдло, палачи и жертвы, герои и предатели, поясняя свои деяния, произносят одни и те же слова, смысл вытекает из слов, как сырое яйцо из пробитой скорлупы. Попытка создать невербальное общество, где ценности транслируются через свое происхождение, через некую социальную генетику, провалилась», – справедливо указывает автор романа.

Для приближения к адекватному восприятию действительности и хотя бы самому общему пониманию мира, современному Человеку говорящему необходимо, как Моржову в финале «Блуды и МУДО», исчезнуть – то есть «выпасть» из самой системы пиксельного мышления, выпутаться из блудо-дискурса. Кажется: это же так просто! Но, увы... К сожалению, предложенное Алексеем Ивановым понятие «кризис вербальности», которое вполне может претендовать на роль полноценного лингвистического термина, осталось несправедливо незамеченным критикой о романе...

Другая, но тесно связанная с уже рассмотренными проблема существования Homo eloquens может быть сформулирована как проблема *ответственности* за сказанное / написанное слово. В связи с этим еще одним важным моментом, отражающим любые изменения в языке и преобразования в речи, является трансформация ценностей этического и прагматического – переосмысление оценки высказывания по критерию морали и по критерию выгоды.

В этом отношении моделируемая в романе Д. Быкова ситуация отмены орфографии как бы снимает с говорящего ответственность за сказанное (поскольку предполагает возможность разночтения, а следовательно, и многообразие истолкований), а у адресата – подрывает доверие к сказанному. Не случайно, убеждая Петечку в своей искренности, Ять приводит такой аргумент: «Как же ты мне не веришь? Вера пишется через меня, мне все обязаны верить». Утрачивается буква – утрачивается вера. Ять признается, что ему «грамотный человек приятней неграмотного. Он все-таки признает над собой законы». Вот так в мире разрушающихся слов грамотность приобретает статус критерия адекватности языковой личности, а иногда даже иллюзией человеческой нравственности. В подобном контексте утрата орфографии сим-

волизирует установление вседозволенности, а двойная фамилия героя быковского романа Изборский-Извольский намекает на избирательность, обернувшуюся произволом. И неожиданно оказывается: все, чем так дорожили, за что боролись, чему доверяли – заключено лишь «в бессмысленных условностях, по которым только и узнаешь своего».

Действительно, многое изменилось в мире с эпохи Квинтилиана, полагавшего, что «плохой человек не может быть хорошим оратором». В XX веке об этой ценностной трансформации удачно высказался Джон Фаулз в романе «Волхв»: «Современный человек в равной степени устал от белых таинств и черных святотатств, от высоких парений и вонючих испарений – спасение заключалось не в них... Слова утратили власть над добром и злом».

В сюжетном плане и системе образов как «Ампира В» Пелевина, так и «Орфографии» Быкова процесс искажения, выворачивания, деформации речевого пространства отражается также в бесконечном варьировании мотива *оборотничества* (маски, личины), существенно усилившего, а в ряде текстов сменившего излюбленный классиками мотив *двойничества*. Главным героем «Повести о настоящем сверхчеловеке» (подзаголовок «Ампира») становится Рома Шторкин – вампир-оборотень, владеющий языком как особым органом и тайным ключом к пониманию всего происходящего вокруг. Более того, на вопрос главного героя о том, «как сформулировать центральную идеологему дискурса», в романе дается однозначный и даже однословный ответ: «Переодевание»... При этом «переодевание и маскировка – не только технология, но и единственное реальное содержание гламура. И дискурса тоже».

Оборотничество – и в «текучей протеичности» Ашхарумовой с ее разнообразием походок-голосов, и в постоянной изменчивость Тани – героинь быковской «Орфографии». Оборотничество – и в ряженых, но понятных крестовцах, и во вполне настоящих, но совершенно непонятных «темных» на улицах изображаемого в романе революционного Петрограда. Оно же – в двоящихся образах Ловецкого-Арбузьева и Краминова-Гувера.

Трагизм подобного вынужденного оборотничества – как невозможность взаимоузнавания и воссоединения Людей Говорящих – наиболее ярко показан в отношениях Ятя и Тани: «Проходя весь круг оборотничества, он носится за ней в безвыходном отчаянии, но тщетно: всякий раз в цепи превращений она опережает его на шаг». Цель же такого оборотничества – мимикрия мысли и мимикрия речи во спасение души – очень точно сформулирована устами другого быковского персонажа, Маринелли: «Кончились времена, когда каждый был кто-то. Сегодня, если жить хочешь, утром надо быть одним, вечером другим, а ночью чтоб вообще тебя не видно...».

В этом утверждении раскрывается, кстати, оборотная сторона *гламура* – феномена пока еще весьма слабо отрефлексированного в языковом и – шире – культурном общественном сознании. И, пожалуй, первая наиболее последовательная попытка сделать это средствами художественной литературы предпринимается Виктором Пелевиным в романе «Ампир В», где в образной форме дается популярное пояснение и устанавливается связь понятий «гламур» и «дискурс».

Так, поначалу главный герой Рома воспринимает дискурс как «что-то умное и непонятное», а гламур – как «что-то шикарное и дорогое». В этом смысле, вероятно, можно применить к пелевинскому слиянию этих слов – «гламуродискурсу» – известное определение «светский треп». Однако авторская концепция целиком строится на том, что «гламур и дискурс на самом деле одно и то же» – то есть понятия не просто соединяемые, а взаимозаменяемые и абсолютно тождественные. Тогда в предложенном определении возникает прогнозируемая хитрым автором нестыковочка: светским может быть не только треп, а треп может быть не только светским. Поэтому далее понятие гламура трактуется через этимологию, причем, как несложно заметить, автор делает это намеренно спекулятивно. Например, слово «гламур» возводится к шотландскому «колдовство» и – путем фонетического искажения – к «грамматике». Слово «дискурс» сначала вроде бы верно поясняется через латинское «бег туда-сюда». Но затем, отталкиваясь от отрицательного значения частицы «dis» автор

производит заведомо неверную смысловую контаминацию, в результате чего получает: «дискурс – это запрещение бегства». Откуда? Из паутины окружающей действительности, состоящих из глянцевых фотографий и сопровождающих их комментариев. Почему? Потому что «язык – это второй центр личности, главный. Он и делает тебя вампиром... Это другое живое существо. Высшей природы».

Далее, в ряде авторских умозаключений дискурс то рассматривается как непосредственный продукт речемышления («...Надо держать под надзором человеческое мышление, то есть контролировать дискурс»), то сводится к жизненному опыту, объективным событиям и субъективным переживаниям («глотая из пробирок дискурсы» разных людей, вампир Рома узнает факты их биографий). Заметим, что в строго научном отношении и то, и другое в корне неверно, а разного рода авторские подтаскивания смыслов и подмены понятий можно, вероятно, объяснить словами наставления Чапаева Петьке из пелевинского же романа «Чапаев и Пустота»: «Где бы ты ни оказался, живи по законам того мира, в который ты попал, и используй сами эти законы, чтобы освободиться от них».

Идейно-смысловая спекуляция возможна, оправдана и даже необходима, по Пелевину, еще и потому, что правда как о Гламуре, так и о Дискурсе – одна и сводится в целом к следующему: «Шаг в сторону от секретного национального гештальта, и эта страна тебя отымеет. Теорема, которую доказывает каждая отслеженная до конца судьба, сколько ни накидывай гламурных покрывал на ежедневный праздник жизни» («Священная книга оборотня». Ср. со словами Моржова из «Блуды»: «Забыли, в какой стране живете?! Шаг в сторону – и пиздец!»).

Наконец, по мнению автора «Ампира», существует ряд понятий (Бог, Вселенная, Мироздание и т.п.), помыслить и словесно выразить которые представляется попросту невозможным – только назвать. В этом случае откровенно и воистину по-постмодернистски издеваясь над традициями русской классики, Пелевин использует более простой, но не менее спекулятивный прием уничижительного занижения смысла. Например: «Когда человек... начинает размышлять о Боге, источнике мира и его смысле, он становится похож на обезьяну в маршальском кителе, которая скачет по цирковой арене, сверкая голым задом».

Объединяющим все прочие позиции представляется следующее суждение пелевинского героя: «Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то вроде изысканного футляра... А гламур вдыхает в дискурс жизненную силу и не дает ему усохнуть... Гламур – это дискурс тела, а дискурс – это гламур духа. На стыке этих понятий возникает вся современная культура». При попытке самостоятельно редуцировать теорию Пелевина и свести ее к какому-то пикселю по системе Иванова, у читателя должно получиться нечто вроде такого: одни люди умело используют гламуродискурс с целью незаметного изъятия денежных средств у других людей.

Не случайно в последнее время многими современными специалистами в области лингво-культурологии и лингво-философии фиксируются особые качественные изменения дискурсивной реальности. Так, Ролан Барт обосновал уже устоявшееся положение о том, что «всеобщим для нашей культуры является только потребление, но не производство»; а Норман Фэрклоу проанализировал новый вид «маркетизации» – «превращение общественно-публичного дискурса в дискурс рынка» и вывел новый тип дискурса – consumer culture discourse (дискурс потребительской культуры).

Итак, гламуродискурс внешне комфортен и интеллигентен, реально же – экспансивен и жесток. В феноменологии речи ему в той или иной степени соответствует, на наш взгляд, понятие «языковое насилие» – в виде кричащего рекламного слогана, призывной надписи на фирменной этикетке, насаждаемой моде на отдельные слова и выражения. Это тот самый Грядущий Хам, которого так боялся еще Дмитрий Мережковский. Видимость – *гламурье* (ср. «лукоморье»), сущность же – *гламурьё* (ср. «хамьё»).

В романе Д. Быкова раскрываются основные черты и обозначается главный вектор эпохи Грядущего Хама: когда «город полон хамов»; когда «все было и смешно, и мило, и на первый взгляд гуманно, и притом так не-

возможно глупо и самодовольно»; когда на смену одному «жОлтому чорту» приходит легион «чертей лиловых»; когда «одна пошлость сменяет другую, зло побеждается только еще большим злом». Показательно, что и сама реформа орфографии определяется автором как «хамская». Писатель показывает, как победившая «хамская власть» уступает дорогу «ликующему хамью», делая «невежду героем эпохи», а новояз – его речью, в которой «каждое слово было по-своему забавно, чем посильно преодолевалась омерзительность называемого, но не скрадывалось хамоватой простоты называющего». Так классический тип «лишнего человека» трансформируется в семиотический образ «лишней буквы».

Отсюда – прием овеществления людей и, напротив, очеловечивания предметов, блестяще реализованный в быковском романе и притом оправданный самим предметом изображения. «Орфография» изобилует метафорами, вроде: «Поезд тронулся, но с него еще опадали последние уцепившиеся», «Трубы проголосовали, дома не возражали, азбука покорно сдалась на растерзание, книги прыгнули в огонь». Автор постоянно овеществляет, опредмечивает, овнешняет своих персонажей, помещая их буквами – в алфавит, пунктами – в разные списки и перечни, опадающими листьями – в водоворот глобальных событий, безделушками – на полки антикварной лавки Клингенмайера. В языке романа глаголы действия явно преобладают над глаголами мысли-чувства, а в его содержании теоретические рассуждения персонажей доминируют над рефлексивностью.

Перед нами наглядный пример того, как частный художественный прием успешно работает на раскрытие общей концепции произведения и, одновременно, на рефлексию дискурсивной реальности. Вне установленных правил, вне системы языка люди-знаки Быкова оказываются в ситуации безграничной свободы, но свобода эта – внешняя, формальная, заключающаяся преимущественно в «движении не вглубь, а вширь» культурно-речевого пространства. Рациональные обоснования этого обнаруживаются еще в самом начале книги («Непрерывные разъезды, вереница экзотических впечатлений и знакомств – все было следствием отроческого, так и не преодоленного ужаса перед самой идеей внезапного и бесследного исчезновения») и подтверждаются в ее финале («Страна находилась в беспрерывном движении, превратившись в одну громадную секту ходунов»).

Особый концептуальный смысл в реализацию данного приема вкладывает автор романа «Блуда и МУДО». Его художник Борис Моржов, в силу профессии и по складу характера, мыслит и измеряет реальность емкостями и объемами: от оценки разглядываемых в бинокль ландшафтов провинциального города Ковязина и создания именуемых у него «пластинами» плоскостных изображений – до описания женских форм. Розка – «амфора», Милена – «фужер», Аленушка – «кувшин». Однако во внешней деятельности Моржова – преимущественно «емкости без смысла», потому что для жизни в пиксельном мире «глубины не надо». Потому что «в глубине и больно, и стыдно, и непристойно».

Так Иванов раскрывает истоки одного из главных страхов Homo eloquens новейшего времени, а Быков показывает основную трагедию – «трагедию бесследного исчезновения», которая «соизмерима с величием самого феномена человека, и ни одна другая не достойна нас». В этой своей речевой и бытийной трагичности современный Человек говорящий походит на быковского Грэма – мастера «блестящих и темных импровизаций, смысл которых всегда ускользал, но детали были ослепительны».

Отсюда же – игровой, ернический, издевающийся над подобным «мастерством» лозунг из «Орфографии» («Глумкая плешть – истинная литература будущего»), и постоянный авторский стеб, порой в типично пелевинском духе. Таковы, например, «История Чихачевской мануфактуры» в исполнении Ловецкого; поддельные справки «от тов. Минкина» с печатью в виде склонившейся над книгой мыши; облагораживание русского языка «клекотом горного орла» Могришвили («дИкрет номер АдЫн»); возможные расшифровки аббревиатуры ЕПБХ. Почему? Зачем? Возможно, ответы на эти вопросы заключены в кредо того же Ловецкого, который решил, что «писать для народа в эпоху величайшего смешения стилей и языков только так и возможно – в конце кон-

цов, и серьезная литература уже была воплощением эклектики». Ирония, стеб, тщательное вышучивание становятся способами преодоления трагедии неизбежного исчезновения человека как языковой личности из-за невозможности выражения мысли словом, утраты способности Слова становиться Делом.

Не менее трагичным оказывается и само существование человека новейшего времени в деформированном речевом пространстве. В лингвофилософских работах последнего столетия нетрудно проследить развитие метафоры ущербности современного Человека говорящего. На эту тему рефлексировали и М. Бубер, и Г.-Г. Гадамер, и К.Г. Юнг, и Ж. Бодрийяр.

Так, Мартин Бубер рассуждает о «болезни, хромоте человеческой души» в трактате «Я и ты», а Ганс Георг Гадамер в работе «Актуальность прекрасного» вспоминает метафору «symbolon toy anthrōpoy» (греч. «символ человека») из знаменитой легендой Аристофана в диалоге Платона «Пир» – о людях, рассеченных богами надвое и потому находящихся в вечном поиске своей утраченной половины.

Логическим развертыванием метафоры «ущербности» Человека говорящего и «деформации» современного речевого пространства выступает как в науке, так и в искусстве представление о некоем вспомогательном, компенсирующем, поддерживающем средстве, воплощенном в образах «костылей», «подпороки», «протезов». Например, Жан Бодрийяр пишет: «Мы можем предположить, что очки или контактные линзы в один прекрасный день станут интегрированным протезом, который поглотит взгляд» («Прозрачность зла»).

Виктор Пелевин в «Священной книге оборотня», определяя естественный язык в его современном функционировании как «переносную флешку с личностью», «вместилище индивидуальности», тем самым ставит его в один ряд с компьютерными устройствами, гаджетами. А Моржов Алексея Иванова признается: «Я же весь картонный. На подпорках. Для социума у меня кодировка от алкоголизма, а для друзей – пластиковая карточка. Для врагов – пистолет, для баб – виагра. Сам по себе я ничто».

Помогут ли речевые «протезы», дискурсивные «гаджеты» современному человеку преодолеть Кризис Вербальности? Читаем прогноз К. Г. Юнга: «Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми «gadgets», естественно, производит впечатление, но лишь вначале, позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение...»

Получается, что язык перестает быть средством общения, но отражает разобщенность и определяет невозможность взаимопонимания людей. Распад мира слов и распад Человека говорящего воплощен Дмитрием Быковым в самой метафоре отмены орфографии: «...Вот отделились смыслы, вот ушло все, и... в одно отделение кладут пузырек с голосом, в другое – пузырек со слухом».

Таким образом, помимо всего прочего, мы можем наблюдать процесс трансформации в новейшую эпоху одной из основных функций языка – *функции осуществления коммуникации*. Развертывая рассуждения на эту тему в романе «Орфография», Д. Быков через своего героя Корнейчука указывает на то, что в период любых социо-культурных изменений и революционных потрясений «язык нам дан, чтобы скрывать свои мысли, каждый в одиночку переживает ужас». А. Иванов в «Блуде» замечает: «Язык обслуживает коммуникации. А какие коммуникации в разгар КВ? Не обмен ценностями, а товарообмен».

В романе «Блуда и МУДО» рассматриваются и конкретные качественные изменения, а точнее – деформации современного языкового сознания. Одна из таких деформаций весьма точно определяется писателем как «плебейски-брутальный способ наименования». Непосредственно в терминах лингвистики это явление можно описать как тотальное метонимическое усечение, редуцирование смыслового облика слова. Так, под обстрел авторской иронии попадают ставшие уже почти речевыми штампами выражения, вроде: «Если пистолет – значит ствол. Если вертолет – значит борт. Стадо – сто голов. Эскадрон – двести сабель. Взвод – тридцать штыков. В таком контексте совсем иначе воспринимались выражения типа «члены партии».

Уничижительному разбору в романе подвергаются также частотные в речевом употреблении последних лет примеры варваризации и калькирования, приводящие к расшатыванию синтаксической и искажению лексической систем родного языка. Ярким примером бездумного и бессмысленного употребления иноязычных заимствований можно считать речь владелицы гипермаркета «Анкор» Наташи де Горже, пародирующую жаргон маркетологов (ср. «гламуродискурс» у Пелевина): «Работая в формате жесткого дискаунтера, мы получили хороший экономический эффект, склоняя поставщиков к изменению закупочных процессов и ассортиментной матрицы на получение наименьшей закупочной цены. Нам интересно работать креативно, выстраивать новые логистические процессы и апробировать инновационные подходы в сегменте потребителей среднего уровня».

Помимо этого, Алексей Иванов иронизирует и над популярными, но неадекватными русской словообразовательной системе способами создания новых слов, типа «бутилированная вода»: «Нету в русском языке глагола «бутилировать». Есть выражение «разливать в бутылки». Но «разлить в бутылки» – это просто взять и разлить, а «бутилировать воду» – значит произвести над водой некое облагораживающее действо». По аналогии с подобными выражениями, Моржов изобретает словосочетание «штанировать задницу».

Герой пелевинского «Ампира В» тоже иронизирует над современной языковой реальностью, в частности, над модой на отдельные слова, однако идет обратным путем – не изобретая новые словосочетания по известным шаблонам, а расчленяя внутреннюю форму ставших особо популярными слов. Так, синоптик у него – это «составитель синопсисов», ксенофоб – «ненавистник Ксении Собчак», патриарх – «патриотический олигарх», инфант террибль – «ребенок, теребящий половые органы». Вершиной этой словесной игры становится Примадонна – «барственная дама, пропахшая сигаретами «Прима», в образе которой легко угадывается личность, известная практически любому россиянину.

Однако на этом Пелевин не останавливается – еще со времен «Чапаева и Пустоты» он иронизирует над само́й терминологией современных гуманитарных наук. Хорошим примером служит следующий диалог героев из этого романа: «– Я так считаю, что никакой субстанциональной двери нет, а есть совокупность пустотных по природе элементов восприятия. – Именно! – обрадованно сказал Сердюк... – Но раньше восьми я эту совокупность не отопру, – сказал охранник... – Почему? – спросил Сердюк... – Для тебя карма, для меня дхарма, а на самом деле один хрен. Пустота. Да и ее на самом деле нету».

В подобном лингвофилософском контексте и его развертывании на страницах современной российской прозы особую актуальность приобретает не только проблема ответственности, но и проблема *подлинности* Homo eloquens современной формации. Для выявления подлинности языковой личности каждый из авторов предлагает свою мерку. Так, Дмитрий Быков использует *логический* критерий: для его героя Ятя идеальным является такой знак, в котором означаемое полностью соответствует означающему. Делая главным персонажем своей «Повести о настоящем человеке» (подзаголовок «Ампира В») вампира-оборотня Рому Шторкина, Виктор Пелевин тем самым выдвигает *прагматический* критерий, согласно которому подлинной следует считать такую языковую личность, которая способна к преобразованию речевой действительности через гибкое варьирование коммуникативных стратегий, умелое словесное манипулирование, результатом которых становится эффективное влияние на другие языковые личности.

Самым же непосредственным и особым образом проблема человеческой подлинности в эпоху Кризиса Вербальности ставится в романе Алексея Иванова. Читателю романа становится вполне очевидно, что мир, измеряемый и осмысляемый с помощью пикселей, практически утратил сам эталон подлинности. Так, Лена дает Моржову весьма категоричную характеристику: «Ты ненастоящий». Однако, говоря «ты ненастоящий», героиня применяет сугубо субъективный критерий, исходит из собственной системы ценностей и оценок («пьющий» = «ненастоящий») и тем самым подходит к оценке подлинности формально, с позиции факта исполнения / неисполнения

данных обещаний, а конкретно – данного Лене и невыполненного Моржовым обещания бросить пить.

Неожиданное и бесследное для многих исчезновение Моржова в финале романа тоже, вроде бы, ставит под сомнение «подлинность» этого персонажа. Однако именно после исчезновения Моржова в окружавших его людей происходят некие преобразования и изменения. Таким образом, для оценки подлинности человеческого существования автором предлагается *онтологический* критерий, согласно которому получается, что в мире «маленьких людей с их ломкими скелетиками и хрупкими, стеклянными принципами» настоящим оказывается тот, «кто может поступить неправильно, если другим от этого по-настоящему станет лучше». В этом смысле Моржов – подлинный. Потому что смог оставить след в чужом сознании, заронить зерно сомнения, зажечь искру надежды. Потому что запечатлелся в памяти тех, кому помог делом (Розка, Сонечка) и на кого смог воздействовать словом (Милена, ребята-«упыри»). Совершая настоящие поступки, т.е. возвращая Слову утраченный статус Дела, Моржов не может больше оставаться в «пиксельном» мире, и потому, по авторскому замыслу, никуда не уезжает и ни от кого не прячется в финале романа – просто выпадает из системы «пиксельного» мира.

Обретая взыскуемые на протяжении всего повествования объем и аутентичность в иероглифе, нарисованном на снегу его другом Щекиным, Моржов как бы воплощает мечту быковского Ятя – восстановить полное знаковое тождество, соответствие означающего и означаемого. Подобно тому, как Щекин в финале «Блуды», мысленно прощаясь с исчезнувшим Моржовым, ждет встречи с ним в подлинном, «непиксельном» мире, главный герой «Орфографии» в одном из своих монологов прощается со всеми буквами русской азбуки, сохраняя надежду на восстановление гармонии мира как гармонии Слова – идеального речевого пространства.

Итак, подлинность – в словах, мыслях, поступках – становится единственным способом человека вообще, а Homo eloquens особенно, противостоять фатальному распаду и исчезновению. В финале «Блуды» эта идея звучит особенно отчетливо. Снег растает – нарисованный Щекиным иероглиф исчезнет. Невозможность жить в мире, отформатированном по принципам Пиксельного мышления, делает Моржова невозвращенцем, но его помнят, его любят, о нем тоскуют те, кто остался. Именно их просьба адресована Моржову в финале романа: «Просто найдись...»

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Топос, хронос и другие

Тихоокеанский альманах «Рубеж», 2008, №8 (870) Александр Лобычев. На краю русской речи: Статьи, рецензии, эссе. – Владивосток: Альманах Рубеж, 2007

Откроем толковый словарь русского языка, ну, например, Ушакова: «РУБЕ'Ж, а́, м. 1. Граница, разграничительная черта, линия. *На рубеже соседних владений...* 2. Предел, грань (книжн.). *На рубеже двух эпох, двух веков...*». Любое из значений вполне характеризует это добротное издание, занимающееся отнюдь не обслуживанием местного цеха литераторов. Двойная нумерация – альманах по счету одновременно и 8-й и 870 (последняя цифра говорит об исторической преемственности еженедельному журналу «Рубеж», выходившему до августа 1945 года в Харбине), – под которой на обложке удачно расположилась раскручивающаяся спираль раковины, опять-таки напоминающая фрагмент восьмерки, прекрасная полиграфия сразу внушают уважение. Однако «Рубеж» хорош не только солидным видом, но и внушительным содержанием. С самого первого заявления, анонса двенадцатитомной Антологии литературы Дальнего Востока, ясно, что задачи альманах, равно как и одноименное издательство, ставит большие, но судя по всему посильные. В самом деле, редкий литературный журнал может похвастать обилием таких имен среди авторов одного только номера. А в этом, последнем на момент написания рецензии, напечатаны главы из нового романа Андрея Битова «Преподаватель симметрии», стихи и проза Юрия Кабанкова, Бориса Каза-

нова, Владимира Илюшина и других важных для дальневосточного края литераторов, замечательная подборка поэтов «Московского времени», новеллы Вечеслава Казакевича. Обширный раздел отведен под материалы об авторах еще харбинского «Рубежа», воспоминания и литературоведческие изыскания, письма.

Вообще альманах плотно сбит и, что называется, ладно скроен, рубрики и публикации образуют единое культурное пространство, топос и хронос которого преимущественно привязаны к Востоку вообще и Владивостоку в частности. И хотя в недавнем обсуждении литературных событий и тенденций 2008 года, опубликованном в первом за 2009-ый год выпуске журнала «Дружба Народов», редактор отдела поэзии журнала «Новый мир», а также по совместительству член редколлегии альманаха «Рубеж» Павел Крючков оптимистично заявил «о неуклонно продолжающейся “децентрализации” культурной жизни», поддержка столичных литераторов и изданий для «окраинного» альманаха все еще действенна и актуальна – добавим к перечню материалов «гостей» номера прекрасно составленные поэтические подборки Александра Кабанова и Виктора Куллэ.

Тем не менее, «Рубеж» – это действительно безо всяких натяжек «издание дальневосточное по преимуществу, с акцентом на возвращение культурного наследия русской восточной диаспоры». Нет в этом никакого противоречия ранее сказанному: качественно публикации из разделов «ВОСТОК-ЗАПАД», «КИТАЙСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА», «РУССКИЙ БЕРЕГ», «НА КРАЙНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ» ничем не уступают другим в этом номере, мало того, именно эти материалы являются визитной карточкой издания. Однако следует с сожалением отметить, что в альманахе мало места оставлено молодым авторам, а ведь без их творчества рубрика «Слова сегодняшнего дня», например, даже при наличии звездных имен выглядит неполной.

Книга статей и рецензий «На краю русской речи» Александра Лобычева, ведущего колонку «Критического обозрения» в «Рубеже», частично восполняет этот пробел и служит пусть и невольным, но важным дополнением к журнальным выпускам. Она позволяет в концентрированном виде получить представление о круге тем, которые являются приоритетными для издательства. Не случайно книга разбита на три раздела и первый, наиболее обширный, полностью посвящен изданиям, группам и отдельно стоящим персонам местного литературного процесса. Читателя наверняка заинтересуют судьба талантливого поэта Геннадия Лысенко, подробный рассказ об авторах альманаха «Серая лошадь» и пяти выпусках возобновленного «Рубежа». Несколько смазывают впечатление от книги обличения «актуальной литературы», рассуждения «о самозванцах, обреченных на саморазрушение» и т.д., но таких общих мест в книге немного, и выглядят они своеобразным «обязательным элементом», характерным для журнальной критики этого направления.

Переходя к фигурам русскоязычной литературы в эмиграции, таким как Аркадий Несмелов, Ларисса Андерсен и другим авторам антологии «Русская поэзия Китая», Лобычев верно подмечает их тесную связь с дальневосточной культурной традицией, которая «вовсе не была просто эмигрантской данью приютившей их стране или следованием каким-то декларированным художественным принципам, это был органичный творческий отклик на окружающий их мир». В принципе, именно этот феномен подпитки восточной культурой и сейчас оказывает решающее влияние на современную литературу региона. Что, кстати, подтверждают регулярные публикации в «Рубеже» переводов китайской и японской поэзии и прозы, хотя справедливости ради надо упомянуть, что и американский берег вниманием редколлегии альманаха не обойден – как раз в последнем номере напечатаны главы из поэмы «Тело Джона Брауна» Стивена Винсента Бене в переводе Ивана Елагина.

В третьем разделе автор подвергает интереснейшему анализу произведения Мисимы и Мураками, роман нидерландского писателя Сэйса Нотебоома «Ритуалы», раскрывая тонкости его дзен-эстетики и перекидывая мостик к прозе Ясунари Кавабаты, и завершает книгу эссе о поэзии Вечеслава Казакевича, может быть самого японского русского поэта и прозаика нашего времени.

В общем, говоря об альманахе «Рубеж» и его издательской программе, мне кажется, надо поздравить нас, читателей, с появлением целого ряда замечательных изданий, с расширением нашей литературной карты, с еще одной удачной попыткой перехода межкультурной границы, выходом за историко-литературный предел.

Анна ГОЛУБКОВА

Последние известия литературного департамента

Петербургская поэтическая формация. Сборник. Составители К. Коротков, А. Мирзаев. – СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина, 2008.

Один из самых громких литературных скандалов прошлой весны связан с выходом сборника «Петербургская поэтическая формация». Само по себе это издание представляет собой достаточно любопытное явление, состоящее из трех совершенно разных частей – собственно сборника, составленного инициатором издания Кириллом Коротковым и петербургским поэтом Арсеном Мирзаевым, издательского пиар-проекта и опыта критического осмысления сборника как целостной картины петербургской поэзии. Все эти три части, как показала практика презентаций и интерпретаций книги, существуют по отдельности, не соединяясь в единое целое. Именно по отдельности и в этой самой последовательности мы их и рассмотрим.

Составление подобного сборника – дело весьма неблагодарное, ведь на взявшихся за этот непосильный труд ложится практически невыполнимая задача дать объективный срез определенного поэтического явления (в данном случае – отразить картину существования поэзии в г. Петербурге во второй половине 2000-х гг.). Конечно, одному и даже двум составителям подобная задача не под силу, следовательно, получившаяся картина уже изначально в своем замысле не могла не иметь значительной доли субъективности. С другой стороны, это и неплохо, потому что по сборнику можно, кроме всего прочего, судить еще и о некоторых стереотипах восприятия, бытующих в поэтической среде.

Открывается сборник предисловием составителей, в котором они четко определяют стоявшую перед ними задачу – «дать панораму сегодняшнего поэтического Питера, представить пиитов разных поколений, принадлежащих к различным группам, течениям, кружкам, ЛИТО и т.д.» (с. 5), поэтому в книге опубликованы стихи поэтов, принимающих реальное участие в литературной жизни города. Еще одно ограничение – временное: в сборник входят стихотворения, написанные в 2000-х гг. Чтение критических отзывов, как включенных в книгу, так и появившихся впоследствии, оставляет некоторое недоумение, потому что авторы в основном задают составителям вопросы, на которые ответы в этом предисловии уже имеются. В первую очередь, это ответ на вопрос, почему в сборнике нет стихов А. Кушнера. Кроме того, в предисловии специально оговорено, что составители хотели дать срез поэтической жизни Санкт-Петербурга, а не отразить объективную картину общего состояния поэзии в городе на Неве.

Сразу же отметим, что задача, поставленная перед собой составителями, вполне выполнена. В сборнике мы встречаем и представителей неофициальной поэзии советских времен, и утонченных постмодернистов, и участников различных ЛИТО, и поэтов, ориентированных на эстрадные выступления, и много кого еще. Да, сборник производит пестрое впечатление, однако точно такое же впечатление производит и реальная поэтическая жизнь города Петербурга. В принципе, каждый может подобрать в этом калейдоскопе то, что ему по вкусу. Таким образом, если ориентироваться на цели и задачи, обозначенные в предисловии составителей, можно сказать, что сборник состоялся и вышел таким, каким и должен был выйти. Однако, как уже было отмечено выше, сам по себе поэтический сборник – это лишь третья часть книги как отдельного явления современного литературного процесса.

Второй частью является оригинально задуманный издательский проект. Сборник вышел тиражом в две тысячи экземпляров. Этот тираж, разумеется, нужно продать, чтобы хоть

как-то окупить издательские расходы. И вот, кроме предисловия составителей, к книге присоединяются еще две статьи, обозначенные на обложке как «полемические заметки», на самом же деле – ставящие под сомнение не только идею сборника, но и вообще факт существования поэзии в городе Петербурге. То есть книга оказывается изначально ориентированной на скандал, который должен привлечь к ней внимание и увеличить продажи. Насколько этот замысел удался – нельзя судить без данных статистики (по некоторым сведениям, за лето было продано всего десять экземпляров), однако по этому поводу сразу же возникают некоторые дополнительные соображения.

Во-первых, аудитория, читающая современную поэзию и покупающая поэтические книги, достаточно невелика. Такие люди приобретут издание и так, чтобы иметь общую картину жизни поэтического Петербурга. Всей остальной читающей публике совершенно наплевать, есть поэзия в городе на Неве или никакой поэзии там нет. Скандал действительно получился, но он имеет локальный, более того, вполне внутритусовочный характер, что никак не позволяет считать эту акцию удачным пиар-ходом. Во-вторых, в современных условиях постмодернистская стратегия соединения в одно целое книги и анти-книги не работает. Если простому читателю сообщить в самом начале, что он собирается приобрести нечто дурно пахнущее, такой читатель не станет думать об интересном сочетании плюса и минуса, а просто поставит книгу обратно на магазинную полку.

Продавать поэзию нужно как нечто элитарное, способное приблизить усталого замученного менеджера к высокомерным беспечным аристократам. Ведь не будем забывать, что литература, за исключением советской эпохи, всегда была частью элитарного образования и что очень немногие обладали способностью понять и правильно интерпретировать художественное произведение. Литература, хотя чаще всего пишут ее аутсайдеры, – это развлечение высших социальных слоев. Именно в этом направлении, на наш взгляд, лежит возможность коммерческого успеха современной серьезной литературы и, в частности, поэзии. Книга «Петербургская поэтическая формация» демонстрирует нам совершенно иную стратегию, поэтому сборник как издательский проект не может не быть признан крайне неудачным.

Перейдем теперь к третьей части – к непосредственной критической реакции, включенной в состав сборника. Первой помещена статья В. Топорова, из которой мы узнаем несколько важных моментов. Во-первых, В. Топоров слегка досадует на то, что не ему было поручено составление этого сборника. Во-вторых, сожалеет о советских временах, когда «поэзия и впрямь была чем-то большим, чем поэзия» (с. 11). В-третьих, крайне недоволен той легкостью, с которой выпускаются ныне поэтические книжки, советский вариант – когда книга проходила множество санкционирующих ее инстанций – нравится В. Топорову гораздо больше. В-четвертых, критик безусловно осуждает ситуацию с поэзией в г. Москве – по его мнению, поэзии в г. Москве нет, есть лишь ролевая игра в поэзию. В-пятых, противопоставляет (очень свежо и ново) зажравшейся Москве бедный, но честный Петербург, впрочем, несмотря на всю свою бедность и честность производящий лишь жалкое подобие настоящей поэзии. Но самое главное – В. Топоров протестует против права человека самому объявлять себя поэтом, фактически требуя многоступенчатой, как это было в советские времена, легитимации начинающего автора. В статье также содержится много намеков на разные личные обстоятельства включенных в сборник поэтов. Надо отметить, однако, что эти намеки могут быть полностью расшифрованы только участниками литературной жизни города Петербурга. Для всех остальных же это остается загадкой – вроде и мечет знаменитый критик громы и молнии, пращи и стрелы, а кому они предназначены – совершенно непонятно. Соответственно, весь полемический задор этой статьи имеет нулевой, если даже не минусовой, пиар-эффект.

Вторая критическая статья принадлежит перу московского (как мы узнали из предыдущей статьи – абсолютно фальшивого) поэта, прозаика и журналиста Д. Быкова. Статьи эти отчасти противоположны. Если В. Топоров приветствует отсутствие в сборнике А. Кушнера, то Д. Быков, наоборот, сожалеет о том, что в книге нет стихов современного классика.

Еще одно очень важное отличие – Быков последовательно, с многочисленными цитатами, разрушает миф об особости Петербурга и петербургской поэзии, на котором, несмотря ни на что, продолжает настаивать В. Топоров.

Итак, каковы же черты современной петербургской поэзии в понимании Быкова? Во-первых, это однообразие. Все стихи, по мнению критика, могли бы быть написаны одним человеком. Быков даже рисует психологический портрет такого вот обобщенного питерского поэта: «Ему лет сорок, он помнит котельные, успел в них побывать и даже поработать, но тут как раз началось послабление, он успел попечататься и даже поездить, но славы и материальной независимости не обрел, успел разочароваться и даже запить, но удерживается на плаву, ибо вторичный поэт вторичен во всем...» (с. 19). Второй чертой является безнадежная вторичность, третьей – перенасыщенность цитатами и культурным контекстом. Любопытно, что в примерах, приводимых Быковым для иллюстрации данного положения, упоминается Александр Блок – «и как мастер, и как сновидец, и как этический императив» (с. 23), мешающий «мелкому человеку мелких времен» сочинять свои неполноценные стихи. Насчет первых двух пунктов спорить, конечно, не имеет смысла, однако интересное зрелище представил бы человек, взявший Блока в качестве этического императива. Впрочем, болезнь, от которой умер великий поэт, современной медициной излечивается... Четвертая особенность петербургской поэзии – это мрачная настроенность, постоянное присутствие темы смерти и гниения; пятая – отсутствие динамики, предсказуемость. Кроме того, Быков отмечает в стихах авторов сборника полное отсутствие петербургского колорита – «эти стихи могли быть написаны когда угодно и где угодно – ничего собственно петербургского они не содержат даже на уровне реалий» (с. 21). И в то же время, по мнению критика, единственным достоинством сборника является работа его авторов над снижением образа Петербурга. Как сочетаются эти два положения, сказать сложно. Потому что если стихи поэтов Петербурга ничем не отличаются от стихов поэтов Майкопа, то сказать, что поэты Майкопа сознательно работают на снижение майкопского мифа, было бы, наверно, все-таки некоторой натяжкой.

Однако попытка опровергнуть наличие петербургской поэзии и петербургского мифа в целом – не самая главная цель статьи Д. Быкова. Основной смысл статьи заключается в следующем: «...исчерпанность проекта – вот главное ощущение от сборника: русскую традицию доедают черви, это и есть новая формация» (с. 26). И в общем-то, как это ни парадоксально, со своей точки зрения Дмитрий Быков совершенно прав. Если смотреть с высоты великой русской литературы в том ее виде, какой сложился к концу XIX – началу XX вв., то вся современная литература, пытающаяся работать в русле этой традиции, оказывается не более чем подделкой – это «с живой картины список бледный, или разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». И в том, что «традиция», т.е. великая русская литература, давно закончилась, Быков тоже прав. Более того, закончилась она не в конце XX в., а намного раньше, вместе с физическим исчезновением последних ее представителей.

Если посмотреть с этой позиции не только на «Формацию», но и на всю современную литературу в целом – ничего отрадного здесь не увидишь. Однако кроме бесконечных подражаний ушедшим мастерам есть в современной литературе и нечто новое. Это новое присутствует и в «Формации», нужно только захотеть его увидеть. Впрочем, перед авторами этих двух предисловий, как мы понимаем, стояли совсем другие задачи. В отличие от В. Топорова, который просто виртуозно ругается, позиция Д. Быкова достаточно последовательно аргументирована. И эта статья могла бы считаться блестящим пиар-ходом, если бы ее воздействие не было ослаблено статьей В. Топорова, который сразу же вымел за пределы литературы всю московскую поэзию, в том числе и Д. Быкова. Кроме того, позиция огульного отрицания всегда уязвима, потому что тут же хочется задать классический вопрос: «А судьи – кто?» Кто эти критики, обвинившие во вторичности и фактически – в творческой несостоятельности – неистовую и жесткую Тамару Буковскую, ироничного и точного Бориса Констриктора, тонкого и лиричного Дмитрия Григорьева, насмешливую и одновременно как бы немного

растерянную Ирину Дудину, иногда барочно избыточного, а иногда на удивление психологически точного Вадима Кейлина, красочного и по-детски удивленного Валерия Мишина, совершенно запредельного лаконичного Александра Скидана, временами неровную и как бы заговаривающуюся, но всегда изумленную многообразием и многосторонностью мира Дарью Суховей, удивительнейшего, абсолютно нечеловеческого Владимира Эрля (перечислены те, о ком нам довелось достаточно много размышлять)?!

В. Топоров и Д. Быков были приглашены в сборник в качестве литературных знаменитостей, имена которых известны гораздо большему кругу читателей, чем имена поэтов, стихи которых вошли в «Формацию». Конечно, можно сказать, что В. Топоров в статье решает какие-то свои личные проблемы, разбираясь с людьми, наступившими ему на неведомые нам мозоли, и что Д. Быков, на определенном этапе отказавшийся от поэтической карьеры и перешедший к суровой прозе, склонен винить в своей неудаче мелкую эпоху, якобы производящую мелких поэтов, но суть дела все равно не в этом. И В. Топоров, тоскующий о сладких советских временах, и Д. Быков, провозглашающий всеобщий упадок литературы, выступают в этом сборнике исключительно в качестве литературных чиновников, призванных поощрять и не пущать. Однако любому поэту, вне зависимости от того, пройдут или не пройдут его стихи проверку временем, нет абсолютно никакого дела до литературных чиновников. Чиновники и поэты живут в разных, совершенно не пересекающихся мирах. И потому обе полемические статьи написаны вовсе не о сборнике «Формация» и не о петербургской поэзии, а о каких-то сугубо личных представлениях В. Топорова и Д. Быкова о том, какой следует быть этой поэзии. Уровень статей не соответствует уровню сборника, и потому анти-книги не получилось, получилось какое-то замысловатое коленце, на которое, ей-богу, питерским поэтам не стоит даже и обижаться. Потому что настоящая поэзия – неуправляема. Она будет развиваться так, как хочет, и в таких формах, каких хочет, какие бы циркуляры по этому поводу не издавали различные литературные департаменты.

Олег РОГОВ

Разноцветные фуги

Сергей Петров. Собрание стихотворений: в 2 кн. Составление, подготовка текста А. Петровой, В. Резвого. Послесловие Е. Витковского. – М.: Водолей Publishers, 2008. (Серебряный век. Паралипоменон).

Двухтомник стихотворений Сергея Петрова – и вот уже надо сразу поправляться и уточнять: первый том, разбитый на две части, каждая по шестьсот с лишним страниц – начало издания обширного наследия «потаенного поэта», в следующих томах запланированы поэмы, мистерии и переводы.

Тщательно и любовно подготовленные книги вышли в издательстве «Водолей Publishers» в серии с характерным названием «Серебряный век. Паралипоменон». Напомню смысл этого, знакомого по Ветхому Завету, греческого слова – «пропущенное», «требующее восполнения».

В рамках этого проекта выходят собрания книг поэтов Серебряного века и их более поздних «наследников». «Водолей» последовательно воспроизводил – с более или менее подробным сопроводительным аппаратом – книги так называемых «забытых» поэтов, дополняя, хотя бы и в плане просто доступности, поэтическую систему координат первой половины двадцатого века.

Так что наличие новой серии видится органичным продолжением дела, начатого основателем издательства Владимиром Кольчужкиным и главным редактором Евгением Витковским. В «Паралипоменоне» уже вышли, среди прочих, такие замечательные книги, как собрания стихотворений Лидии Алексеевой и Сергея Соловьева, готовятся книги Бориса Нарциссова и Юрия Верховского.

Как видим, наряду с именами, которые вполне «на слуху», внимание издателей направлено на поэтов, чьи фамилии не встретишь, например, в «Лексиконе русской литературы XX века» Вольфганга Казака: Вера Меркурьева, Николай Позняков, Владимир Щировский. Кто-то из поэтов, родившихся в начале века, не

успел прибиться к мощному валу поэтического ренессанса, а дальше путь на печатные страницы был заказан. Кто-то – из второй волны эмиграции, их начали «вспоминать» позже многих, по понятным причинам. Кто-то известен двумя-тремя подборками, остальное досталось архивам.

Сергей Петров – фигура в переводческом мире легендарная. Его переводы поэзии скальдов, Рильке и Кеведо давно уже стали образцовыми и перешагнули границы собственно переводов, воспринимаясь читателями как своего рода сотворчество, при всей верности следования оригиналу.

Бродский в послесловии к сборнику Кублановского «С последним Солнцем» писал, что тот обладает самым насыщенным словарем после Пастернака. Не знаю, читал ли Бродский Петрова, но с этим утверждением можно поспорить. В стихах Петрова архаизмы и просторечия, неологизмы и термины скипелись в странном и дурманящем вареве барочной метафизики, где фонетические переклички цепляют слова разных эпох и стилей.

Нельзя сказать, чтобы Сергей Петров был совсем уж неизвестен как поэт. Я помню еще в начале 80-х ходившие по рукам тонкие листочки машинописи с его фугами («Сергей Владимыч фугу написал» – это строчка из стихотворения Елены Шварц), на окраинах империи были и единичные публикации – в 1983 году в «Таллине» (стараниями Светлана Семененко), позже в «Литературной Грузии» и уже столичной «толстой» перестроечной периодике.

Книга избранного вышла в Питере в 1997 году, и лишь через десять лет пришла пора осваивать Петрова в больших объемах. Странно, в начале 90-х казалось, что хватит трех-пяти лет, и всё будет издано с надлежащей полнотой, должным образом освоено. Что «бронзовый век» даст какой-то невиданный импульс современной поэзии и произойдет чудо нового расцвета. Но на соблазн полноты реальность ответила по-своему: вместо линейного движения – одновременность и создания нового, и запоздалого знакомства с традицией.

Издание собрания стихотворений Сергея Петрова хочется поставить в один ряд с такими недавними книгами, как собрания текстов «ранних петербуржцев» Роальда Мандельштама и Леонида Аронзона, предпринятыми издательством Ивана Лимбаха. Несмотря на неоспоримую необходимость таких изданий, многие читатели, впрочем, замечали, что им вполне хватило бы избранного. Полнота, оказывается, кому-то и в тягость – это как самостоятельная поездка со всеми ее невзгодами и неожиданностями в сравнении с жестко хронометрированным комфортабельным туром. Каждому – своё, главное, что есть возможность выбора.

Остается впитывать в себя тексты двухтомника, ждать новых томов – и нового избранного. Дело в том, что Сергей Петров записывал свои фуги семью разными цветами шариковых ручек, что соответствовало особому интонированию. Надеюсь, что такая книга когда-нибудь выйдет. Вопрос, что называется, сугубо финансовый...

Сергей БОРОВИКОВ

Бывали хуже времена...

М. Е. Салтыков-Щедрин. Избранные иронические и саркастические мысли – на разные случаи жизни. Сост. и автор предисл. В. В. Прозоров. Худ. Л. Ф. Горячева. – Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» – Добродея, 2008.

Собственно, ничего нового в этом жанре нет – еще в позапрошлом веке в широком ходу были всевозможные сборники избранных мыслей и высказываний известных писателей. За плечами у проф. В. В. Прозорова сборник «Крылатые слова и выражения из сочинений Н. В. Гоголя» (Саратов, 2005).

Любопытно, что предисловие к сборнику открывается следующей фразой составителя: «Сам Михаил Евграфович Салтыков (Щедрин) не любил словарей избранных мыслей – «мыслительных обрывков», образующих, по его словам, «безвкусный винегрет».

Рискованное, казалось бы, начало! Но составитель мог как угодно рисковать в собственных рассуждениях, ибо знал, что имеет могучего союзника. Мысленно прикинув, мож-

но ли из какого-либо другого русского классика набрать сборник не просто «мудрых мыслей», но убийственный для власти и покорных ей учебник сопротивления государственному произволу, ясно видишь: нет. Прозоров позволил себе откровенно-ехидное лукаво-простодушное предуведомление: «*все могущие возникнуть сходства и параллели с современными нам лицами, событиями и положениями являются абсолютно случайными и непреднамеренными. Во всяком случае, сам Салтыков-Щедрин никакой ответственности за них не несет*».

В кратком предисловии ученый с сожалением напоминает и о всеобщем не чтении вообще, не чтении Салтыкова-Щедрина в частности. О том, что большинство из сочинений сатирика «остаются для сегодняшнего читателя наглухо закупоренными». Он выражает при этом скромную надежду на то, что «для кого-то приведенные «отрывки» могут стать первотолчком для постепенного и более основательного погружения в сатирический мир Салыткова-Щедрина».

Оставь надежду...

А ведь если бы издать эту книгу большим тиражом и сделать ей современный «промоушен», то «сходства и параллели» с современностью могли бы ошарашить не одного читателя. Но сейчас мы позволим не отказать себе в удовольствии немного поцитировать сборник.

«Я знаю очень много господ, которые, сытно пообедав, громят от нечего делать действительность, меркантильное направление века, и разожженная мало-помалу всяким нравственным развратом фантазия их разыгрывается, и стоящие вокруг с разинутыми ртами лакеи с изумлением слушают, как господа рассуждают о правах всех и каждого на наслаждение жизнию и всем обещают равенство... в будущей жизни» («Противоречия»).

«Вошел господин не столько малого роста, сколь скрюченный повиновением и преданностью» («Губернские очерки»).

«О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума. Охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!» («Губернские очерки»).

«Раздайся, грязь, навоз ползет!» («Невинные рассказы»).

«...для сердца начальника дороже всяких почестей, дороже всех богатств сердечное расположение подчиненных» («Невинные рассказы»).

«...ничто так не услаждает наших досугов, как разбор родства и свойства сильных мира сего» («Невинные рассказы»).

«Жизнь сорвалась с прежней колеи, а на новую попасть и не смеет, и не умеет» («Сатиры в прозе»).

«Вампир журнализма» («Критика»).

«Бесстыдство как замена руководящей мысли: сноровка и ловкость как замена убеждения; успех как оправдание пошлости и ничтожества стремления – вот тайна века сего...» («Признаки времени»).

«Известно, что у нас нет средины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!» («Признаки времени»).

«...наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний» («Признаки времени»).

«...будущее имеет за собой то неудобство, что оно непременно является в срок» («Письма о провинции»).

«...глубоко ошибаются те, которые, устраняя у обывателя последнюю курицу, думают, что вследствие этого у него явятся две» («Письма о провинции»).

«Я человек преданный; все начальники знают это и смотрят на меня одинаково; я со своей стороны тоже смотрю на всех начальников одинаково, потому что все они – начальники» («Помпадуры и помпадурши»).

«...истинный администратор никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват» («Помпадуры и помпадурши»).

«Тоска административного одиночества» («Помпадуры и помпадурши»).

«Карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность» («Помпадуры и помпадурши»).

«Размостил вымощенные предшественниками его улицы и из добытого камня настроил монументы» («История одного города»).

«А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли» («История одного города»).

«...от иронии до крамолы один шаг» («История одного города»).

«...явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности» («История одного города»).

«...один начальник плюнул подчиненному в глаза и тот прозрел» («История одного города»).

«В сущности он даже не либерал, а фрондер или выражаясь иначе: почтительно, но с независимым видом лающий русский человек» («Благонамеренные речи»).

«Много, ах, много нынче таких молодых людей развелось! И глазки бегают, и носик вздрагивает, и ушки на макушке – всё ради того, что если начальство взглянет, так, чтобы в своем виде перед ним быть...» («Благонамеренные речи»).

«Что такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие – с законом, третьи – с казною, четвёртые – громадное большинство – с начальством» («Благонамеренные речи»).

«Каждый год у нас чего-нибудь либо мало, либо совсем нет; каждый год с весны мы надеемся, а осенью видим наши надежды разрушенными; но и за всем тем не ропщем, потому что вновь впредь надеемся» («В среде умеренности и аккуратности»).

...Однако не цитировать же всю книгу! Может быть, оправдаем надежды профессора В. В. Прозорова и снимем с полки том Щедрина?

Необходимо отметить, что книга удачно проиллюстрирована саратовским графиком Любовью Горячевой. Не знающих ее творческой манеры могу адресовать к стилю Норштейна, особенно в «Шинели».

Сергей ТРУНЕВ

Для тех, кто опоздал на поминки

Лев Тимофеев. Русские поминки: Повести и рассказы. – М.: Время, 2008.

Последний из диссидентов, осужденный за антисоветскую агитацию и пропаганду уже в перестроечные годы, озабочен, надо полагать судьбой России: «Не пойдет ли и теперь жизнь все теми же, хорошо знакомыми кругами? Не заглянуть ли нам в начало книги?» После такой аннотации читатель, соблазненный возможностью свернуть течение жизни на круги иные (кстати, что это за круги такие?), с обреченностью расстрельного заглянет в начало книги.

И сразу обнаружит, что никакого чудесного средства спасения от «совка» автор не имеет. Он лишь констатирует беспросветный тупик советской жизни, примером каких-то безвестных деревень (где все поголовно перепились, перетрахались и как результат перемерли) убеждая не возвращаться в прошлое. Если гипотетическим читателем окажется городской, обремененный образованием, человек, возможно, он вяло клюнет на брутальную экзотику деревенского быта, включающую пропитанную алкоголем любовь («Время кольцевать мышей», «Ева»), попытки сохранить ее плоды («Житейское») или историческое наследие («Русские поминки»). Ведь деревня – это настолько далеко, что практически фэнтази.

Деревенский читатель едва ли получит возможность насладиться авторской интерпретацией деревенского аутентичного быта: во-первых, книга тиражом «2000 экз.» доберется до него лишь в случае переиздания с добавлением к тиражу как минимум пары нулей, во-вторых, то, что городскому экзотика, то деревенскому – карикатура (сознательно не употребляю слово «гротеск»). Не дай бог, реальность – от безысходности впору повеситься на прогнившей потолочной балке дровяного сарая. Слава богу, что при нынешних раскладах, когда цены на печатную продукцию непрерывно растут, а на «аграрную» столь же непрерывно снижаются, о массовом суициде деревни можно не беспокоиться: ни один вменяемый пейзанин Тимофеева не купит и, соответственно, не расстроится.

Кстати, интересно, что в аграрной стране России крестьянин до настоящего времени остается бесписьменным, а по сути – безголосым существом, жизненную правду которого в меру своей инаковости выговаривает «последний» диссидент Тимофеев, для которого хождение в народ сродни юношескому любопытству, порожденному однобокостью книжного об-

разования. Словами автора: «Я вырос среди книг в семье московских интеллигентов, и мое воображение рисовало морскую жизнь в духе Мелвилла и Джека Лондона. Так она была описана и в моих собственных юношеских стихах. Теперь же весь этот волшебный мир мне предстояло увидеть воочию... Морские нравы, конечно, и грубы, и даже, может быть, жестоки, но отношения здесь по-мужски прямые: сильные люди, которые всегда знают, чего хотят, и всегда говорят, что знают. Мысль о каких бы то ни было пошлых извращениях мне и в голову не приходила» (с. 106). А зря, поскольку тогда бы, возможно, слово «трепак» (с. 117) в рассказе «Тамань» было бы написано автором не через «е», а через «и», ибо данное слово является разговорным, производным от слова «триппер», обозначающего, в свою очередь, не вполне приличное заболевание, весьма распространенное в СССР (и не только среди дальнобойщиков и капитанов дальнего плавания). Трепак же, согласно классическому толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, есть «русский народный танец с дробным притоптыванием, а также музыка в ритме такого танца». С чего бы это «судовой докторше» приглашать молодого интеллигентного морячка на тур русского танца с притоптыванием?

Впрочем, на самом деле, трагедия не в словах, а в том, что однажды наступает такой момент: какие бы ты произведения ни писал, они все время опаздывают. Опаздывают ровно настолько, что никого уже не трогают. Не цепляют, все время оставаясь лишь совокупностью запредельных реальности слов. «Если не кончить это сейчас, это не кончится никогда. Он вообразил себя ничтожным и напыщенным стариком. Независимый публицист. Да плевать он хотел на свою независимость, на свою публицистику, на свою натужную оппозиционность» (с. 168). Действительно, если столько лет продолжать хоронить советское прошлое, затянувшиеся поминки превращаются в никому не нужное более театральное представление, в фарс. И то, что жизнь принципиально может пойти по знакомым кругам, является слабым оправданием нескончаемому воспроизводству на просторах отечественной культуры этого и подобных ему праздников диссидентства.

На самом деле автор нашел таки волшебное средство, способное прекратить представление: «Пора жить размеренной жизнью, несуетно трудиться, листать пять энциклопедий, углубиться в писания святых отцов и мудрых философов, ходить на службу в монастырскую церковь... Не забывая, конечно, и о радостях обыденной жизни: завести бабу в Прыже – кого-нибудь из числа молодых преподавательниц здешнего культпросветучилища (теперь – Колледж народной культуры), которых в прежние времена он, тогда видный комсомольский работник, бывало, потрахивал, приезжая и на месяц, и на два в эти края, чтобы работать над диссертацией» (с. 50-51). Этого, собственно, и хочется посоветовать всем, кто наивно полагает, будто история повторяется.

Роман АРБИТМАН

Баллада о Королевском Бутерброде

Анатолий Королев. Stop, коса! Роман. – М.: Гелеос, 2008; Стивен Кинг. Дьюма-Ки: Роман. – М.: АСТ, 2008.

Герой давней пьесы Владимира Арро «Смотрите, кто пришел», парикмахер по фамилии Королев, называл себя на английский манер Кингом. Вот так и писателю Анатолию Королеву (некогда выпустившему недурной фантастический роман «Блюстители неба», а затем перекочевавшему в ряд как бы «серьезных прозаиков») время от времени хочется побыть русским Стивеном Кингом.

Ранее Королев уже выпускал пухлую книгу «Охота на ясновидца» с претензией на коммерцию и с явной оглядкой на «Мертвую зону». Новый роман «Stop, коса!» (журнальный вариант выходил в «Знамени») – изначально провальная попытка увязать жесткую мистику Кинга (мрачный синклит бессмертных существ перекочевал сюда из «Темной Башни») с вялым квазиглубокомыслием позднего Пелевина.

Главный герой книги, московский рекламщик Никита Царевич – коллега Вавилена Татарского из «Generation «П». Он придумывает слоганы и получает за них ломовые бабки. Действие переносится из России в Казахстан,

затем в древний Вавилон, потом в Рим и снова в Москву. Получив имя Ашшурбаникатим и основательно закинувшись ЛСД, главный герой получает статус Избранного и право сыграть с самим Богом в «вавилонские шахматы». Если он выиграет, все люди на Земле станут бессмертными. Если проиграет... впрочем, неважно! В книге вообще нет ничего обязательного и чем-то обусловленного. Мардук и Иштар, безоар и крионика, тайные общества и гламурная тусовка – все свалено в кучу.

Автор оторвался от арт-хауса, но к трэшу не пришел. Он пугает нестрашно, веселит несмешно, умничает на бегу, а финальную точку в этом небольшом, но тягучем произведении можно ставить в любом месте – включая первый же абзац. Сюжет скачет, правил нет, все дозволено и оттого особенно уныло. От смерти с косой тут можно спастись, но от скуки смертной – даже не мечтайте...

Справедливости ради заметим, что не только трикстер Кинга, но и сам маэстро Стивен в минувшем году не слишком порадовал читателя, выпустив роман «Дьюма-Ки» (название Duma-Key – вовсе не анаграмма русского слова Muda-Key, как уже успели пошутить в российской блогосфере). На русский язык роман был переведен в конце того же 2008 года. «Дьюма-Ки» лучше романа про косу, но это – как замечал Пушкин по иному поводу – похвала небольшая.

Если у персонажа Королева со здоровьем все в порядке, то главный герой Кинга, руководитель строительной фирмы Эдгар Фримантл чудом не погиб во время аварии на подведомственной ему стройке: автомобиль, в котором он сидел, зацепило падающим башенным краном – отчего герой получил сильную черепномозговую травму, повредил ногу и остался с культей вместо правой руки.

Беда не приходит одна. Фримантл стал путать слова и страдать приступами ярости; в конце концов его бросила жена, с которой он прожил два десятка лет. Герой стал подумывать о самоубийстве – и тут его психиатр предложил ему на годик удалиться от мира, сняв дом где-нибудь на отшибе. В итоге был выбрано бунгало на заглавном острове Дьюма-Ки во Флориде: место отдаленное, жителей мало, климат хороший. Но именно здесь, на острове, с Фримантлом начали происходить весьма странные вещи...

Мотив аварии в произведениях позднего Кинга уже никого не удивляет. В 1999 году писателя сбила машина, и он еле-еле выкарабкался. С тех пор многие его персонажи (вспомним, например, «Ловца снов» или «Темную башню») регулярно попадают в катастрофы и калечатся. Дело не в болезненной зацикленности автора на неприятном эпизоде своей биографии, но в недостатке иного эмпирического опыта у писателя, живущего в уединении: как это ни печально, авария была самым ярким событием его судьбе за два последних десятилетия. Писатель, будь он хоть трижды фантаст, не может совсем обойтись без реализма и вынужден выдергивать по нитке из одних и тех же окровавленных больничных бинтов.

Но проблема, собственно, не в этом: в каждой вещи, написанной после 1999 года, число самоповторов стало угрожающе расти и в «Дьюма-Ки» достигло максимума. Вернемся к Эдгару Фримантлу. Хотя действие романа тянется неторопливо (если не сказать – вяло), к исходу первой трети романа выясняется, что увечье неким образом добавило герою возможностей. Он не только обретает дар художника, но и способен заглянуть в будущее, излечить друга от недуга, поговорить с призраками или, например, сломать разводной мост, даже не приближаясь к нему. Правда, к возникновению чудо-способностей героя причастно потустороннее существо – древнее, как лавкрафтовский Ктулху, и такое же кровожадное...

Уже по этому краткому пересказу фабулы заметно, что Король Стивен в новой книге основательно попасся на своих собственных фантастических угодьях, заимствуя крупные и мелкие повороты сюжетов из «Мертвой зоны», «Мешка с костями», «Безнадеги», «Сияния», «Истории Лизи» и еще множества других вещей (Кинг даже – до кучи – для кульминационного эпизода позаимствовал коробку в форме сердца из одноименного романа своего старшего сына Джозефа).

Конечно, писательское мастерство не пропьешь: даже в этом насквозь вторичном и безмерно затянутом романе есть несколько по-настоящему жутких сцен и, как минимум, один непредсказуемый сюжетный поворот. Да

и саспенс всю дорогу нагнетается не зря. На последних тридцати страницах проглядывает прежний Кинг, энергичный и динамичный, так что эпизод финального пленения монстра прочитывается на одном дыхании. Но...

Будь это рассказ или хотя бы повесть в полторы сотни страниц, слабые стороны произведения не успели бы так заметно проявиться. Увы, в романе «Дьюма-Ки» – без малого семьсот полновесных страниц, и американский редактор книги Чак Веррилл (которому автор в послесловии выражает благодарность за «сочетание мягкости и безжалостности») был, похоже, к мэтру недостаточно безжалостен.

Рустам КАЦ

Засилье или бессилье?

Теа Цукер. Вся правда об американском кино. – СПб.: Логорея, 2008.

«Говорят, что Голливудом рулят сплошь евреи – все эти голдвины, селзники, брукхаймеры, вайнштейны и прочие шумахеры, – в предисловии пишет автор книги, известный кинообозреватель, многолетняя колумнистка лос-анджелесской газеты Hollywood Report Теа Цукер. – Пару лет назад Мел Гибсон, напившись пьян, не выдержал и все рассказал о еврейском засилье первому попавшемуся автоинспектору: мол, от этих пархатых честному австралийцу нет житья. Несколькими годами ранее примерно такой же мессидж послала тогда еще живая легенда Голливуда Марлон Брандо. И что же?..»

Книга госпожи Цукер остроумно развенчивает давние обывательские предубеждения. Хотя среди основателей Голливуда было действительно немало евреев, слухи о невероятной «иудейской власти» над кинематографом США, мягко говоря, сильно преувеличены. Напоминая о казусах с Марлоном Брандо и Мелом Гибсоном, автор пишет о том, что оба раза еврейская кинообщественность реагировала нервно и шумно именно потому, что обидные упреки были абсолютно не по адресу: мол, маститые киноевреи, может, и рады были бы рулить в полную силу, однако, по причине природной застенчивости, внутриклановой мнительности и благоприобретенной осмотрительности абсолютная власть над кинопроцессом вечно ускользала из рук.

Какое уж там засилье! Осторожный девиз «Скромнее, мальчики, скромнее!» был отлит в металле и прикручен к студийным вратам. Казалось, призрак давно покойного антисемита и ретрограда Джозефа Маккарти все еще витает над студийными павильонами, хватая творцов за невидимые ермолки и виртуальные лапсердаки.

Дело доходило до смешного, замечает Теа Цукер. Сама мысль о том, что фильмы про еврейские дела – и исторические, и современные – можно, пожалуй, доверять самим евреям, десятилетиями считалась глубоко ошибочной и даже отчасти провокационной («Предполагалось, что национальная предвзятость и зашоренность не позволит режиссерам и актерам держать нужную дистанцию, не сбиваясь на личное»). Результаты такой оглядки видны невооруженным глазом.

«Вилли Фридкин и Сидни Поллак, например, с детства мечтали снять экранизацию Ветхого Завета, но юношам твердо сказали: потренируйся на чем-то другом», – иронизирует автор книги. В результате Сидни экранизовал Теннеси Уильямса, а Вилли снял и вовсе пустячок «Ночь налета на ресторан Минского»; «Библия» же со всем ее неслабым для 60-х бюджетом досталась Джону Хьюстону. Сол Рубинек набивался к Хьюстону на роль Саула, Дэвид Швиммер спал и видел себя царем Давидом. Обоих безжалостно отфутболили. Все крупные ветхозаветные роли достались англосаксам с приклеенными пейсами и пенопластовыми нашлепками на нордических носах.

Отдельная глава книги посвящена жизненным перипетиям суперзвезды Элизабет Тейлор. В поисках национальной идентичности знаменитая актриса годами обивала студийные пороги: хочу, мол, сыграть Юдифь или хотя бы Суламифь. «Шиш тебе, голуба!» – отвечали ей бдительные продюсеры и снимали диву в невинных фильмах про собачку Лэсси. Когда же Лиз утомила всех своими капризами, ей доверили таки царицу – но не иудейскую, а, как назло, египетскую Клеопатру. Гримеры постарались наложить на нее макияж такой

золото-синей густоты, что от национальной идентичности не осталась и следа. Больше всего актриса стала похожа на саркофаг мумии Тутанхамона. Потрясенный Ричард Бертон немедля ее бросил.

Теа Цукер приводит поистине уникальные примеры, иллюстрирующие главную мысль ее книги. Вот популярный Дастин Хоффман, который тщетно добивался роли Моше Даяна в «Рейде на Энтеббе», однако роль ушла никому тогда не известному Энтони Хопкинсу (до «Молчания ягнят» оставалось еще больше десятилетия). Когда пошли слухи о том, что Майкл Редфорд будет снимать «Венецианского купца», агенты популярных Бена Стиллера, Адама Сэндлера и Роба Шнайдера тотчас выстроились в очередь: не обломится ли что-то их подопечным на этой картине? Но увы! Как ни отбивался Аль Пачино, роль Шейлока вне всякого конкурса была отдана ему.

Прежде чем добиться права снимать про Холокост, сам великий Стивен Спилберг вынужден был пройти все круги унизительных голливудских мытарств: сделать фильмы про грузовик, про акулу, про глазастого пришельца, про НЛО, про афро-американцев, про Крестовый Поход, и лишь потом еврейская студийная «крыша», сжалившись над ветераном, позволила ему взяться за выстраданный «Список Шиндлера». Хотя в картине про евреев почти нет евреев-актеров: даже запоминающегося зэка-бухгалтера сыграл сэр Бен Кингсли.

Джоэл Шумахер лелеял надежду создать эпопею про еврейскую мафию 20-х годов в Нью-Йорке; по его расчетам, главную роль вполне мог бы исполнить Ричард Дрейфус. «Как бы ни так! – пишет Теа Цукер. – Никакого нового «дела Дрейфуса» осторожное голливудское кинолобби не допустило». Сперва главная роль в фильме «Однажды в Америке» ушла италоамериканцу Роберту Де Ниро, а затем и режиссерские бразды были переданы его соплеменнику Серджио Леоне – на том основании, что «мафия» – слово итальянское. Много позже Дрейфусу таки дали сыграть гангстера Лански в одноименном малобюджетном телефильме, но под присмотром режиссера, этнического шотландца Джона Макнотона и англосакса Эрика Робертса – в роли Багси Зигеля. Кстати, в крупнобюджетном фильме «Багси», посвященном упомянутому Зигелю, главную роль исполнил Уоррен Битти, отношения к евреям не имеющий. На роль уже упомянутого Меера Лански был призван... ну да, сэр Бен Кингсли, кто же еще?

Глава «Случай Вуди» посвящена Вуди Аллену – одному из немногих символов нонконформизма в Голливуде. Сколько ни гнобили его студийные боссы, сколько ни срезали и без того хилые бюджеты (сравните стоимость «Энни Холл» и того же «Властелина Колец»!), внесистемный Вуди упрямо держался своей темы, делая кино об одном же – маленьком очкастом комплексующем еврее с Манхэттена. Увы, годы берут свое: даже Вуди сегодня уже не тот. Ныне он путешествует по Европе, снимая фильмы про итальянцев, ирландцев, испанцев и почти не появляясь лично в собственных фильмах. Его сегодняшние герои – Колин Фаррелл, Кеннет Брана, Скарлетт Йоханссон и Пенелопа Крус – не напоминают прежние семитские типажи...

Начав свою книгу печальной историей о Мэле Гибсоне, автор Гибсоном и завершает ее. Теа Цукер напоминает, что среди упреков, обращенных «безумным Максом» Голливуда к упомянутому американскому автоинспектору, не было главного фетиша юдофобов – суждения о том, будто именно евреи распяли Христа. Оно и понятно: во-первых, Спасителя распял сам Гибсон, в фильме «Страсти Христовы». Во-вторых, роль Распятого исполнил вполне нейтральный Джеймс Кэвизел в евангельском гриме. Вполне достойные актеры Эдриен Броуди, Джейсон Шварцман и Майкл Рапапорт, которым бы грим не потребовались, не были даже приглашены на кинопробы. Пресловутая политкорректность – чего вы еще хотите?

Волшебная калитка

«Мир нам враждебен», – это Роберт Фрост сказал. Старик одной фразой изложил суть вещей. Он открыл мне глаза, хотя подсознательно я и прежде ощущал эту суть и был к ней готов. Не в такой степени, как Брюс Уиллис или Сильвестр Сталлоне, конечно, но мелкие неприятности притягивал одну за другой. Ничего хорошего не ждал и другим не советовал.

Я шел по грязной улице, где в сверкающих машинах мчались люди, купившие права только накануне и изучавшие правила дорожного движения по ходу самого движения. Похожие на лиловых негров бродяги рылись в мусорных баках. В подворотнях матерились влюбленные. Замерзшие до соплей дети швыряли под ноги прохожим петарды. Деньги из кармана вынимать не рекомендовалось – могли вырвать вместе с руками. Жаловаться не стоило. Жалобы были слабой валютой.

И вдруг случилось чудо. Это было как неприметная железная дверца из сказки. Волшебная калитка. Я толкнул ее и очутился в «Волге».

Там было торжественно и тихо. Мягкий свет лежал на столах. Там сидели доброжелательные спокойные люди и говорили о книгах. Вели беседы. Никто не претендовал откусить кому-нибудь руку. Не разговаривал голосом нетерпеливого кредитора. Там предлагали чай в золотой чашке. Кругом лежали рукописи. Это было Лукоморье, Желтый Кром, поля вечной охоты... По-моему, где-то рядом там был даже пруд, и плавали изысканные белые кувшинки. Это было невероятно, но это было. Совершенно неожиданно я набрел на очаг русской культуры в том виде, в котором она, как я полагал, закончилась еще в чеховские времена. Дальше шли буря и натиск. В этом была своя прелесть, но зато все меньше и меньше оставалось волшебства и интеллигентности.

К сожалению, я не слишком много общался с людьми, делавшими «Волгу». (Специально не называю их имен, чтобы случайно не пропустить чье-нибудь, да их и так все знают. Как сказано еще у одного классика: «Кому надо, тот знает!») Я старался особенно не докучать, поскольку, в общем-то, сделан из иного теста, а потому всегда чувствовал себя отчасти господином Хлестаковым, едущим в Саратовскую губернию с мифическим «Юрием Милославским» под мышкой.

А времени оставалось все меньше, и наконец, как и положено в сказке, волшебная калитка однажды захлопнулась за моей спиной и исчезла. По законам жанра мне ее уже не найти. Но та «Волга» осталась удивительно светлым воспоминанием. Их очень немного, таких воспоминаний, но, видимо, они и составляют смысл жизни. И больше мне уже нечего сказать.

Николай Якушев

Иван КОЗЛОВ

О мышах и людях

Панда кунг-фу – Мадагаскар-2 – Валли – Вольт – Приключения Десперо – Нико

Сегодня поговорим об анимационных фильмах. Не так давно этот жанр – вполне маргинальный в плане финансирования – за редкими исключениями – перешел в ранг «высокого» киноискусства. Высокого – в смысле высокой доходности. То есть, сначала были неожиданно высокие прибыли, потом еще более высокие бюджеты, а потом и образцовые ленты. С еще более высокими прибылями. Кризис сейчас «нащупывает дно», а производство таких фильмов, кажется, пытается нащупать «потолок». Пока безуспешно, на радость всем занятым в кинопроизводстве.

Все эти ленты, вышедшие в прошлом году (выпуск некоторых приурочили к новогодним праздникам) объединяет одна главная тема – побег, выход за строго очерченные границы, нарушение каких-то конвенциональных норм, манифестированное в пространственной системе координат.

Веселая братия из «Мадагаскара», как мы помним из первого фильма, покинула комфортный, но скучноватый зоопарк Нью-Йорка, отправившись навстречу приключениям. В новом фильме герои попадают в африканский заповедник – тоже своего рода благоустроенное гетто – которое им приходится покинуть, чтобы решить проблему с водоснабжением. А за его пределами – буквальными, следует отметить, в виде черты на земле – бродят опасные охотники с ружьями. Так что жизнь в заповеднике, пусть даже максимально приближенная к естественным условиям, резко отличается от таковой за его почти неосязаемой оградой.

Неповоротливый панда бросает привычную закусочную и оказывается избранным воином духа, который спасает город и его обитателей от мести злонамеренного тигра, одержимого фрейдистскими комплексами по отношению к своему приемному родителю – великому мастеру кунг-фу.

Робот Валли попадает на космическую станцию – сам покинув брошенную людьми Землю – и побуждает ее обитателей вернуться домой. Станция представляет собой предельную утопию – общество потребления, регулируемое хитрыми компьютерами, отнюдь не заинтересованными в том, чтобы люди направили корабль к замусоренной, но родной планете.

Пес Вольт, аналог героя «Шоу Трумэна», участвует в съемках бесконечного сериала. Его амплуа – бесстрашная собака, обладающая сверхспособностями (разрушающий преграды лай, мощный удар лапой, крушащий стены и т.д.). В реале все это, разумеется, подстроено хитроумными киношниками, но пес верит, что он – особенный, и верит, что все происходит на самом деле. Волей судьбы ему приходится покинуть закрытый вагончик, где он проживал, и оказаться во вполне реальном мире. Надо ли говорить, что к этой встрече он абсолютно не подготовлен?

Десперо – мышь, проживающая в «нижнем» по отношению к человеческому мире. Это некий аналог западного заорганизованного мира, который противопоставлен, в том числе, миру крыс, еще более нижнему, безбашенному, жестокому и явно «восточному». Мышь, которая не может научиться бояться, что предписано социумом, да еще впридачу, и умеющая читать, путешествует между верхним и нижним мирами, подвергаясь в своем мире остракизму, но, в итоге, этот самый мир и спасающая.

Наконец, олененок Нико нарушает границы безопасного проживания своей стаи, отправляясь на поиски своего отца, летающего оленя, запряженного в повозку Санта-Клауса.

Всем без исключения героям сопутствуют – в буквальном смысле – волшебные помощники, чей статус несколько снижен комедийными обертонами. То есть, схема Проппа работает на все сто процентов, приспосабливаясь к зрительским ожиданиям и реалиям современного мира.

Эта схема имеет, разумеется, значение своеобразной инициации, которая преподносится детской аудитории. Современная жизнь бедна ритуалами и шаг во взрослый мир бывает растянут на годы, учитывая парадоксальное сочетание раннего взросления среди бешенного информационного потока и затянувшейся инфантильности. Инициационный ритуал, в конце концов, становится уже не внешним, а внутренним сакральным действом, которое лишь оформляется и декорируется обстоятельствами реальности. И тут эти забавные мультики могут оказать серьезную помощь. И в связи с этим неожиданный интерес к анимационному кино в последние годы оказывается вполне оправданным.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Сергей Боровиков
Алексей Александров
Роман Арбитман
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать ___ февраля 2009 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.